

63 коп.

А. АБРАМОВ
О. АБРАМОВ

ТЕНЬ
ИМПЕРА
ТОРА

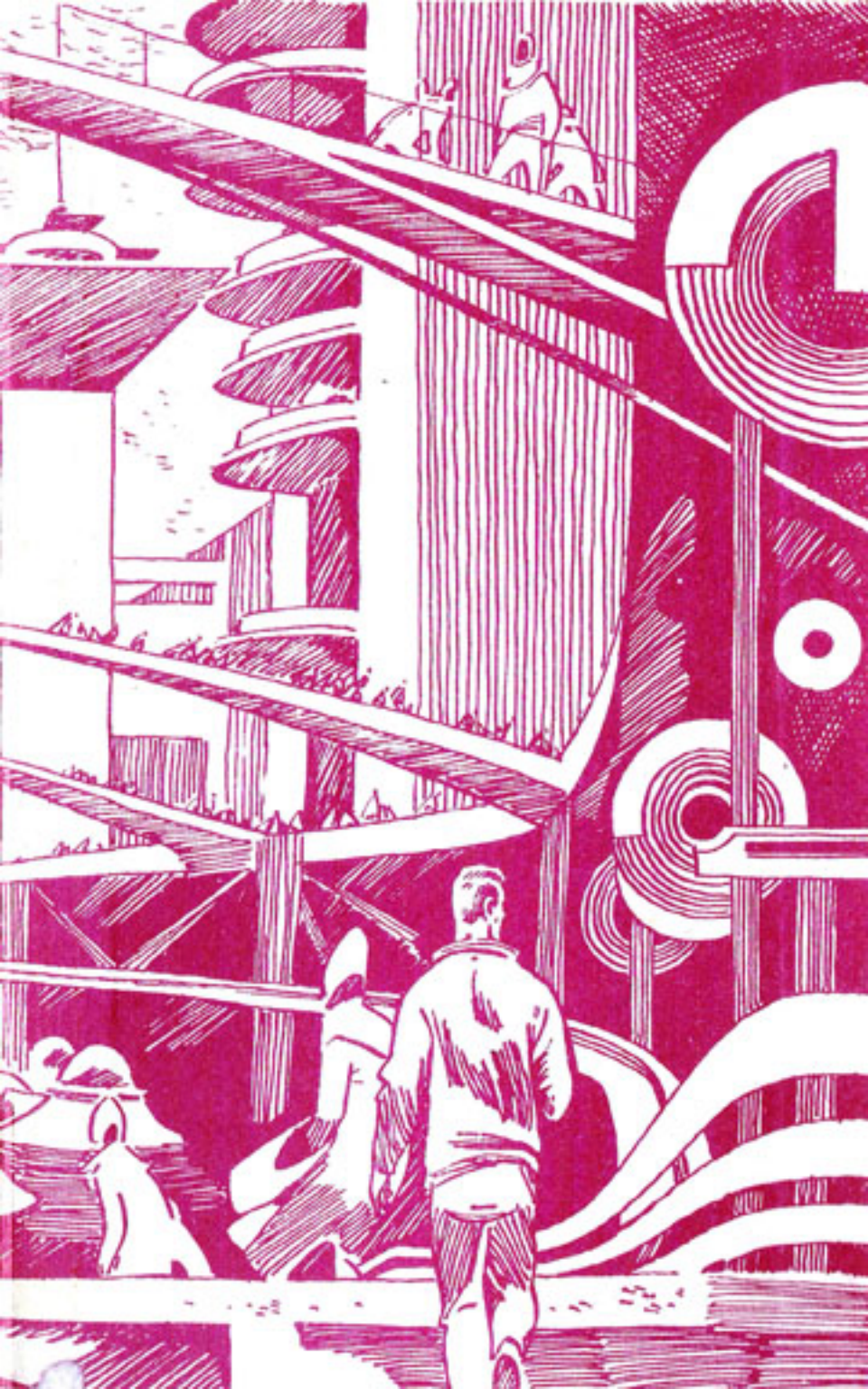


АЛЕКСАНДР АБРАМОВ
ОБРЕГИ АБРАМОВ

ТЕНЬ
ИМПЕРАТОРА

Издательство
Детская литература





БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ



МОСКВА ~ 1967

АЛЕКСАНДР АБРАМОВ
СЕРГЕЙ АБРАМОВ

A decorative horizontal line with a central diamond-shaped ornament and pointed ends.

ТЕНЬ ИМПЕРАТОРА

Рисунки В. Юдина

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

P2
A16

Д О Р О Г И Е Р Е Б Я Т А !

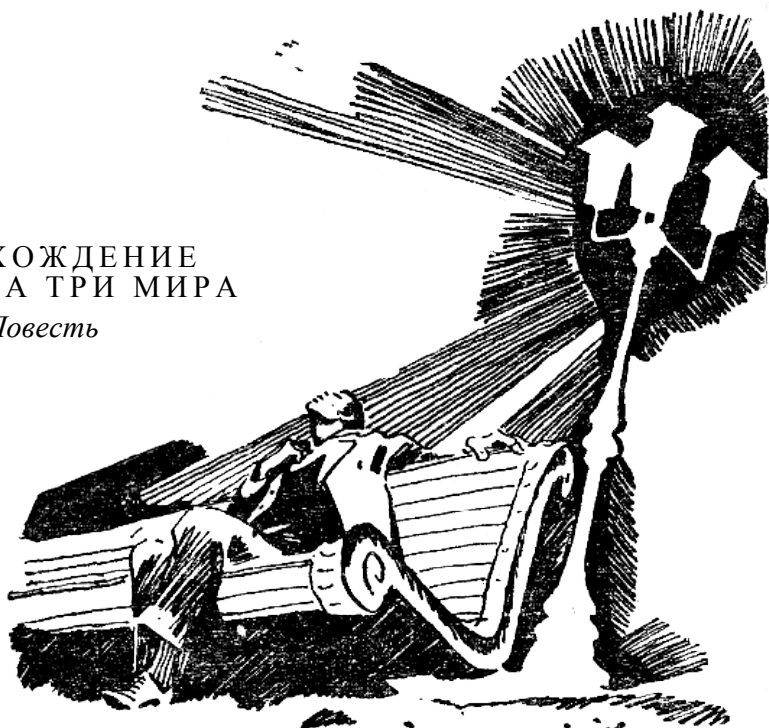
*Отзывы об этой книге
Присылайте по адресу:
Москва, А-47, ул. Горького, 43,
Дом детской книги.*

ok-language

Электронная копия
никогда не заменит
книгу

ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МИРА

Повесть



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛЯ И МИСТЕРА ГАЙДА, РАССКАЗАННАЯ ПО НОВОМУ

«...нет, это был другой господин Голядкин, совершенно другой, но вместе с тем и совершенно похожий на первого...»

Ф. М. Достоевский, «Двойник»

Nil admirari! — Ничему не удивляться!

*Положение, заимствованное
из философии Пифагора*

КТО Я?

Я возвращался домой от Никитских ворот по Тверскому бульвару. Было что-то около пяти часов вечера, но обычная в это время уличная субботняя суетола обходила бульвар,

и на его боковых аллеях, как и утром, было пустынно и тихо. Сентябрьское, вдруг совсем безоблачное небо не предвещало близкой осени, ни один желтый лист не зашуршал под ногами, и даже поблекшая к концу лета трава меж деревьями после вчерашнего ночного дождя казалась по майскому похорошевшей.

Я не спеша шагал по боковой дорожке, лениво прицеливаясь к каждой скамейке: не присесть ли? Наконец присел, вытянув ноги, и в ту же секунду почувствовал, как все окружающее уплывает куда то, тускнея и завихряясь. Обычно я не страдаю головокружениями, но тут даже вцепился в спинку скамейки, чтобы не упасть: вся противоположная сторона бульвара – деревья и прохожие – вдруг растаяла в лиловой дымке, точь в точь как в горах, когда облака подползают к ногам и все вокруг дробится и тает в густых, мокрых хлопьях. Но дождя не было, туман налетел сухой и чистый, слизнул всю зелень бульвара и исчез.

Именно исчез. В одно мгновение деревья и кусты вновь возникли, как повторный кадр в цветном кинофильме: широкая скамейка напротив вернулась на свое прежнее место и пропавшая было девушка в голубом пыльнике опять сидела на ней с книжкой в руках. Все выглядело как будто по прежнему, но только как будто: кто то во мне тотчас же усомнился в этом. Я даже оглянулся, пытаюсь проверить впечатление, и удовлетворенно подумал: «Чепуха, все так и было. Именно так». — «Нет, не так», — подумал кто то другой.

Другой ли? Я спорил с самим собой, но сознание как бы раздваивалось, и спор походил на диалог двух совсем неидентичных и даже непохожих «я». Возникавшая мысль тотчас же опровергалась другой, откуда то вторгшейся или кем то внушенной, но агрессивной и подавляющей.

«И скамейка та же».

«Не та. На Пушкинском зеленые, а не желтые».

«И дорожки те».

«Эти уже. И где гранитный бордюр?»

«Какой бордюр?»

«А лужайки нет».

«Какой лужайки?»

«У корта. Здесь был теннисный корт».

«Где?»

Но я уже оглядывался с чувством нарастающей тревоги. Раздвоение исчезло. Я вдруг осознал себя в новом, странно изменившемся мире. Когда вы идете по улице, где все вам привычно и все примелькалось глазу, вы не обращаете внимания на мелочи, на детали. Но стоит им внезапно исчезнуть, и вы остановитесь, охваченный чувством недоумения и тревоги. Пейзаж был только похожим, но совсем не тем, какой я знал, проходя по этим тысячи раз исхоженным бульварным дорожкам. И деревья, казалось, росли по другому, и кусты были не те, и самый бульвар я почему то называл не Тверским, а Пушкинским.

По привычке я взглянул на часы, а рука так и повисла в воздухе. И пиджак был совсем другой, не тот, какой я надел с утра, и вообще не мой пиджак, и часы были не мои, а под ремешком от часов кривился шрам, которого, может быть, только минуту назад не было вовсе. А сейчас это был застарелый, давно заживший шрам, след пули или осколка. Я посмотрел на ноги – и туфли были не мои, чужие, с нелепой пряжкой на боку.

«А вдруг и внешность у меня не та, и возраст не тот, и вообще я – это не я?» – обожгла мысль. Я вскочил и не пошел, а побежал по дорожке к театру.

Театр стоял на том же месте, но это был другой театр, с другим входом и другими афишами. На его репертуарном табло я не нашел ни одного знакомого названия. Только в темных, не освещенных изнутри дверных стеклах отразилось знакомое лицо. Это было мое лицо. Пока оно было единственным, что было моим в этом мире.

Только теперь я почувствовал, как у меня болит голова. Помассировал виски – боль не проходила. Вспомнилось, что где то поблизости, кажется на площади, была аптека. Может быть, она уцелела, на мое счастье? Площадь уже виднелась в мелькании пересекающих проезд автомашин, и я поспешил вперед, продолжая недоуменно и тревожно оглядываться. Домов по проезду Пушкинского бульвара я точно не помнил, но эти как будто не отличались от них – только не было привычных, бросающихся в глаза фонарей над подъездами, да и номерные знаки были другие.

У выхода на площадь, куда вливалась зеленая река бульвара, я буквально остолбенел: устье ее было пусто. Пушкина не было. На мгновение мне показалось, что у меня оста-

новилося серце. Голая каменна плешь на місці пам'ятника уже не тривожила, а пугала. Я закрив очі в надії, що навадження зникне. В цей момент хто то проходивший мимо толкнув мене, може бути і нечаянно, но так сильно, что я невольно повернувся на каблуках. Навадження дійсно зникло: я увидав пам'ятник.

Он стояв в глибині площі все такої же задумчивий і строгий, в небрежно накинута на плечі крилатке — дорогою с дитинства образ. Пусть на другому місці, но он! Даже дихати стало легше, хотя позади пам'ятника виділося совсем незнайоме збудову сучасної конструкції с величезними буквами по фасаді: «Росія». Готель чи кінно? Вчора еще на його місці стояв шестнадцятиповерховий житловий будинок, в першому поверсі якого розміщувався ресторан «Космос». Все було схоже і не схоже, знайомо до дрібниць, но именно дрібниці більше всего і видозмінювали знайомий вигляд. Аптеку, наприклад, я знайшов на тому ж місці, і продавщиці стояли за прилавками в таких же білих халатах, і така ж черга тиспилася у каси, а в оптичному відділенні продавалися окуляри в такої ж безвкусної і незручної оправі. Но когда я спросил у продавщиці пірабутан от головної болю, она недоуменно скривилася:

— Що?

— Пірабутан.

— Не знаю такого.

— Ну, от головної болю.

— Пірамідон?

— Нет, — растерянно пробормотав я, — пірабутан.

— Нет такого лекарства.

Мой глупо удрученний вигляд викликав у неї посмішку співчуття.

— Возьмите трійчатку. — І вона бросила на прилавок пакунок в невіданній мною упаковці. — Двадцять чотири копійки.

В брючному кишені я виявив горсть срібляної дрібниці, — монетки майже не відзначалися від наших. Потім уже, сидя на скамейці у пам'ятника Пушкіну, я ретельно обстежував всі кишені доставленого мені по прихоті долі чужого костюма. Содержиме їх поставило б в тупик будь-якого слідчого. Крім дрібниці, я знайшов кілька рублевих і трьохрублевих банкнот, совсем непо-

хожих на наши, скомканный трамвайный билет, хорошую авторучку я почти целый блокнот с отрывными листами. Никаких документов, удостоверявших личность моего двойника, не было.

Страх я уже не чувствовал, оставалось лишь острое, беспокойное любопытство. Как долго продлится мое вторжение в этот мир и чем оно окончится — об этом я старался не думать: здесь можно было предположить все, даже самое страшное. Но что делать в пределах выданной мне путевки в неведомое? В гостиницу меня, конечно, не пустят. Где я буду ночевать, если путевка надолго? Может быть, дома или у друзей — ведь где то живет же обладатель этого пиджака и друзья, наверно, у него есть, и самое смешное будет, если это и мои друзья; А вдруг все это сон? Я с размаху хлопнул рукой по скамейке — больно! Значит, не сон.

На какой то миг мне показалось, что я увидел знакомое лицо. Мимо неторопливо прошествовал широкоплечий крепыш с кинокамерой. Я узнал и хохолок на лбу, и массив плеч, и чугунный затылок. Неужели Евстафьев из пятой квартиры? Но почему он с кинокамерой? Ведь он и фотоаппарата в руках не держал.

Я вскочил и побежал за ним.

— Простите... — остановил я его, вглядываясь в знакомые черты. — Женька?.. Евгений Григорьевич?

— Вы ошиблись.

Я растерянно моргал глазами: сходство было абсолютным. Даже тембр голоса был тот же.

— А что, похож? — усмехнулся он.

— Поразительно.

— Бывает, — пожал он плечами и прошествовал дальше, оставив меня в состоянии полной душевной смятенности.

Мне все еще казалось, что это розыгрыш, мистификация. Сейчас Женька вернется, и мы будем хохотать вместе. Но он не вернулся.

Когда я потом вспоминал этот день, прежде всего приходило на память это чувство растерянности и смятения и, пожалуй, еще — невыносимого одиночества в городе, в котором каждый камень был знаком с детства и который изменился всего за несколько секунд дурноты. Я мучительно вглядывался в лица прохожих с тщетной надеждой встретить близкого человека. Зачем? Вероятно, он не узнал бы

меня, как близнец Евстафьева, а тому, кто узнал бы, что бы я мог ответить?..

Именно это и случилось.

— Сережка! Сергей Николаевич! — окликнул меня невысокий седой человек в замшевой курточке на «молниях». (Этого человека я никогда раньше не видел.) — Поди ка на минутку.

Я поднялся: меня действительно звали и Сережкой, и Сергеем Николаевичем.

— Есть новость. — Он доверительно взял меня под руку и тихо сказал: — Обалдеешь: Сычук остался.

— Какой Сычук? — удивился я. — Мишка?

— Какой же еще? Один у нас Сычук. Увы!

Мишку Сычука я знал с фронта. Сейчас он работал не то фотографом, не то фотокорреспондентом. Мы не дружили и не встречались.

— Что значит «остался»?

— Как остаются? Он же на «Украине» поехал вокруг Европы. Знаешь ведь...

Я ничего не знал. Но, учитывая ситуацию, изобразил удивление.

— В последнем заграничном порту, подонок, остался. Не то в Турции, не то в Германии: не знаю, как они ехали — в Одессу или из Одессы.

— Подлец, — сказал я.

— Будут неприятности.

— Кому?

— Ну, тем, кто ручался, и так далее, — усмехнулся человек в замше. — Фомич землю роет, к начальству помчался. Ты то ни при чем, конечно.

— Еще бы, — сказал я.

Незнакомец освободил мою руку и дружелюбно стукнул по спине.

— Ты что то прокис, Сережка. Или, может, я помешал?

— Чему?

— Творишь... или ждешь кого? А почему ты не в редакции?

Ни к одной редакции я не имел отношения. Разговор надо было заканчивать: в нем накопилось слишком много го-рючего.

— Дела, — сказал я неопределенно.

— Хитришь, старик, — подмигнул он. — Ну, пока.

И так же исчез из моей жизни, как и в ней появился. Как человек, впервые брошенный в воду, постепенно приобретает навыки пловца, так и я начинал ориентироваться в неизвестном. Любопытство подавляло страх и тревогу. Что я уже знал? Что и здесь у меня та же внешность и то же имя. Что Москва есть Москва, только чуть чуть другая в деталях. Что есть Одесса, Турция и Германия. Что пароход «Украина», как и у нас, совершает рейсы вокруг Европы. Что я связан с какой то редакцией и что в этом мире Мишка Сычук тоже оказался подонком.

Поэтому я ничуть не удивился, когда, спустившись к кинотеатру «Россия» — здание это, как я и предполагал, оказалось кинотеатром, — я встретил Лену. Я должен был кого-нибудь встретить, кто знал меня и там и здесь.

Лена шла, как всегда элегантная и, как обычно, рассеянная, но узнала меня сразу и даже, как мне показалось, смутилась.

— Ты? Откуда?

— От верблюда. Ну, что там?

— Где? — удивилась она.

— В больнице, конечно. Ты давно ушла?

Она удивилась еще больше:

— Я не понимаю тебя, Сережа. Ты о чем? Я только три дня в Москве.

Я видел ее сегодня утром у главврача, когда звонил в Институт мозга. До этого мы виделись каждый день или почти каждый день, когда я бывал в терапевтическом. Поэтому я замолчал, мучительно подыскивая выход из явно критической ситуации. Дорога в незнаемое изобиловала ухабами.

— Извини, Леночка, я стал ужасно рассеянным. И потом... такая неожиданная встреча...

— Как живешь? — спросила она, как мне показалось, с какой то металлической ноткой.

— Да так, — ответил я бодренько, — живем, хлеб жуем.

Она долго молчала, пристально рассматривая меня. Наконец произнесла совсем сухо:

— Станный у нас разговор с тобой. Очень странный.

Я понимал, что она сейчас уйдет и исчезнет единственный шанс закрепиться здесь хотя бы на сутки: едва ли мое

вторжение продлится дольше. Надо было на что то решаться. И я решился.

— Мне надо поговорить с тобой, Леночка. Просто необходимо. Произошло одно событие...

— Какое? — Ее глаза подозрительно сузились.

— Не могу же я говорить на улице... — Я торопливо подыскивал слова. — Ты где... живешь?

Она помедлила с ответом, видимо что то взвешивая.

— Пока у Галки.

— Это где?

— Ты же знаешь.

Я ничего не знал. Я даже не спросил, у какой Галки. Но мне нужно было, чтобы она согласилась. Мой последний шанс!

— Прошу тебя, Леночка...

— Неудобно, Сережа.

— Боже мой, какой вздор! — сказал я, думая о Лене, которую я знал.

Но это была совсем другая Лена, глядевшая на меня настороженно, совсем не дружески».

— Ну что ж... пойдём, — наконец сказала она.

ВТОРОЙ ШАГ В НЕЗНАЕМОЕ

Мы шли молча, почти не разговаривая. Она, видимо, волновалась, но старалась не показать этого, сдерживалась, может быть даже сожалея о своем согласии. Время от времени я ловил ее обращенный на меня испытующий, подозрительный взгляд. Что она подозревала и чего боялась?

Дом в Старо-Пименовском переулке я узнал сразу. Здесь когда то жила моя жена, еще до того, как мы познакомились. Кстати, ее тоже звали Галиной.

У меня противно задрожали колени.

— Ты что так смотришь? — спросила она.

Я продолжал молча оглядывать комнату. Как и все здесь, она была та и не та. Похожа и не похожа. Или, может быть, я просто забыл.

— Чья это комната, Лена?

— Галкина, конечно. Станные вопросы ты задаешь, Сережка. Разве ты не был здесь?

Я с трудом проглотил слюну. Сейчас я задам ей еще один странный вопрос:

— Разве она... не переехала?

Лена взглянула на меня как то испуганно, даже отстранилась немножко, словно я сказал какую то чудовищную нелепость.

— Вы разве не встречаетесь?

— Почему? — неопределенно ответил я. — Встречаемся.

— Когда ты ее видел в последний раз?

Я засмеялся и брякнул:

— Сегодня утром. За завтраком.

И тут же пожалел о сказанном.

— Не лги. Зачем ты лжешь? Она со вчерашнего дня в институте. И ночью работала. Еще не возвращалась.

— Уж и пошутить нельзя, — глупо сказал я, понимая, что все больше и больше запутываюсь.

— Странные шутки.

— Может быть, мы о разных людях говорим? — попробовал я исправить положение.

Она даже не рассердилась, только нахмурилась, как врач, который видит, но еще не понимает симптомы наблюдаемой им болезни.

— Я говорю о Гале Новосельцевой.

— Почему Новосельцевой? — удивился я.

На меня смотрели холодные, профессионально заинтересованные глаза врача.

— Ты потерял память, Сережа. Они расписались еще в начале войны. Что с тобой?

— Ничего, — пробормотал я, вытирая вспотевший лоб. — Я только думал...

— Почему я здесь, у разлучницы, да? — засмеялась она, на какое то мгновение утратив выражение профессионально врачебного любопытства. — Я и тогда не обижалась, Сережа. Подумаешь беда — парня увели. А теперь... смешно даже. Так давно это было... И другое после этого было — сам знаешь... — Она вздохнула. — Не везет мне в любви, Сережа.

Трудно рассчитывать каждый шаг в неизвестном. И я опять не рассчитал, забыв о том, где я и кто я.

— А кто тебе сейчас мешает с Олегом?

— Сережа!

И столько ужаса было в этом вскрике, что я невольно закрыл глаза.

— У тебя что то с памятью, Сережа. Такие вещи не забывают. Галка получила похоронную еще в сорок четвертом году. Ты не мог не знать.

Что я знал и чего не знал? Разве я мог сказать ей об этом?

— Ты или притворяешься, или болен. По моему, болен.

— А ты спроси меня: какое сегодня число, какой год и так далее.

— Я еще не знаю, что надо спросить.

— Так ставь диагноз, — озлился я. — С ума сошел, и все!

— Это не медицинский термин. Есть разные виды психических расстройств... Ты о чем хотел говорить со мной?

Теперь я уже не хотел. Если бы я сказал ей правду, она меня тут же отправила бы в психиатрическую больницу. Надо было выкручиваться.

— Понимаешь, какое дело... — начал я свою поспешную импровизацию, — произошло одно прискорбное событие... Весьма прискорбное...

— Ты уже говорил. Какое?

— В общем, я ушел из дому. От жены. О причинах говорить не буду. Но мне необходимо убежище. Хотя бы на сутки. Ночлегус вульгарно...

Я замолчал. Она тоже молчала, разглядывая кончики пальцев.

— Разве у тебя нет друзей?

— К одним нельзя, к другим неудобно. Знаешь, как иногда бывает... — Я старался не смотреть ей в лицо.

— А если бы ты меня не встретил?

— Но я тебя встретил.

Она все еще колебалась:

— Это неудобно, Сережа.

— Почему?

— Неужели ты сам не понимаешь?

— Знаешь что? — опять озлился я. — Вызывай психиатра. Ночлег мне, во всяком случае, будет обеспечен.

Я посмотрел ей в глаза: врач профессионал исчез, осталась просто испуганная женщина. Непонятное всегда страшно.

— Комната не моя, — проговорила она тихо. — Подождем Галку.

— А если она опять заночует в институте?

— Я позвоню ей. Телефон в передней. Посиди пока.

Она вышла, оставив меня одного в комнате, в которой мне было все знакомо почти до мелочей. Из этой комнаты я пошел в загс. Из этой ли? Нет, не из этой. Как в подобии треугольников: что то совпадало, что то нет.

Я взял со стола карандаш и записал в блокноте:

«Если со мной что случится, дайте знать жене Галине Громовой. Грибоедова, 43. Сообщите также в Институт мозга профессорам Заргарьяну и Никодимову. Очень важно».

Слова «очень важно» я подчеркнул три раза так, что карандаш сломался. То, что хотелось приписать дальше, так и осталось неприписанным.

А положив блокнот в карман, я понял, что опять сделал глупость. Мои Заргарьян и Никодимов этого письма не получают. А Галя Громова носит здесь другую фамилию.

В передней раздался звонок, и сквозь полуоткрытую дверь я услышал, как щелкнул замок и Лена сказала:

— Наконец то! Я тебе только что звонила.

— А что случилось? — спросил до жути знакомый голос.

— У нас Громов Сережка.

— Ну и хорошо! Будем чай пить.

— Понимаешь, Галка... странный он какой то... — Лена понизила голос до неслышного шепота.

— Что он, с ума сошел? — донеслось до меня.

— Не знаю. Говорит, что ушел от жены.

— Господи, какой вздор! Он тебя разыгрывает, Ленка, а ты уши развесила. Я полчаса назад ее видела.

Дверь распахнулась. Я вскочил и замер. У двери стояла моя жена.

То же лицо, тот же возраст, даже прическа та же самая. Только серьги незнакомые и костюм, какого я у нее еще не видал. Я молча стоял, силясь сдержать волнение.

— Ты что это придумал? — спросила Галя.

Я молчал.

— Я сейчас видела Ольгу. Она поехала домой и ждет тебя к ужину. Говорила, что вы собираетесь на ленинградский балет.

Я молчал.

— Что это за штучки? Ленку разыгрываешь. Зачем?

Я не мог найти слов для ответа. Все рухнуло. Какие объяснения могли бы удовлетворить их? Правда? Но кто в моем положении отважился бы на это?

— Лена говорит, что ты болен, — продолжала она, пыливо меня разглядывая. — Может быть, правда болен?

— Может быть, правда болен, — повторил я.

Я не узнал своего голоса — таким чужим и далеким он мне показался.

— Ну что ж, — прибавил я, — извините. Я, пожалуй, пошел.

— Куда? — встрепелась Галя. — Одного не пустим. Я отвезу тебя домой.

— Она выглянула в окно. — Вон и такси мое стоит. Ленка, добеги. Может быть, успеешь задержать.

Мы остались одни.

— Что все это значит, Сергей? Я ничего не понимаю.

— Я тоже, — сказал я.

— А все таки?

— Ты, кажется, физик, Галя? — бросил я наудачу.

Она насторожилась:

— А что?

— Ты имеешь представление о множественности миров? Сосуществующих рядом миров? Одновременно загадочно далеких и удивительно близких?

— Допустим. Есть такие гипотезы.

— Тогда допустим, что один из смежных с нами миров подобен нашему. Что в нем тоже есть Москва, только чуть чуть другая. Может быть, те же улицы, только иначе ornamentированные. Иногда те же дома, только с другим номерным знаком. Что там есть и ты, и я, и Лена, только в других отношениях...

Она все еще не понимала. Но мне уже давно надоел мой предшествовавший душевный маскарад. Я отважился:

— Допустим, что в той, другой Москве тебя зовут не Галя Новосельцева, а Галя Громова. Что вот из этой комнаты шесть лет назад мы с тобой пошли в загс. А сейчас произошло чудо: я переменял оболочку... заглянул в ваш мир. Вот тебе и дьявольщина для наших ограниченных умишек.

Она глядела на меня уже с испугом. Вероятно, думала, как и Ленка: внезапное помешательство, бред.

— Ладно, покончим с этим, — скривился я. — Вези куда хочешь, мне все равно. И не пугайся: ни душить, ни целовать тебя не буду. Вон уже Ленка рукой машет. Пошли.

КТО ДЖЕКИЛЬ И КТО ГАЙД?

Гая, должно быть, и в этом мире обладала той же выдержкой. Минуту спустя она уже успокоилась.

— Надеюсь, мы не будем при шофере заниматься научной фантастикой? — спросила она, подходя к машине.

— А ты считаешь, что научной? — не утерпел я.

— Кто знает!

На лице ее я не читал ничего особенного. Обычное поведение умной женщины, Галино поведение с чужими, но небезынтересными ей людьми. Внимательные глаза, уважительный интерес к собеседнику, бессознательное кокетство, насмешливость.

— Почему у вас памятник Пушкину посреди площади? — спросил я, когда мы проезжали мимо.

— А у вас где?

— На бульваре.

— Врешь ты все. И о загсе соврал. И почему шесть лет назад?

— Судьба, — засмеялся я.

— Где я была шесть лет назад? — задумчиво проговорила она. — Весной — в Одессе.

— И я.

— Что ты врешь? Ты же не поехал с нами.

— Это я у вас не поехал, а у нас — наоборот.

— Стран но, — по слогам сказала она и прибавила, критически посмотрев на меня: — А ты не производишь впечатления больного.

«Приятно слышать», — хотел сказать я, но не сказал. Черный шквал ударил мне прямо в лицо. Все потемнело.

— Что с тобой? — услышал я испуганный крик Гали и ее же торопливые, взволнованные слова: — Голубчик, остановите гденибудь у тротуара. Ему плохо...

...Я открыл глаза. Колдовской туман все еще клубился в машине. Из тумана глядело на меня лицо женщины.

— Кто это? — хрипло спросил я.

— Тебе плохо, Сережа?

— Галя? — удивился я. — Как ты здесь очутилась?

Она не ответила.

— Чтонибудь со мной случилось там... на бульваре? — спросил я и оглянулся.

— Случилось, — сказала Галя. — Поговорим потом. Можешь ехать домой или нужен врач?

Я потянулся, тряхнул головой, выпрямился. Можно было явно обойтись без врача. Пока мы ехали, я рассказал Гале, как я шел по Тверскому бульвару, как закружилась у меня голова и как я в лиловом тумане пытался разговаривать сам с собой.

— А потом, — неожиданно заинтересовалась Галя — до этого она слушала меня не то недоверчиво, не то равнодушно, — что было потом?

Я недоуменно пожал плечами.

— Не помнишь?

— Не помню.

Я действительно ничего не помнил и только по возвращении узнал от Гали о том, что произошло у нее дома.

— Бред, — сказал я.

Галя, с ее любовью к точным формулировкам, сейчас же поправила:

— Если бред, то очень последовательный. Как хорошо отрепетированная роль. Так не бредят. И потом, бред — это симптом болезни, а ты не производил впечатления больного.

— А обморок на бульваре? — вмешалась Ольга. — И в такси?

Она как врач искала медицинских объяснений. Но Галя по прежнему сомневалась:

— А что же между обмороками?

— Какое то сомнамбулическое состояние.

— Что я, лунатик? — обиделся я.

— Если это сон, то наяву, — насмешливо уточнила Галя. — И потом, мы видели этот сон, а не он. Кстати, о снах: ты все еще видишь их?

— При чем здесь сны? — буркнул я. — Я был в обмороке и никаких снов не видел.

Я хорошо понимал, что Галина никого не мистифицирует. Поэтому ее рассказ о моих похождениях в сомнамбулическом состоянии — пришлось все таки прибегнуть к такой оценке моего поведения — меня сильно встревожил. Я никогда не падал в обморок, не гулял по карнизам в лунные ночи и не терял памяти. Но разумных объяснений случившегося найти не мог.

— Может быть, гипноз? — предположил я.

— А кто это тебя загипнотизировал? — поморщилась Ольга. — И где? В редакции? На бульваре? Чушь!

— Чушь, — согласился я.

— А ты, случайно, не пишешь фантастической повести или романа? — вдруг спросила Галина. — Твое довольно толковое сообщение о множественности миров меня даже заинтересовало... Понимаешь, Ольга, — засмеялась она, — два смежных мира в пространстве, как подобные треугольники. И там, и здесь.

— Москва; и там, и здесь — Сергей Громов. Только тебя нет. Там он на мне женат.

— Так тайное становится явным, — пошутила Ольга. — И сомнамбула, конечно, это гость из другого мира в Сережкином обличье?

— Он мне так и объяснил. Москва, говорит, такая же, только немножко другая. Памятник Пушкину у нас на площади, а у них на бульваре. Я чуть не расхохоталась.

Ольга почему то задумалась.

— А знаешь, что можно предположить? — оживилась она: ей все таки очень хотелось найти разумное объяснение, как и мне. — Сережка ведь знал, что памятник когда то перенесли? Знал. Так, может быть, такая записанная в мозгу информация и определила этот бред? Возбуждение, сигнал — и пожалуйста: миф о смежном и подобном мире.

У меня эти рассуждения вызвали только досаду.

— Слушаю вас, и уши вянут. Какой то новый вариант стивенсоновской сказки. Прямо доктор Джекиль и мистер Гайд. Только кто Джекиль и кто Гайд?

— Ясно кто, — отпаривала Галя, — себя то ты не обидишь.

Ольга не поняла:

— Вы о ком?

— Оленька, — сказал я, — это агенты международного империализма, переброшенные к нам на самолете без опознавательных знаков.

— Я серьезно.

— И я серьезно. Есть такой английский писатель, по фамилии Стивенсон. Читают его обычно в юности. Даже медики. Для них, кстати, этот рассказ почти пособие по курсу психиатрии, ибо Джекиль и Гайд — это, по сути дела, один человек, вернее, квинтэссенция добра и зла в одном человеке. С помощью открытого им эликсира, или, на языке медиков, некоей смеси сульфаниламидных препаратов и антибиотиков, благородный Джекиль превращается по ходу действия в подлеца Гайда. Изложил точно? — спросил я Галю.

— Вполне. Poiищи в карманах — может быть, Гайд оставил какие нибудь следы своего превращения?

Я порылся в карманах и выбросил на стол пакетик с таблетками от головной боли.

— Должно быть, вот это. Я тройчатки не покупал.

— Может быть, это ты ему положила? — Галя спросила Ольгу.

— Нет. Наверно, это купил он по дороге домой.

— Ничего я не покупал, — рассердился я, — и вообще я не был в аптеке.

— Значит, это был Гайд. А других следов он не оставил?

Я машинально провел рукой по нагрудному карману.

— Погоди. Блокнот не на месте. — Я вынул блокнот и раскрыл его. — Тут что то написано. Где мои очки?

— Дай сюда. — Галя вырвала блокнот и прочла вслух: — «Если со мной что случится, дайте знать жене, Галине Громовой. Грибоедова, 43. Сообщите также в Институт мозга профессорам Заргарьяну и Никодимову. Очень важно». Даже подчеркнул, что очень важно, — засмеялась она. — А Галя, конечно, Громова. Я же говорю, что бред последовательный. Только почему Грибоедова? Старо Пименовский — это улица Медведева.

— А есть ли у нас улица Грибоедова? — спросила Ольга. — Я что то не слышала.

— Есть, — вмешался я. — Это бывший Малый Харитоньевский. Только такого дома там нет. Видимо, Гайд имел в виду какой то проспект, а не улицу.

— А кто это Заргарьян? — заинтересовалась Галя. — Никодимова я знаю. Это физик, и, между прочим, довольно крупный. Только он не в Институте мозга, а в Институте новых физических проблем. А кто такой Заргарьян, не знаю.

— А ведь это не Сережка писал! — вдруг воскликнула Ольга. — Не его почерк... хотя у «в» такая же закорючка и палочка у «т» такая же. Посмотри.

Я нашел очки и прочел запись.

— Почерк то похож. Я студентом так писал. А газетная писанина почерк испортила. Сейчас я так не напишу.

Я повторил в блокноте запись. Она сильно отличалась от первой.

— Да а, — протянула Галя, — графологической экспертизы не потребуется. А может быть, почерк меняется в сомнамбулическом состоянии?

— Не знаю. Это — область психиатрии. Какое то молниеносное психическое расстройство. Иначе я объяснить не могу. И мне все это очень не нравится, — сказала Ольга.

— Мне тоже, — подтвердила Галя.

Она читала и перечитывала обе записи в моем блокноте. На лице ее отражалась не только сосредоточенная работа мысли, но и сдержанная тревога: ясный, логический ум Гали не хотел отступать перед необъяснимым.

— Ну просто объяснить не могу. Хотя бы не научно, а только логически, житейски так сказать. Совершенно здоровый психически человек — и вдруг какая то сомнамбула! Ну, обмороки — это понятно, врач найдет объяснение. А бред о множественности миров — это какая то цитата из фантастического романа. И эти просьбы о ночлеге, о крыше над головой, когда у человека собственная отдельная квартира.

— Очевидно, мой Гайд искал убежища, — засмеялся я. — Не мог же он пойти в гостиницу.

— Вот это мне и не нравится. Гипотеза о Гаиде объясняет все. Но я предпочитаю иметь дело с наукой, а не с фантастикой. Хотя... здесь все фантастично. Ну, почему ты напросился к Лене? Ты же не знал, что она живет у меня.

— Я и сейчас этого не знаю. Я Ленку десять лет не видал. Даже не представляю себе, как она выглядит.

Моя авантюра в Галином рассказе удивила меня больше всего. Мы с Леной не встречались, не переписывались; вероятно, даже забыли о существовании друг друга.

— Это его пассия? — спросила Ольга.

— Мы все вместе учились еще в школе, до войны. Вместе собирались на медфак. Да не вышло: Сережка с Олегом ушли на фронт, а я предпочла физику. Только Ленка поступила на медицинский. Кажется, она действительно была влюблена в тебя.

— В Олега, — сказал я.

— Все девчонки за ним бегали, — вздохнула Галя, — а я самая несчастная. Выиграла и потеряла. — Она поднялась. — Мир дому сему, а мне пора. Совет детективов окончен. Шерлок Холмс предлагает экскурсию в область физики.

— Психики — ты хочешь сказать.

— Нет, именно физики. Я бы поинтересовалась Заргарьяном и Никодимовым и тем, что они делают в Институте новых физических проблем.

— Зачем? — удивилась Ольга. — Я бы обратилась к психиатру.

— А я бы к Заргарьяну. Кто такой Заргарьян? Чем он занимается? Связан ли с Никодимовым? И если связан, то в какой именно области? Ты когда нибудь слышал эти фамилии? — обратилась Галя ко мне.

— Никогда.

— Может быть, читал где нибудь и забыл?

— И не читал, и не забывал.

— Вот это и есть самое интересное в твоей сомнамбулической истории. Физика, милый, физика. Институт новых физических проблем. Новых, учти! Знаешь что? — обратилась она к Ольге. — Позвони Зойке и узнай о Заргарьяне. Она всех знает.

Зойке мы решили позвонить утром.

ЛИСТОК ИЗ БЛОКНОТА

Я сразу заснул и проспал всю ночь до утра.

А сны, можно сказать, моя особенность, отличающая меня от других смертных. Галя не случайно спросила, вижу ли я сны по прежнему. Вижу. Навязчиво повторяющиеся, почти неизменные по содержанию, странно похожие на куски видовой кинохроники.

Конечно, мне снятся и обыкновенные сны, в которых все сумбурно и смутно, а пропорции и отношения искажены, как в кривом зеркале. Воспоминание о них зыбко и недолговечно, потому их всегда трудно представить я записать. Но сны, о которых я говорю, помнятся всю жизнь, и я могу описать их с такой же точностью, как обстановку своей квартиры.

Они всегда цветные, и краски в них естественны и гармоничны, как в природе. Весенний луг, возникающий из ночной тьмы, цветет с такой же силой, как в жизни; а на ситцевом платье девушки, мелькнувшей в солнечном сне, запоминается даже рисунок. Ничего особенного не происходит в этих снах, они не пугают и не тревожат, но таят в себе что то недосказанное, как частицы чужой, нечаянно рассмотренной жизни.

Чаще всего это уголок незнакомого города, перспектива улицы, которую никогда не видел в действительности, но в которой все запомнилось до мелочей: балконы, витрины, липы на тротуарах и чугунные решетки я могу представить себе так же ясно, как будто видел их только вчера. Я вспоминал и прохожих, всегда одних и тех же, даже кошку, черную с белыми пятнами, перебежавшую дорогу. Она всегда перебежала ее на одном и том же углу, у одного и того же дома.

Иногда я вижу себя в пассаже, крытой торговой галерее, похожей на ГУМ. Но это не ГУМ. Пассаж одноэтажен и разветвляется на множество боковых продольных и поперечных магистралей. Я всегда кого то жду у писчебумажного магазина или медленно прохаживаюсь мимо выставки тканей, причудливо подсвеченных каким то странным переливчатым светом. Я никогда не видел этого пассажа в действительности, но помню не только его витрины, но даже образцы товаров, высокие стеклянные своды и цветную мозаику на полу.

Бывает, что сон преподносит мне интерьер городской квартиры, в которой я никогда не бывал в жизни, или идил-

лический сельский пейзаж. Чаще всего это дорога между голых земляных откосов, скупо поросших кое где кустиками пыльной травы. Дорога сбегает вниз к сизой полоске воды, пестреющей золотыми кувшинками. Иногда впереди идет женщина в белом, иногда старик с удочкой, но оба они никогда не оборачиваются, и я никогда не обгоняю их. Я вижу только полоску воды, прошитую ряской и кувшинками, по почему то знаю, что это пруд, и дорога сейчас свернет направо по берегу, и что именно здесь я бегал еще мальчишкой, хотя в реальном детстве моем не было ни этого пруда, ни этой дороги.

Именно эти сны и побуждали Ольгу усомниться в моем психическом равновесии и так решительно настаивать на консультации с психиатром. Но я все же склонялся последовать совету Галины. Злополучный листок из блокнота с фамилиями Заргарьяна и Никодимова не давал мне покоя, потому что я твердо знал, что никогда, ни при каких обстоятельствах я не слышал о них. В подсознательное же восприятие услышанного где нибудь в метро или на улице я, понятно, не верил. Нормальная память хранит услышанное в сознании, а не в подсознании.

— Хорошо, я позвоню Зойке, — согласилась Ольга.

Зойка работала в Институте научной информации и, по ее словам, знала всех «крупначей». Если Никодимов и Заргарьян принадлежали к этой высоко аттестуемой категории, я в одну минуту мог получить добрый десяток анекдотов об их образе жизни. Но мне были нужны не анекдоты, а точная информация о специальности и работах ученых. Мне нужно было убедиться, что это мои Никодимов и Заргарьян.

Я решил позвонить сначала Кленову, заведующему отделом науки у нас в редакции. Кленова я знал еще с фронта.

— Нужна справка, старик. Точные координаты двух мамонтов: Никодимова и Заргарьяна.

В трубке захохотали.

— Я еще вчера подумал, что ты малость спятил.

— Когда вчера? — удивился я.

— Когда я тебя у Пушкина застукал. Часов в шесть. Когда о Мишке рассказал.

Я облизал пересохшие губы. Значит, Кленов видел Гайда и с ним разговаривал. И ничего не заметил. Очень интересно.

— Не помню, — сказал я.

— Не разыгрывай. И о том, что Мишка остался, не помнишь?

— Где остался?

— В Стамбуле. Я же тебе рассказывал. Попросил политического убежища в американском посольстве.

— С ума сошел!

— Он в полном рассудке, гад. Проморгали. Говорят, чужая душа — потемки. А надо было просветить вовремя. Теперь коллективное письмо писать будем, чтобы назад не пускали, когда он на брюхе к нам поползет. Да ты что, серьезно не помнишь?

— Серьезно. Вчера примерно с пяти вечера часов до десяти полный вакуум в голове. Сначала обморок, потом — что говорил, что делал — ничего не помню. Очнулся, уже когда домой привезли. Должно быть, памятка все той же контузии. Под Дунафельдваром, помнишь?

Еще бы Кленову не помнить, когда мы вместе форсировали Дунай! С ним и с Олегом. А Мишка Сычук, между прочим, тоже там был, только заранее смылся в тыл: откомандировался в редакцию фронтовой газеты.

Минуто, должно быть, мы оба молчали. Пережитое на Дунае не забывается. Потом Кленов сказал:

— А ты бы с профессором посоветовался. Могу устроить консультацию: кой кого знаю.

— Не надо, — вздохнул я. — Ты лучше скажи, что делают в науке Никодимов и Заргарьян.

— На очерк надеешься? Не выйдет. Никодимов отвечает на эти попытки по методу конан дойлевского профессора Челленджера. Репортера «Науки и жизни» он в мусоропровод спустил.

— Пусть тебя не тревожит мое ближайшее будущее. Поделись всеведением. Кто такой Никодимов? И без шуток: мне это действительно очень нужно.

— Видишь ли, это физик с большим диапазоном интересов. Есть работы по физике поля. Интересовался электромагнитными процессами в сложных средах. Одно время с Жемличкой выдвинул идею нейтринного генератора.

— С кем?

— С Жемличкой. Чешский биофизик.

— А идея?

— Я профан, конечно, и слышал от профанов, но, в общем, что то вроде нейтринного лазера, пробивающего окно в антимир.

— Ты серьезно?

— А что? Попахивает авантюшкой? Так к этому и отнеслись, между прочим.

— А Заргарьян?

— Что — Заргарьян?

— Идет сейчас в пристяжке с Никодимовым?

— Тебе и это известно? Поздравляю.

— Он тоже физик?

— Нейрофизиолог или что то вроде. В общем, телепат.

— Что, что?! — закричал я.

— Те ле пат, — назидательно повторил Кленов. — Есть такая наука — телепатия.

— Сомневаюсь. Средневековьем отдаст. Нет такой науки.

— Ты отстал. Это уже наука. Конденсаторы биотоков и все такое прочее. Удовлетворен?

— Почти, — вздохнул я.

— Если пойдешь в атаку, поддерживаю духом и телом. Все, что выудишь, печатаем. А начинать советую с Заргарьяна. Он и попроще, и доступнее. И парень что надо...

Я поблагодарил и повесил трубку. Информация не выше уровня Зойки. Антимир, телепатия... Надо было звонить Гале для уточнения.

— Это я, сомнамбула. Уже встала?

— Я встаю в шесть утра, — отрезала Галя. — Меня интересует одна деталь твоей одиссеи. Почему ты сказал Ленке, что ушел от жены?

— Я не отвечаю за поступки Гайда. Я хочу их объяснить, — сказал я. — Слушай внимательно, Галина: в чем сущность идеи нейтринного генератора и как связать ее с конденсацией биотоков?

— Никодимов и Заргарьян? — засмеялась Галя.

— Как видишь, я кое что узнал.

— Чепуху ты узнал и чепуху мелешь. От идеи нейтринного генератора в том виде, как ее сформулировал Жемличка, Никодимов давно отказался. Сейчас он работает над фиксацией энергетического поля, создаваемого деятельностью мозга... Что то вроде единого комплекса электромаг-

нитных полей, возникающих в клетках мозга. Как видишь, я тоже кое что узнала.

— Заргарьян — физиолог. Что его связывает с Никодимовым?

— Работа их засекречена. Мне не известны ни ее сущность, ни перспективы, — призналась Галя; — Но так или иначе она связана с кодированием физиологических нейронных состояний.

— Что? — не понял я.

— Мозг, — подчеркнула Галя, — мозг, дорогой мой. Твой Гайд не случайно связал эти имена с Институтом мозга. Хотя... в каком аспекте все это рассматривать... Может быть, это и чисто физическая проблема.

Она задумалась; мембрана трубки доносила ее дыхание.

— Ключ здесь, Сережа, — заключила она. — Чем больше я над этим думаю, тем больше убеждаюсь в этом. Найди их — и ты найдешь объяснение.

Научный поиск кончился, предстоял поиск житейский. Мы начали его с Зойки.

Она тотчас же откликнулась на звонок. Да, она знает и Заргарьяна и Никодимова. Никодимова только в лицо; он похож на сына и не бывает на приемах. А с Заргарьяном знакома. Даже как то танцевала на вечере. Он очень интересуется снами.

— Снами интересуется, — повторила Ольга, прикрыв трубку рукой.

— Что?! — закричал я и вырвал трубку. — Зоенька! Это я. Да, да, он самый, ваш тайный вздыхатель. Что вы сейчас говорили о снах? Кто интересуется? Это очень важно!

— Я рассказала ему страшный сон, — с готовностью откликнулась Зойка, — а он ужасно заинтересовался, все расспрашивал о подробностях. А какие подробности — один страх, и только! А он выслушал и сказал, чтобы я приходила к нему каждую неделю и обязательно рассказывала все сны. Ему это нужно для работы. Ну я, сами понимаете, не дурочка. Знаю, какая это работа.

— Зоенька, — простонал я, — попросите его меня при-
нять.

— Что вы, что вы?! — ужаснулась Зойка. — Он терпеть не может газетчиков.

— А вы не говорите ему, что я из газеты. Скажите просто, что с ним хочет увидеться человек, который видит странные сны. И самое странное, что они повторяются, как записанные на пленку. Годами повторяются. Попробуйте, Зюенька, все это ему объяснить. Не выйдет — буду пытаться сам.

Она позвонила через десять минут.

— Представьте, вышло. Он примет вас сегодня после девяти. Не опаздывайте. Он этого не любит, — заговорила она деловой скороговоркой, как у себя в институте. — Он сразу заинтересовался и сейчас же спросил, какая четкость сновидений, степень запоминаемости и так далее. Я ответила, что вы сами расскажете, какая четкость. Я сказала, что вы у нас работаете. Не подведите.

КЛЮЧ

Заргарьян жил на Юго Западе в новом доме. Он сам открыл дверь, молча выслушал мои объяснения и так же молча проводил в кабинет. Высокий и гибкий, черноволосый, стриженный ежиком, он чем то напоминал героев итальянского неореализма. На вид ему было не больше тридцати лет.

— Разрешите спросить, — его строгие глаза пронзили меня насквозь, — что привело вас ко мне? Да, да, я знаю: странные сны и так далее... Но почему именно потребовалась моя консультация?

— Когда я все расскажу, ответа на этот вопрос не понадобится, — сказал я.

— Вы чтонибудь знаете обо мне?

— До вчерашнего вечера я понятия не имел о вашем существовании.

Он подумал немного и спросил:

— А что именно произошло вчера вечером?

— Я искренне рад, что мы начинаем разговор именно с этого, — сказал я решительно. — Я пришел к вам не потому, что меня беспокоят сны, не потому, что вы некий Мартын Задека, как, например, считает Зоя из Института информации. Кстати, я не работаю в этом институте, я журналист. — Я тут же подметил гримасу недовольства на лице Заргарьяна. — Но я пришел к вам и не за интервью. Меня не интере-

сует ваша работа. Точнее, не интересовала. Я еще раз повторяю, что до вчерашнего вечера я даже не слышал вашего имени, и тем не менее я его записал в бессознательном состоянии в своем блокноте...

— Что значит «в бессознательном состоянии»? — перебил Заргарьян.

— Это не совсем точно. Я был в полном сознании, но я ничего не помню об этом: что делал, что говорил. Меня просто не было, вместо меня действовал кто то другой. Вот он и записал это в моем блокноте.

Я раскрыл блокнот и передал его Заргарьяну. Он прочитал и как то странно, исподлобья посмотрел на меня.

— Почему записано два раза?

— Второй раз это записал я, чтобы сравнить почерк. Как видите, первая запись сделана не мной, то есть не моим почерком. И это почерк не сомнамбулы, не лунатика и не потерявшего память.

— Ваша жена живет на улице Грибоедова?

— Моя жена живет вместе со мной на Кутузовском проспекте. А на улице Грибоедова дома под этим номером нет. И женщина, упомянутая в записке, не жена мне, а просто знакомая, школьный товарищ. Кстати, она не живет на улице Грибоедова.

Он еще раз прочел записку и задумался.

— И о Никодимове вы тоже ничего не слышали?

— Так же, как и о вас. Я и сейчас знаю о нем только то, что он физик, похож на сыча и не бывает на приемах. Сведения, учтите, из Института информации.

Заргарьян улыбнулся, и тут я заметил, что он совсем не строгий, а добродушный и, вероятно, даже веселый парень.

— Портрет в общих чертах похожий, — сказал он. — Вальйте дальше.

И я рассказал. Рассказывать я умею картинно и даже с юмором, но он слушал, внешне ничем не выдавая своего интереса. Только когда я дошел до упоминания о множественности миров, он поднял брови и тут же спросил:

— Вы об этом читали?

— Не помню. Мельком где нибудь.

— Продолжайте, пожалуйста.

Я заключил рассказ реминисценцией из Стивенсона о Джекиле и Гайде.

— Самое странное, что эта фантомистика объясняет все, а другого разумного объяснения у меня нет.

— Вы думаете, это самое странное? — рассеянно спросил он, все еще перечитывая записку в блокноте. — У нас отказались ставить эту проблему в Институте мозга, а они все таки ее поставили...

Я смотрел на него не понимая.

— Вы точно пересказываете? — вдруг спросил он, снова пронзая меня глазами. — Два мира как подобные треугольники, так? И там и здесь Москва, только иначе орнаментированная. И там и здесь вы и ваши знакомые. Именно так?

— Именно так.

— Там вы женаты на другой женщине, живете на другой улице и как то связаны с Заргарьяном и Никодимовым, о которых здесь ничего не знаете. Так?

Я кивнул.

Он встал и прошелся по комнате, словно сдерживая волнение. Но я видел, что он взволнован.

— Теперь вы мне расскажете о снах. Я думаю, что все это связано.

Я рассказал и о снах. Теперь он смотрел с нескрываемым интересом.

— Значит, чужая жизнь, а? Какая то улица, дорога к реке, торговый пассаж. И все очень отчетливо, как на фотографии? — Он говорил медленно, взвешивая каждое слово, словно размышлял вслух. — И все запомнилось? Отчетливо, со всеми подробностями?

— Я даже мозаику на полу помню.

— И все знакомо до жути, до мелочей? Кажется, бывали тут сотни раз, даже, наверно, жили, а в действительности ничего подобного?

— А в действительности ничего подобного, — повторил я.

— Что же врачи говорят? Небось советовались.

Мне показалось, что он сказал это с какой то лукавинкой.

— А, что врачи говорят... — отмахнулся я. — Возбуждение... торможение. Это всякий дурак знает. Днем кора головного мозга находится в состоянии возбуждения, ночью наступает торможение. Неравномерное. С островочками. Эти островочки и работают, клеят из дневных впечатлений сны, монтируют...

Заргарьян засмеялся:

— Монтаж аттракционов. Как в цирке.

— А я не верю! — рассердился я. — Какой это, к черту, монтаж, когда все смонтировано до мелочей, до листика какогонибудь на дереве, до винтика в раме. И повторяется, как сеанс в кинотеатре. Раз в неделю обязательно посмотришь чтонибудь, что уже снилось раньше. И еще уверяют, что во сне увидишь только то, что наяву видел и пережил. Ничего, мол, другого.

— Об этом еще Сеченов писал. Он даже слепых опрашивал, и оказалось, что они видят во сне только то, что уже видели в зрячем состоянии.

— А я не видел, — упрямо повторил я, — ни в жизни, ни в кино, ни на картинках. Нигде! Ясно? Не ви дел!

— А вдруг видели? — усмехнулся Заргарьян.

— Где?! — закричал я.

Он не ответил. Молча взял сигарету, закурил и вдруг спохватился:

— Простите. Я не предложил вам. Вы курите?

— Вы мне не ответили, — сказал я.

— Я отвечу. У нас впереди еще большой, интересный разговор. Вы даже не представляете себе, каким открытием для нас будет эта встреча. Ученые ждут такой минуты годами. А я счастливiec: всего четыре года ждал. Вы свободны? — вдруг спросил он. — Можете подарить мне еще пару часов?

— Конечно, — растерянно согласился я, все еще ничего не понимая.

Внезапная перемена в Заргарьяне, его возбужденный, нескрываемый интерес даже чуть чуть смутили меня. Что особенного я рассказал ему? А может быть, Галя права: именно здесь и был ключ к разгадке всего случившегося?

А Заргарьян уже звонил кому то по телефону.

— Павел Никитич? Это я. Ты еще долго намерен пробыть в институте? Прелестно. Я привезу к тебе сейчас одного товарища. Он у меня. Кто? Ты даже не представляешь кто. Тот, о котором мы с тобой мечтали все эти годы. То, что он рассказал мне, подтверждает все наши домыслы. Я подчеркиваю: все! И даже больше. Трудно вообразить — голова кружится. Нет, не пьян, но напьюсь обязательно. Только потом. А сейчас едем к тебе. Жди.

Он положил трубку и обернулся ко мне:

— Вы понимаете, что такое рефрактор для астронома? Или электронный микроскоп для вирусолога? Таким драгоценным инструментом являетесь для меня вы. Для нас с Никодимовым. Я сделаю Зоеньке царский подарок — ведь она подарила мне вас. Едем!

Я по прежнему ничего не понимал.

— Надеюсь, вы не будете меня ни колоть, ни резать? Больно не будет? — спросил я голосом пациента, пришедшего на прием к хирургу.

Заргарьян захохотал, очень довольный.

— Зачем больно, дорогой? — заговорил он вдруг с акцентом восточного торговца. — Сядешь в кресло, заснешь на полчаса, сны посмотришь. Как в кино. — И прибавил уже без акцента: — Пошли, Сергей Николаевич. Я вас отвезу в институт.

ЛАБОРАТОРИЯ ФАУСТА

Институт находился в стороне от шоссе, в дубовой роще, показавшейся мне в темноте беззвездного вечера лесом из детской сказки. Кусты, похожие на гномов, разлапистые деревья, черные пни за кюветом, выглядывающие из травы, как диковинные зверюшки, — все это уводило в романтическую и жутковатую темь. Но вместо избушки на курьих ножках в конце асфальтовой аллейки подымалась круглая десятиэтажная башня с кое где освещенными окнами. Какие то из них мигали, вспыхивая и потухая, словно включались и выключались за ними гигантские юпитеры в съемочном павильоне.

— Валерка Млечин над беспроводным светом колдует, — сказал Заргарьян, перехватив мой взгляд. — Думаете, у нас? Нет, не у нас. Мы под самой крышей, с другой стороны.

Скоростной лифт поднял нас на десятый этаж; мы вошли в кольцевой коридор, дорожка которого тотчас же устремилась вперед. Она двигалась мягко, беззвучно, с привычной скоростью эскалатора.

— Включается автоматически, как только вы входите в коридор, — пояснил Заргарьян, — а выключается нажимом ноги на эти молочные регуляторы.

Слегка выпуклые, освещенные изнутри молочно белые плитки были вкраплены одна за другой через каждые два метра в пластмассовую ленту коридора. Мы плыли мимо двустворчатых белых дверей с крупными номерами. Против двести двадцатого Заргарьян нажал регулятор.

Мы остановились. Тотчас же раздвинулись двери, открывая вход в большую, ярко освещенную комнату. Заргарьян подтолкнул меня к креслу и сказал:

— Поскучайте минут десять, пока я поговорю с Никодимовым. Во первых, это избавит вас от необходимости повторяться, во вторых, я сделаю это более профессионально.

Он подошел к противоположной стене; она раскололась, раздвинулась и сейчас же закрылась за ним. «Фотоэлемент», — подумал я. Оборудование института, кажется, вполне соответствовало современным требованиям научно продуманного делового комфорта. От описания одного лишь коридора Кленов пришел бы в восторг: не зря он обещал мне всяческую поддержку «душой и телом».

Но в комнате, где я ожидал Заргарьяна, кроме расколовшейся стены, не было ничего особенно примечательного. Письменный стол модерн с прозрачной доской из плексигласа на никелированных ножках; открытый сейф в стене, похожий на духовку электроплиты; невидимый источник света и губчатый диван с подушкой, — здесь ночевали, когда задерживались. Возле стены громоздилась кipa желтой полупрозрачной пленки. По ней, как в кардиограммах, бежали жирные зубчатые линии. Пол из цветного пластика придавал комнате, пожалуй, излишне элегантный вид, но аскетические стенды с книгами и диаграммы на стенах, выполненные из того же пластика, возвращали ей серьезность и строгость. На одной диаграмме разноцветная кора обоих полушарий головного мозга выпускала металлические стрелы, которые увенчивались зашифрованными надписями из букв латинского и греческого алфавита. Другая предьявляла глазу просто пучок непонятных металлических линий с приклеенной сбоку надписью от руки: «Биотоки спящего мозга». Тут же был приколот лист бумаги с машинописным текстом: «Длительность и глубина снов. Наблюдения лаборатории Чикагского университета».

Книги на стендах стояли в полном беспорядке, громоздились друг на друге, лежали открытыми на выдвижных по-

лочках. Видимо, ими часто и охотно пользовались. Я взял одну: это была работа Сорохтина об атонии нервного центра. Тут же лежала стопочка книг и брошюр на разных языках. Все они, как я понял, говорили о какой то иррадиации возбуждения и торможения. На другой полке я нашел книгу самого Никодимова. То было английское издание, название которого я перевел как «Принципы кодирования импульсов, размещенных в коре и подкорковой области головного мозга». Правильно ли я перевел, не знаю, но тут же пожалел, что наши журналисты не получают достаточной подготовки, чтобы хоть приблизительно понимать процессы, происходящие на вершинах современной науки.

В этот момент стена раскололась, и голос Заргарьяна сказал:

— Прошу.

Комната, в которой я очутился, была действительно лабораторией, сверкавшей нержавеющей сталью и никелем. Но осмотреться я не успел: Заргарьян уже представлял меня немолодому человеку с каштановой, чуть посеребренной мушкетерской бородкой. Того же цвета волосы несколько превышали длину, принятую в нашей научной среде, и больше подходили к преподавателю консерватории, скажем, по классу скрипки или рояля. С птицей его роднили, пожалуй, лишь нос с горбинкой, а мне он напомнил Фауста, каким я его видел еще в юношеские дни в какой то периферийной опере.

— Никодимов, — сказал он и улыбнулся, перехватив мой мечущийся по сторонам взгляд. — Не смотрите, все равно ничего не поймете, а в двух словах не объяснишь. Да и ничего интересного — все внизу под нами: и конденсатор, и переключатели. А это — экраны для фиксации поля, в разных фазах, конечно. Как видите, элементарная путаница штепселей, рычагов и ручек. Так, кажется, у Маяковского?

Я искоса взглянул на стоявшее за экранами кресло, над которым было подвешено нечто напоминавшее шлем космонавта. К нему тянулись цветные провода.

— Испугался, — сказал Никодимов, подмигнув Заргарьяну. — А что страшного? Кресло как кресло...

— Постой, — обрадовался Заргарьян. — Не объясняй, пусть сам сообразит. Погляди, дорогой: похоже на парикмахерское, а зеркала нет. Может, зубоврачебное? Так бор-

машинки нет. Где такое кресло найдешь? В театре — нет, в кино — тоже нет. Может, в самолете, в пилотской кабине? А где штурвал?

— Похоже на электрический стул, — сказал я.

— Еще бы. Точная копия.

— А шлем вы мне тоже наденете?

— А как же? Смерть наступает через две минуты. — Глаза его лукаво блеснули. — Клиническая смерть. Потом воскрешаем.

— Не пугай, — засмеялся Никодимов и повернулся ко мне. — Вы журналист?

Я кивнул.

— Тогда прошу: никаких корреспонденции. Все, что здесь узнаете, еще не созрело для печати. Кроме того, опыт может быть и неудачным. Вы ничего не увидите, и мы ничего не заприходуем. Ну, а когда созреет, обязательно привлечем вас. Обещаю.

Бедный Кленов! Его мечта об очерке уплывала как сон.

— Ваш опыт имеет прямое отношение к моему рассказу? — осмелился спросить я.

— Геометрически прямое, — отрубил Заргарьян. — Это Павел Никитич осторожничает, а я прямо говорю: неудачи быть не может. Слишком очевидны показатели.

— Да а, — задумчиво протянул Никодимов. — Хорошие показатели. Так это с вами приключилась стивенсоновская история? — спросил он меня. — Вы ее так и объясняете: Джекиль и Гайд, да?

— Конечно, нет. Я не верю в перевоплощение.

— А все таки?

— Не знаю. Ищу объяснений. Ищу его у вас.

— Разумно.

— Значит, есть объяснение?

— Да.

Я вскочил.

— Сядьте, — сказал Заргарьян, — или, вернее, пересядьте в это пугающее вас кресло. Уверю вас, оно гораздо удобнее вольтеровского.

Мягко говоря, я поднялся не очень решительно. Это чертово кресло меня определенно пугало.

— Все объяснения после опыта, — продолжал Заргарьян. — Пересаживайтесь. Да смелее, смелее! Зуб рвать не будем.

Я сразу же утонул в кресле, как в пуховой перине. Возникло ощущение какой то особенной легкости, почти невесомости.

— Протяните ноги, — сказал Заргарьян. Видимо, он и руководил опытом.

Мои подошвы уперлись в резиновые зажимы. Головы коснулся бесшумно опустившийся шлем. Он обхватил лоб неожиданно легко и удобно, как мягкая шляпа.

— Немножко свободно?

— Пожалуй.

— Сидите спокойнее. Сейчас урегулируем.

Шлем стал туже. Но я не ощущал никакого давления: гибкая пленка шлема, казалось, вросла в кожу. И словно ворвавшийся в открытое окно вечерний ветер приятно охлаждал лоб и шевелил волосы. Но я знал, что окно было закрыто, а голову мою облекал шлем.

Внезапно погас свет. Меня окружала теплая непроницаемая темь.

— В чем дело? — спросил я.

— Все в порядке. Мы изолировали вас от света.

Чем они меня изолировали? Стеной, колпаком, капюшоном? Я тронул веки: шлем не закрывал глаз. Протянутая рука ничего не встретила.

— Опустите руку. Не волнуйтесь. Сейчас заснете.

Я сел поудобней и расслабил мышцы. И действительно, почувствовал приближение сна, надвигающейся нирваны, гасившей все мысли, воспоминания и назойливо выплывающие слова или строчки. Почему то вспомнилось четверостишие: «Но сон — это только туманность, несобранность и непостоянность, намеков на одушевленность, а в общем, не злая ложь». «О чем солжет наступающий сон, зло или не зло?» — мелькнула мысль и погасла. Чуть звенело в ушах, словно где то близко близко на очень высокой ноте звенел комар.

И тут до меня донеслись отчетливые, хотя и локально неясные голоса.

— Как наводка?

— Что то экранирует.

— А так?

- Тоже.
- Попробуй вторую шкалу.
- Есть.
- Светимость?
- Есть.
- Включаю на полный.

Голоса исчезли. Я погружался в беззвучное, бестревожное небытие, наполненное ожиданием необычайного.

СОН С ИЗУМЛЕНИЕМ

Я приоткрыл глаза и зажмурился. Все кружилось в розовом тумане. Огни люстры под потолком вытягивались в сияющую параболу. Меня окружал хоровод женщин в одинаково черных платьях, с одинаково размытыми лицами. Они кричали мне голосом Ольги:

— Что с тобой? Тебе плохо?

Я как можно шире раздвинул веки. Туман рассеялся. Люстра сначала троилась, потом двоилась, потом стала на место. Хоровод женщин сплюснулся в одну единственную, с голосом и улыбкой Ольги.

— Где мы? — спросил я.

— На приеме.

— Каком?

— Неужто забыл? На приеме в венгерском посольстве. В «Метрополе».

— Почему?

— Господи, нам еще с утра билеты прислали! Я и к портнихе успела съездить. Все забыл.

Я точно знал, что никаких билетов нам с утра не присылали. Может быть, вечером, когда я вернулся от Никодимова? Значит, опять провал в памяти?

— А что случилось?

— В зале душно. Ты предложил выйти на свежий воздух. Мы прошли в холл, и здесь тебе стало плохо.

— Странно.

— Ничего странного. В зале дышать нечем, а сердце у тебя неважное. Хочешь пить?

— Не знаю.

Ольга казалась мне странно чужой в этом новом платье, о котором я услышал впервые. Когда же она ездила к портнихе, если я весь день был дома?

— Подожди минутку, я сейчас принесу нарзан.

Она скрылась в зале, а я продолжал растерянно оглядывать знакомый ресторанный холл. Я узнал его, но это не облегчило положения. Я так и не мог понять, когда венгры прислали билеты и зачем они их прислали. Я не был ни народным, ни заслуженным, ни академиком, ни мастером спорта. А Ольга воспринимала это как нечто обычное, само собою разумеющееся.

Я все еще стоял, когда Ольга появилась с нарзаном. У меня создалось впечатление, что ей хочется вернуться в зал.

— Знакомых встретила?

— Там все начальство, — оживилась Ольга, — и Федор Иванович, и Раиса, даже замминистра.

Я не знал ни Федора Ивановича, ни Раисы, и тем более замминистра. Но признаться в этом уже не рискнул, а только спросил:

— А почему замминистра?

— Он всех и устроил. Поликлиника то министерская. Он — Федору, тот — Раисе. Наверно, было несколько лишних билетов.

Ольга работала не в министерской, а в самой обыкновенной районной поликлинике. Это я знал точно. Когда то ее действительно приглашали в поликлинику Министерства путей сообщения, но она отказалась.

— Ты иди, — сказал я, — а я погуляю немного, подышу.

Я вышел на тротуар у подъезда и закурил. В мокром асфальте купались желтые огни фар. Мимо проплыл двухэтажный троллейбус, красный, как в Лондоне. Такого я еще не видел. Между верхним и нижним рядами окон тянулась рекламная полоска шрифтового плаката: «Смотрите на экранах новый французский фильм „Дитя Монпарнаса“. И об этом фильме я ничего не слышал. Что у меня с памятью? Провал за провалом.

Вдали, слева от Большого театра, горел в небе гигантский неоновый квадрат. В квадрате по воздуху бежали световые буквы: «...Землетрясение в Дели... Группа советских врачей вылетела в Индию...» Световая газета. И опять я не помнил, когда ее здесь оборудовали.

— Освежаешься? — услышал я знакомый голос.

Я обернулся и увидел Кленова. Он выходил из ресторана.

— А я ухожу, — сказал он. — Пить — не пью: язва. Отдал честь — и домой.

— А, собственно, какую честь?

— Так нас же Кеменеш пригласил. Он сейчас пресс атташе.

Тибор Кеменеш, венгерский студент, говоривший по русски, был нашим проводником в Будапеште. Я тогда только что выписался из госпиталя, и мы часами бродили по незнакомому городу. Но когда Кеменеш стал пресс атташе в Москве? И почему я только сейчас узнал об этом?

— Растут люди. А мы с тобой застряли, старик, — вздохнул Кленов. — Крутим колесико.

— Кстати, о колесике. Очерка не будет, — сказал я.

— Какого? — удивился Кленов.

— О Заргарьяне и Никодимове.

Он захохотал так, что прохожие начали оглядываться.

— Чудак человек, нашел, о ком писать. У Никодимова на даче пантера на цепи вместо собаки, а в Москве он газетчиков в мусоропровод спускает.

— Ты мне об этом уже говорил.

— Когда?

— Сегодня утром.

Кленов взял меня за плечи и заглянул в глаза.

— Ты что пил, токай или палинку?

— Ничего не пил.

— Оно и видно. Я еще в субботу вечером на дачу в Жаворонки уехал, а вернулся только сегодня к пяти. Ты, должно быть, во сне со мной разговаривал.

Кленов помахал мне рукой и удалился, а я стоял, глубоко потрясенный последними его словами: «Это ты во сне со мной разговаривал». Нет, это я сейчас с ним во сне разговариваю. В неестественной реальности сна.

Сразу вспомнился разговор в лаборатории Фауста, кресло с проводами и предупреждение Заргарьяна из темноты: «Сидите спокойнее, сейчас заснете». Какойнибудь электросон с искусственно вызванными сновидениями. Все как наяву, только реальная жизнь почему то вывернута шиворот наыворот. Тогда чему же я удивляюсь: все проще простого.

Я вернулся в ресторан. Над столиками висел мутноватый дымок, как пар, смешанный с электрическим светом. Вокруг фонтана танцевали. Я искал Ольгу, но не нашел и свернул в боковой зал. Длинные столы, уставленные наполовину истребленными закусками, свидетельствовали о том, что здесь совсем недавно угощались гости. Угощались по европейски, стоя с тарелочками у столов или пристраиваясь на закрытых портьерами подоконниках. Сейчас здесь насыщались опоздавшие, разыскивая на столах еще не тронутые закуски и напитки. Кто то, хозяйничавший в одиночку на краю большого стола, обернулся ко мне и крикнул:

— Давай сюда, Сергей! Заворачивай. Палинка, как в Будапеште.

Это был Мишка Сычук, по известной мне версии уже успевший сбежать за границу. Может быть, во сне он уже успел и вернуться. Сквозь нуль пространство или на ковре самолете — над этим я не задумывался и на чудеса не реагировал. Я просто налил себе из Мишкиной бутылки абрикосовой палинки и выпил. Сон, сохранивший даже вкусовые ощущения яви, начинал мне нравиться.

— За друзей товарищей, — сказал Мишка и тоже выпил.

— А ты как здесь? — спросил я дипломатично.

— Как и ты. Герой освобождения Венгрии.

— Это ты герой?

— Все мы герои. — Мишка допил остаток в бокале и крякнул. — В такой войне выжить!

Я озлился:

— А потом предать?

Мишка поставил бокал и насторожился.

— Ты о чем?

Я сознавал, конечно, что я не логичен, что в настоящей ситуации обвинения мои бессмысленны, но меня уже понесло.

— На «Украине» поехал... честь честью. По советской путевке, гад!

— Откуда ты знаешь? — почти шепотом спросил Мишка.

— Что ты остался?

— Что я хотел ехать, что о путевке хлопотал...

— Знать бы — не дали.

— Да мне и не дали.

Как председатель месткома, я сам устраивал Мишке путевку. Но в этом сне все наыворот. Может быть, это я ездил вместо Мишки? Я тоже хотел, только путевки лишней не было. А вдруг была? Сон бросал меня, как щепку.

— Садись, Сережка. Ты что меня избегаешь? — Кто то схватил меня за руку, когда я пробирался между столиков в большом зале.

Я взглянул в лицо спрашивавшего и обмер. Пожалуй, я испугался.

— Садись, садись. Выпьем токайского. Как никак лучшее в Европе.

Ноги у меня подкосились, и я скорее упал, чем присел к столу. На меня смотрели знакомые печальные глаза. В последний раз я видел их — не оба, только один — в сорок четвертом на придунайском шоссе. Олег лежал навзничь, лицо его было залито кровью, вытекавшей оттуда, где только что был правый глаз. Вдругом застыли испуг и печаль.

Сейчас на меня глядели оба. От правого тянулся по виску кривой розовый шрам.

— Что смотришь, старина? Постарел?

— Я сорок четвертый вспомнил. Когда тебя... тебя...

— Что?

— Когда тебя убили, Олег.

Он улыбнулся.

— Малость ошиблась пуля. Шрам только остался. Если бы правее чуть — конец. Ни глаза бы, ни меня. — Он вздохнул. — Смешно. Тогда не боялся, теперь боюсь.

— Чего?

— Операции. Осколок где то в груди остался — памятка еще одного ранения. До сих пор с осколком жил, а сейчас говорят: нельзя. На операцию надо.

Знакомые глаза с длинными, почти женскими ресницами улыбались. Лоб оголился у висков и как будто стал выше. К углам губ приникли глубокие морщинки. В этом бесконечно дорогом для меня лице все таки было что то чужое. Печать времени. Так выглядел бы Олег, если бы остался жив. Но ведь он жив в этом искусственном мире сна. Если Фауст создал эту модель, значит, он бог, и я уже начал сомневаться, какой же из двух миров настоящий. Мелькнула коварная мысль: вдруг что то сломалось в лаборатории Фауста и я останусь здесь навсегда? Буду ли я сожалеть об этом? Не знаю.

Я больно больно ущипнул себя за руку.

— Зачем? — удивился Олег.

— Мне показалось, что все это сон.

Олег засмеялся и вдруг растаял в лиловатом тумане. Знакомый туман. Он слизнул все и почернел. Голос Заргарьяна из темноты спросил меня:

— Вы живы?

— Жив.

— Подымите руку. Движения свободны?

Я помахал рукой в темноте.

— Засучите рукав и расстегните ворот.

Он приложил что то холодное к груди и запястью.

— Не пугайтесь. Обыкновенные датчики. Проверим ваше сердце. Не разговаривайте.

Как он мог видеть в темноте, сквозь которую не проникала ни одна искорка света? Но он видел.

— Порядок, — произнес он довольным голосом, — только пульс малость участился.

— Может быть, прекратим? — спросил откуда то голос невидимого мне Никодимова.

— Зачем? У Сергея Николаевича нервы спортсмена. Сейчас мы ему еще сон покажем.

— Так это был сон? — спросил я с облегчением.

— Кто знает? — лукаво отозвался Заргарьян из черноты. — А вдруг нет?

Я не успел ответить. Темнота поглотила меня, как море.

СОН С ИСТЕРИКОЙ

Из темноты сверху вырвался поток света, заливая белый операционный стол. Белая простыня закрывала до пояса распростертое на столе тело. Вскрытая грудная клетка обнажала алость кровоточащих внутренних тканей и жемчужную белизну ребер. Глаза оперируемого были закрыты, лицо бескровно и неподвижно. Что то знакомое было в этом лице: как будто я его видел совсем недавно, эти глубокие морщинки у губ и кривой розовый шрам на правом виске.

У меня в руках зонд, погруженный в рану. Я в белом халате, на голове у меня белая полотняная шапочка, нос и рот в марлевой маске. Так же выглядят люди напротив и рядом

со мной. Я никого из них не знаю, узнаю только глаза женщины, стоящей у изголовья. Они прикованы к моим рукам, и такая тревожная напряженность в них, что кажется, между нами протянута невидимая, тугая претугая струна. Она тоненько звенит по мере того, как зонд погружается в рану.

Я вспомнил вдруг все, что произошло до этой минуты. Скрип тормозов машины, остановившейся у подъезда, гранитные его ступени, еще мокрые от дождя, перспективу знакомой, часто снившейся мне улицы, а затем почтительную улыбку гардеробщика, поймавшего на лету брошенное ему пальто, неспешный взлет лифта и сияющую белизну операционной, где я облачался в белый халат и противно долго мыл руки. Я точно вспомнил, что я, именно я, начал операцию, вскрыл скальпелем прочерченную шрамами грудь и мои руки с профессиональной, привычной умелостью резали, кололи, зондировали. Все это промелькнуло в сознании со скоростью звука и исчезло. Я все забыл. Привычная умелость в руках обернулась испуганной дрожью, и с внезапным ужасом я осознал, что не знаю, как и что делать дальше, не умею этого делать, и любое дальнейшее промедление будет убийством.

Но понимая, что и зачем я делаю, я вынул зонд из раны и уронил его. Он глухо звякнул. В устремленных на меня глазах над марлевыми масками читался один и тот же вопрос: «Что случилось?»

— Не могу, — почти простонал я. — Мне плохо, товарищи.

Чужими, ватными ногами пошел к двери и, полуобернувшись, увидел, как чья то спина подвинулась на мое место и негромкий басок скомандовал старшей сестре:

— Зонд!

«Бежать!» — подсказала мысль. Чтобы никто не видел, чтоб никого не видеть, не читать дальше того, что я уже успел прочесть в этих широко открытых, изумленных, обвиняющих глазах. Ног я не чувствовал. Меня бросило как шквалом сквозь хирургическую на площадку между двумя расходившимися под прямым углом коридорами и швырнуло на белый, сияющий эмалевым блеском диван.

«Сейчас я этими руками зарезал Олега», — сказал я себе и, сжав виски ледяными ладонями, застонал, может быть, даже завыл.

— Что с вами... Сергей Николаевич, голубчик? — услышал я чей то перепуганный голос.

Человек в таком же халате, как и я, только без шапочки, с лысым, голым черепом встревоженно спрашивал:

— Что случилось? Как операция?

— Не знаю, — сказал я.

— Как же так?

— Я бросил... я ушел... — еле вымолвил я. — Мне стало плохо.

— Кто же оперирует? Асафьев?

— Не знаю.

— Как же вы не знаете?

— Ничего я не знаю! Я даже вас не знаю! Кто вы такой, как вас зовут, где я, черт побери?! — закричал я.

Он потоптался на месте, глядя на меня изумленными, ничего не понимающими глазами, и побежал в ту же дверь, из которой я только что вырвался.

Я посмотрел ему вслед и встал. Рванул за спиной полы завязанного сзади халата — завязки лопнули. Я вытер им руки и бросил на пол. Туда же швырнул и шапочку. В глубине протянувшегося передо мной коридора мелькнула девушка в белом — врач или сестра, — простучала каблучками шпильками по паркету и скрылась в одной из комнат. Я машинально пошел в ее сторону мимо одинаково белых дверей. Они вели в кабинеты врачей, чьи имена были отпечатаны на карточках в рамках из белой пластмассы. «Д р Громов С. Н.», — прочел я на одной из карточек. «Мой» кабинет. Что ж, войдем!

У широкого итальянского окна за «моим» письменным столом сидел Кленов и читал газету.

— Уже? — спросил он сдержанно, но в сдержанности этой прозвучали тревога и страх.

Я молчал.

— Жив?

— А ты почему здесь? — спросил я вместо ответа.

— Ты же сам сказал, чтобы я здесь дожидался! — вспылil Кленов. — Что с ним?

— Не знаю.

Он вскочил:

— Почему?

— Мне стало дурно... Я почти потерял сознание.

— Во время операции?

— Да.

— Кто же оперирует?

— Не знаю. — Я старался не глядеть на него.

— А сейчас почему ты здесь?! Почему не в операционной?! — закричал Кленов.

— Потому что я не хирург, Кленов.

— Ты с ума сошел!

Он не оттолкнул — отшвырнул меня плечом, как в хоккейной баталии, и выбежал в коридор. А я бессмысленно сел на стул посреди комнаты, не мог дотащить даже до письменного «моего» стола. «Я не хирург», — сказал я Кленову. Но как же тогда я мог начать операцию и благополучно довести ее до критической минуты, не вызывая ни в ком сомнений? Значит, во сне так можно. Тогда откуда же этот страх, почти ужас перед случившимся? Ведь и Олег, и операция, и Кленов, и я сам — все это только призрачный мир сна, и я это знаю. «А вдруг нет?» — сказал Заргарьян. А вдруг нет?

Зазвонил телефон на столе, я отвернулся. Телефон продолжал звонить. Наконец мне это надоело.

— Сережка, это ты? — спросили в трубке. — Ну как?

— Кто говорит? — рявкнул я.

— Не кричи. Уже меня не узнаешь.

— Не узнаю. Кто это?

— Ну, я, я! Галя. Кто же еще.

«Галя волнуется, это вполне естественно, — подумал я. — Но почему по телефону? Уж кому кому, а ей следовало бы дождаться в приемной. Приехал же Кленов».

— Ты что молчишь? — удивилась она. — Неужели неудача?

— Видишь ли... — замялся я. — Не могу сказать тебе ничего определенного. Мне стало плохо во время операции. Продолжает ее ассистент...

— Асафьев?

«Опять этот Асафьев. А я знаю, он или не он? И не все ли равно кто, если это только сон?»

И я сказал:

— Наверное. Я не разглядел. Они все в марлевых масках.

— Ты же не доверяешь Асафьеву. Еще утром сказал, что он хирург для амбулатории.

— Когда сказал?

— Когда завтракали. Еще за тобой машина не пришла.

Я знал точно, что утром мы с Галей не завтракали. Я был дома. И никакой машины у меня вообще нет. Но зачем спорить, если все это сон.

— А с тобой что? — продолжала она. — Что значит «плохо»?

— Слабость. Головокружение. Утрата памяти.

— А сейчас?

— Что — сейчас? Ты об Олеге?

— Да не об Олеге — о тебе!

Я даже подивился: откуда у Галки такая черствость? Олег на операционном столе, а она спрашивает, что со мной?

— Полная атрофия памяти, — сказал я сердито. — Все забыл. Где был утром и где я сейчас, кто ты, кто я и почему я хирург, если один вид скальпеля приводит меня в содрогание.

В трубке замолчали.

— Ты слушаешь? — спросил я.

— Я сейчас же еду в больницу, — сказала Галя и положила трубку.

Пусть едет. Не все ли равно когда, куда и зачем? Сны всегда алогичны, только я почему то наделен способностью рассуждать логически даже во сне. Решимость бежать, созревавшая еще с той минуты, когда я покинул операционную, окончательно во мне укрепились. «Оставлю какуюнибудь записку для приличия и уйду», — подумал я.

На верхнем листке из блокнота, лежавшего на столе поверх каких то бумаг, я прочел типографский текст: «Доктор медицинских наук, профессор ГРОМОВ Сергей Николаевич».

И тут я вспомнил свой листок из блокнота, на котором мой предположительный Гайд начертил таинственную, но указующую надпись. Она оказалась ключом к разгадке. Правда, до самой разгадки я еще не добрался, но ключ уже был в замке. «А вдруг нет?» — ответил мне Заргарьян на мой вопрос, сон ли это. А вдруг я по отношению к доктору медицинских наук, профессору Громову Сергею Николаевичу

точно такой же невидимый агрессор, как и мой вчерашний Гайд по отношению ко мне? И не следует ли мне по его примеру оставить такую же указующую запись?

И я тут же написал в блокноте профессора:

«Мы с вами двойники, хотя и живем в разных мирах, а может быть, и в разном времени. К несчастью, наша „встреча» произошла во время операции. Я не смог ее закончить: в моем мире у меня другая профессия. Найдите в Москве двух ученых – Никодимова и Заргарьяна. Они, вероятно, смогут разъяснить вам, что произошло с вами в больнице».

Не перечитывая написанного, я пошел к двери, охваченный одним чувством: куда угодно, только подальше от этой гофманской чертовщины. Напрасно: она поджидала меня у порога.

Не успел я открыть дверь, как вошла Лена. Она была в том же халате и шапочке, как и в операционной, только без марлевой маски. Я отступил на шаг и спросил с той же дрожью в голосе, как спрашивали и меня:

— Ну как?

Она почти не постарела с тех пор, как я видел ее в последний раз после войны, а прошло, должно быть, лет десять. Но с этой Леной из моего сна я был связан прочнее: нас объединяла общность профессии.

— Осколок вынули, — сказала она, почти не разжимая губ.

— А он?

— Будет жить. — И, помолчав, прибавила: — А ты на другое рассчитывал?

— Лена!

— Почему ты это сделал?

— Потому что случилось несчастье. Потеря памяти. Я вдруг забыл все, что знал, все, чему учился. Забыл даже профессиональный навык. Я не мог, не имел права продолжать операцию.

— Ты лжешь! — Она с такой злобой прикусила губы, что они побелели.

— Нет.

— Лжешь! Импровизация или раньше сочинил? Думаешь, кто либо поверит этим сказкам? Я потребую специальной экспертизы.

— Требуи, — вздохнул я.

— Я уже говорила с Кленовым. Мы напишем письмо в газету.

— Не напишете. Я никого не обманываю.

— Никого? Я ведь знаю, почему ты это сделал. Из ревности.

Я даже засмеялся:

— К кому?

— Он еще смеется, подлец!

Я не успел схватить ее за руки, как она ударила меня по лицу с такой силой, что я с трудом удержался на ногах.

— Подлец! — повторила она сквозь душившие ее слезы; у нее начиналась истерика. — Убийца!.. Если бы не Володька Асафьев, Олег бы умер на операционном столе... Умер, умер!

Внезапная темнота оборвала ее крик.

СОН С ЯРОСТЬЮ

Я словно ослеп и оглох, а тело в параличе прижало к паркету. Я не мог даже пошевелиться, ничего не чувствуя, только холодок наощенного дерева у виска. Сколько часов или минут, а быть может, секунд продолжалось это ощущение, не знаю. Я потерял чувство времени.

Вдруг черноту перед глазами размыло, как тушь на ватмане, когда закрашивают тускло серым очерченное пространство. Здесь оно обрисовывалось стенами неширокого коридора, освещенного несильной электролампочкой. Коридор впереди упирался в крутую лесенку, уводившую в квадрат дневного света. Я стоял, прижавшись виском к наощенной панели, и держался за поручень, протянутый по стене вдоль коридора.

Лена по прежнему смотрела на меня, но смотрела совсем по другому — с непонятным сочувствием.

— Укачало? — спросила она. — Тошнит?

Меня действительно чуточку подташнивало, особенно когда взлетевший, подобно качелям, пол вдруг уходил из под ног и что то спазматически скручивало желудок.

— Килевая качка, — пояснила она. — Входим в порт.

— Куда? — не понял я.

— Мы уже в Стамбуле, профессор. Очнитесь.

— Где?

Она засмеялась. Я по прежнему не мог уловить смысл происшедшего. Новая дьявольская метаморфоза. Из одного сна в другой. Феерия в красках!

— Выйдем на палубу. На ветру полегчает. — Она потащила меня за собой. — Кстати, посмотрим, что это такое. Хотя едва ли разглядим. Дождь идет.

Дождь не шел, а висел кругом тусклым сетчатым маревом. Панорама берега сквозь эту сетку казалась бесформенным абстрактным пятном, кое где прочерченным мутными бликами минаретов и куполов, отсвечивавших то синью, то зеленью. А над ними, топя и обгоняя друг друга, кишели тучи.

— Придется плащ надевать, — поморщилась Лена, прикрывая глаза рукой от мелких водяных брызг. — В таком виде на берег не пойдешь. Ты в какой каюте, в седьмой? Подожди меня у трапа или на берегу. Ладно?

Теперь я знал номер «своей» каюты. Что ж, пойдем за плащом. Рейс по чужим морям и странам всегда любопытен. Даже в дождь и даже во сне.

В каюте я застал Мишку Сычука, суетившегося у своей койки. Он поспешно рассовывал по карманам какие то бумажки и свертки и, казалось, был совсем не обрадован моим появлением.

— Идет дождь? — спросил он.

— Идет, — ответил я машинально, недоумевая, почему сны упорно сталкивают меня с одними и теми же персонажами. — Ты чем это карманы набиваешь?

Мишка почему то смутился.

— Так... сувенирчики для обмена... Значит, дождь идет... — повторил он, пряча глаза. — Плохо. Собьемся в кучу... друг за дружку держаться будем. А то еще потеряешься...

И тут я вспомнил, что сотворил Мишка в действительности. В том же Стамбуле. Наяву, не во сне.

— Как наш теплоход называется? — спросил я.

— А ты забыл? — ухмыльнулся Мишка.

— Склероз. Почему то не могу вспомнить.

— «Украина». А что? — Он почему то подозрительно посмотрел на меня.

Все совпадало. Время во сне отставало почти на месяц. Тем лучше: я могу изменить ход событий.

— Да так. — Для убедительности я даже зевнул. — Дождь идет... Давай не пойдем.

— Куда не пойдем?

— На берег. Будут гонять полдня по дождю: мечеть, музей... Тоска. Давай у нас в баре посидим, пивка выпьем.

— Сказал! — усмехнулся Мишка. — Последний иностранный порт, а мы в баре.

— Почему – последний? Будут еще и Варна, и Констанца. Очень красивые города, между прочим.

— Демократические, — пренебрежительно протянул Мишка.

— А тебе обязательно нужен капиталистический?

— За путевку деньги плачены. Что положено, получаем.

— Тридцать сребреников, — сказал я. — Иудины денежки.

В «Метрополе», кстати говоря, тоже во сне, я уже выложил это Мишке. И зря. Выстрелил вхолостую. Мишка путевку не достал и в рейс не поехал. А сейчас я его накрыл во время.

— Я ведь знаю, что ты задумал, — продолжал я. — На первой же остановке автобуса два слова полицейскому – и на такси в американское посольство. Да не мельтешишь, спокойней! Ну, а в посольстве холуйски попросишь политического убежища.

На мгновение Мишка превратился в соляной столб, в библейский соляной столб, увековеченный женой Лота. Но только на мгновение. Тихий ужас от сознания того, что кто то заглянул тебе в душу, в самую потаенную ее муть, мелькнул в глазах его и тут же исчез. Актер он был превосходный.

— Трепло, — проговорил он с показным добродушием и потянулся к вешалке за плащом.

— Я не шучу, Сычук, — сказал я.

— Что это значит?

— Что я знаю о предполагаемой подлости и намерен ей помешать.

— Интересно: как? — сорвалось у Мишки.

— Очень просто. Ты до отплытия не выйдешь из этой каюты.

— Я, между прочим, не поддаюсь гипнозу. Так что отваливай, — нахально объявил он и начал одеваться.

Я пересел на край койки, к самой двери. Потом обернул носовым платком левую руку. Я левша и бью левой. Бью без размаха, с напряжением всех мускулов руки и плеча. Удар приобретает дополнительную тяжесть корпуса. Этому меня научил Сажин, чемпион Союза по боксу в полутяжелом весе в конце сороковых годов. Я был тогда помоложе и с удовольствием выслушивал его советы, когда после звонка из редакции забегал к нему в тренировочный зал. Там где ни-будь в уголке я правил его заметки — он собирался стать журналистом, — а потом просил его показать «кое что». Он показывал. «Боксером ты, конечно, не будешь, — говорил он, — староват да и данных нет... Но ежели что, в драчке какой нибудь за себя постоишь. Только руки береги».

Мишка тотчас же заметил мои манипуляции и заинтересовался:

— А платок зачем?

— Чтоб кожу на костяшках не сбить.

— Ты что... шутишь?

— Я же сказал тебе: не шучу.

— Так стоит мне крикнуть...

— Не крикнешь, — перебил я его, — тебе же хуже. Я расскажу всем, что ты задумал, и привет, как говорится.

— А кто же поверит?

— Поверят. Раз сигнал поступил, будут думать, как и что... А на берег не пустят.

— Так я про тебя то же самое могу сказать.

— Тогда обоих не пустят. А дома разберемся.

Мишка, как был одетый — в плаще и кепке, — присел против меня на своей койке.

— Ты сумасшедший. Ну откуда тебе взбрело в голову, что я останусь?

— Во сне видел.

— Я серьезно спрашиваю.

— Какая разница? Важно, что я не ошибся. По глазам твоим вижу, что не ошибся.

— Я же советский человек, Сережка.

— Ты не советский человек. Ты подлец. Я и на фронте знал, что ты трус и дрянь, только разоблачить вовремя не сумел.

На щеках Мишки выступили красные пятна. Пальцы нервно перебирали пуговицы на плаще, то застегивая их, то расстегивая. Должно быть, он понял наконец, что хорошо рассчитанный план его может сорваться.

— Я не закричу, конечно. На скандал не пойду. — В голосе у него появились слезливые нотки. — Но даю тебе слово, что все это вздор. Чистый вздор.

— Что у тебя в карманах?

— Я уже сказал тебе: ерунда всякая. Значки, карточки.

— Покажи.

— А почему я должен тебе показывать?

— Не показывай. Ложись на койку и лежи.

Он встал и шагнул к двери. Я прислонился к ней спиной.

— Пусти! — сказал он сквозь зубы и схватил меня за плечи.

Он был сильнее меня и только по трусости не рассчитывал на это. Но сейчас он, явно не задумываясь, шел напролом.

— Пусти! — повторил он и рванул меня на себя.

Я толкнул его коленом, он отлетел и, согнувшись, кинулся на меня, намереваясь ударить головой. Но не успел. Я ударил левой в лицо, в верхнюю челюсть. Он пошатнулся и грохнулся на пол между койкой и умывальником. Из расщепленной губы побежала алая струйка. Он тронул ее пальцем, увидал кровь и взвизгнул:

— Помогит...

И тут же осекся.

— Кричи, — сказал я, — кричи громче. Не страшно.

Глаза его сузились, источая одну только злобу.

— Все одно сбегу, — прошипел он, — в другой раз сбегу.

— А ты имей мужество объявить об этом дома. Официально, во всеуслышание. Скажи откровенно, что тебе не нравится наш строй, наше общество. Выклянчи визу в какомнибудь посольстве. Думаешь, будем задерживать? Не будем. С удовольствием вышвырнем. Нам людская дрянь не нужна.

— Так отчего же сейчас не пускаешь?

— Потому что втихую ползешь. Обманом. Потому что людей подводишь, которые тебе доверяли.

Мишка вскочил и, оскалившись, снова бросился на меня. Он уже не стремился во что бы то ни стало выйти из каюты, им просто владела слепая ярость, лишавшая человека разума.

Я снова сбил его с ног: пригодились все таки уроки Сажина. На этот раз он упал на койку, только сильно ударился головой о стенку каюты. Мне даже показалось, что он потерял сознание. Но он пошевелился и застонал. Я сложил полотенце, намочил его в умывальнике и положил ему на лицо.

В дверь постучали. Я искоса взглянул на Мишку. Он даже не повернулся. Я нажал ручку дверного замка. Незнакомый мне человек в совсем мокром плаще – дождь, очевидно, еще усилился – спросил:

— Вы идете, Сергей Николаевич?

— Нет, — ответил я, — не пойду. Моему товарищу плохо: укачало, должно быть. Я с ним побуду.

Мишка по прежнему не двигался – даже головы не поднял. Я выждал, пока не смолкли шаги в коридоре, и предупредил его:

— Я в бар пошел, а дверь, уж извини, запру.

Дверь я запер, но до бара не дошел. Опять внезапная и ставшая уже привычной темнота вернула меня в знакомое кресло со шлемом и датчиками.

Первое, что я услышал, был конец разговора, явно не рассчитанного на мое пробуждение:

— Путешественник во времени – это старо. Я бы сказал – прогулка в пятом измерении.

— А может, в седьмом?

— Сформулируем. Что с ним?

— Пока без сознания.

— Сознание уже вернулось. Лягушка путешественница.

— А энцефалограмма?

— Записана полностью.

— Я же говорил: форменный самородок.

— Включать изолятор?

— Хочешь сказать: выключать? Давай ноль три, потом ноль десять. Пусть глаза привыкают.

Темноту чуть чуть размыло. Как будто где то открыли щелку и впустили крохотный лучик света. Еще невидимый, он уже сделал видимыми окружавшие меня предметы. С каждой секундой они становились все отчетливее, и вскоре передо мной возник кинематографический лик Заргарьяна.

— Аве гомо амици те салютант¹. Переводить надо?

¹ Здравствуйте, человек, друзья приветствуют тебя (лат.)

— Не надо, — сказал я.

Стало совсем светло. Шлем космонавта легко соскочил с головы и взлетел вверх. Спинка кресла сама подтолкнула меня, как бы предлагая встать. Я встал. Никодимов уже сидел на своем прежнем месте, приглашая меня к столу.

— Переживаний много?

— Много. Рассказывать?

— Ни в коем случае. Вы устали. Завтра расскажете. Все, что вам нужно, — это отдохнуть и как следует выспаться. Без сновидений.

— А то, что я видел, — это сны? — спросил я.

— Обмен информацией отложим до завтра, — улыбнулся он. — А сегодня ничего не рассказывайте даже дома. Главное — спать, спать, спать!

— А я засну? — усомнился я.

— Еще как. После ужина проглотите вот эту таблетку. А завтра опять встретимся здесь. Скажем, в два. Рубен Захарович за вами заедет.

— Я его и сейчас домчу. С ветерком, — сказал Заргарьян.

— И ни о чем не думать. Не вспоминать. Не переживать, — прибавил Никодимов. — А урби эт орби¹ ни слова. Переводить надо?

— Не надо, — сказал я.

ПРОДВИЖЕНИЕ К РАЗГАДКЕ

Я сдержал слово и только в общих чертах рассказал Ольге о происшедшем. Мне и самому не хотелось даже отраженно вновь переживать все увиденное в искусственных снах. Я и Ольгу не спрашивал ни о чем, что имело бы к ним хоть какое нибудь отношение. Только поздно ночью уже в постели я не выдержал и спросил:

— Мы получали когда нибудь приглашения от венгерского посольства?

— Нет, — удивилась Ольга. — А что?

Я подумал и спросил опять:

— А кого из твоих знакомых зовут Федор Иванович и кто такая Раиса?

¹ Городу и миру (лат.).

— Не знаю, — еще более удивилась она, — нет у меня таких знакомых. Хотя, погоди... Вспомнила. Ты знаешь, кто это Федор Иванович? Директор поликлиники. Не нашей, а той, министерской, куда меня на работу приглашали. А Раиса — это его жена. Она меня и сватала. Ты где нибудь познакомился с ними?

— Завтра расскажу, а сейчас у меня мозги набекрень. Извини, — пробормотал я, засыпая.

Проснулся я поздно, когда Ольга уже ушла, оставив мне завтрак на столе и кофе в термосе. Вставать не хотелось. Я лежал и не спеша перебирал в памяти события вчерашнего дня. Сны, показанные мне в лаборатории Фауста, вспоминались особенно отчетливо — не сны, а живая конкретная явь, памятная до мелочей, до пустяков, какие и в жизни то обычно не запоминаешь. А тут вдруг запомнились даже бумага на блокноте в больничном кабинете, цвет пуговиц на Мишкином плаще, стук упавшего на пол зонда и вкус абрикосовой палинки. Я вспомнил всю гофманскую путаницу, сопоставил разговоры, поступки и взаимоотношения и пришел к странным выводам. Очень странным, хотя странность их отнюдь не умаляла убедительности.

Меня поднял с постели телефонный звонок. Звонил Кленов, уже узнавший от Зойки о моей встрече с Заргарьяном. Пришлось применить болевой прием.

— Тебе знакомо понятие «табу»?

— Предположим.

— Так вот: Заргарьян — это табу, Никодимов тоже табу, и телепатия табу. Все.

— Рву одежды свои.

— Рви. Кстати, у тебя дача в Жаворонках?

— Садовый участок, ты хочешь сказать. Только не в Жаворонках. Нам предлагали два варианта: Жаворонки и Купавну. Я выбрал Купавну.

— А мог выбрать Жаворонки?

— Мог, конечно. А почему тебя это интересует?

— Меня многое интересует. Например, кто сейчас пресс атташе в венгерском посольстве? Кеменеш?

— А у тебя не энцефалит, случайно?

— Я серьезно спрашиваю.

— Кеменеш пресс атташе в Белграде. В Москву его не послали.

— А могли послать?

— Понимаю, ты пишешь диссертацию о сослагательном наклонении.

В общем то, Кленов почти угадал. В своих попытках разгадать бродившую вокруг меня тайну я уже много раз в это утро спотыкался на сослагательном наклонении. Что было бы, если бы... Если бы Олег не был убит под Дунафельдваром? Если бы не он, а я женился на Гале? Если бы после войны я пошел в медицинский, а не на факультет журналистики? Если бы Ольга согласилась на предложение министерской поликлиники? Если бы Тибор Кемеш поехал работать не в Белград, а в Москву? Если, если, если... Сослагательное наклонение расточало всю гофманскую чертовщину. Я мог быть на приеме в венгерском посольстве. Я мог поехать на «Украине» вокруг Европы. Я мог быть доктором медицинских наук и оперировать живого Олега. Все это могло быть в действительности, если...

И еще одно «если». Если у Заргарьяна я видел не сны, а гипотетическое течение жизни, в чем то измененной в зависимости от тех или иных обстоятельств? Тогда законное право голоса получала фантастическая история Джекиля и Гайда. Если журналист Громов мог на какое то время сделаться доктором медицины, хирургом Громовым, то разве не мог доктор Громов тоже на какое то время стать Громовым журналистом? Он и стал им тогда на Тверском бульваре. В одно мгновение, налитое тушью и лиловым туманом. В одно мгновение, как Гайд, впрыгнувший в тело Джекиля из губчатого кресла в лаборатории Фауста. Ведь у доктора Громова были свои Никодимов и Заргарьян, управлявшие теми же таинственными силами.

Значит, и Заргарьян с Никодимовым и я одинаково участвовали в одновременном течении каких то параллельных, нигде не пересекавшихся жизней. Сколько их — две, пять, шесть, сто, тысяча? И где протекают они, в каком пространстве и времени? Вспомнилась Галина беседа с Гайдом о множественности миров. А если это уже не фантастическая гипотеза, а научное открытие, еще одна разгаданная тайна материи?

Но разум отказывался принять это объяснение, тем более мой разум, не тренированный в точных науках. Я мог только посетовать на ограниченность нашего гуманитарно-

го образования: что даже просто поразмышлять, подумать об открывшейся мне проблеме у меня, как говорится, не хватило умишка.

В таком состоянии меня и застала Галя, забежавшая к нам по дороге на работу. Еще вчера вечером она узнала от Ольги, что я отправился с визитом к Заргарьяну, и ее буквально распирало желание узнать, нашел ли я ключ к разгадке.

— Нашел, — сказал я, — только повернуть его в замке не могу. Силенок не хватает.

Я рассказал ей о кресле в лаборатории Фауста и о трех увиденных «снах». Она долго молчала, прежде чем спросить:

— Он постарел?

— Кто?

— Олег.

— А что ты хочешь? Двадцать лет прошло.

Она опять задумалась. Я боялся, что личное заслонит в ней любопытство ученого. Но я ошибся.

— Интересно другое, — сказала она, помолчав. — То, что ты увидел его постаревшим. С морщинами. Со шрамом, которого не было. Невозможно!

— Почему?

— Потому что ты не читал Павлова. Ты не мог видеть во сне того, чего не видел в действительности. Слепые от рождения не видят снов. А каким ты знаешь Олега? Мальчишкой, юнцом. Откуда же морщины сорокалетнего человека, откуда шрам на виске?

— А если это не сон?

— У тебя уже есть объяснение? — быстро спросила Галя.

Мне даже показалось, что она догадывается, какое именно объяснение кажется мне самым вероятным и самым пугающим.

— Пока еще только попытка, — нерешительно отозвался я. — Все пытаюсь сопоставить мою историю и эти «сны»... Если Гайд мог сыграть такую штуку с Джекилем, то почему бы им не поменяться ролями?

— Мистика.

— А ты помнишь свой разговор с Гайдом о множественности миров? Параллельных миров, параллельных жизней?

— Чушь, — отмахнулась Галя.

— Ты просто не хочешь серьезно подумать, — упрекнул я ее. — Проще всего сказать «чушь». О гипотезе Коперника тоже так говорили.

Гипотезой Коперника я ее не сразил, но над моей гипотезой заставил задуматься.

— Параллельные миры? Почему параллельные?

— Потому что нигде не пересекаются.

Галя откровенно и пренебрежительно рассмеялась.

— Не сочиняй научной фантастики — не получится. Непересекающиеся миры?

— Она фыркнула. — А Никодимов и Заргарьян нашли пересечение? Окно в антимир?

— Кто знает? — сказал я.

А узнал я об этом через два часа в лаборатории Фауста.

СЕЗАМ, ОТВОРИСЬ!

Честно говоря, я шел сюда, как на экзамен, с той же внутренней дрожью и страхом перед неведомым. Еще и еще раз я перебрал в памяти сны, виденные во время опыта, — по привычке я их так и называл, хотя уже окончательно пришел к мысли, что сны эти были совсем не снами, — сопоставил все напрашивавшиеся на такое сопоставление детали, систематизировал выводы.

— Отрепетировали? — весело спросил встретивший меня Заргарьян.

— Что отрепетировал? — смутился я.

— Рассказ, конечно.

Он видел меня насквозь. Но злость во мне тут же подавила смущение.

— Мне тон ваш не нравится.

Он только хохотнул в ответ.

— Выкладывайте все, что вам не нравится. Магнитофон еще не включен.

— Какой магнитофон?

— «Яуза десять». Великолепная чистота звука.

К вмешательству магнитофона я подготовлен не был. Одно дело просто рассказывать, другое — перед магнитофоном. Я замялся.

— Садитесь и начинайте, — подбодрил меня Никодимов. — Вы же оставляете след в науке. Вообразите, что перед вами хорошенькая стенографистка.

— Только без охотничьих рассказов, — ехидно прибавил Заргарьян. — Пленка сверхчувствительная с настройкой на Мюнхгаузена: тотчас же выключается.

Я по мальчишески показал ему язык, и моя скованность сразу пропала. Рассказ я начал без предисловий, в свободной манере, и чем дальше, тем он становился картиннее. Я не просто рассказывал — я пояснял и сравнивал, заглядывал в прошлое, сопоставлял увиденное с действительностью и свои переживания с последующими соображениями. Вся напускная ироничность Заргарьяна тотчас же испарилась; он слушал с жадностью, останавливая меня только для того, чтобы переменить катушку. Я воскрешал перед ними все запечатлевшееся в лабораторном кресле: и ярость Елены в больнице, и перекошенное злобой лицо Сычука, и неживую улыбку Олега на операционном столе, — все, что запомнилось и поразило и поражало даже сейчас, когда я передавал магнитофонной пленке еще живое воспоминание.

Катушка еще крутилась, когда я закончил: Заргарьян не сразу выключил запись, зафиксировавшую, должно быть, еще целую минуту молчания.

— Значит, пассажа не видели, — огорченно заметил он. — И дороги к озеру не было. Жаль.

— Погоди, Рубен, — остановил его Никодимов, — не об этом же речь. Ведь почти идентичные фазы. То же время, те же люди.

— Не совсем.

— Ничтожные ведь отклонения.

— Но они есть.

— Математически их нет.

— А разница в знаках?

— Разве она меняет человека? Время — может быть. Если минус фаза, возможно, встречное время.

— Не убежден. Может быть, только иная система отсчета.

— Все равно скажут: фантастика! А разум?

— Если вовсе не грешить против разума, то вообще ни к чему не придешь. Кто это сказал? Эйнштейн это сказал.

Разговор не становился понятнее. Я кашлянул.

— Извините, — смутился Никодимов. — Увлечлись. Покоя не дают ваши сны.

— Сны ли? — усомнился я.

— Сомневаетесь? Значит, думали. А может, начнем объяснение с вашего объяснения?

Я вспомнил все насмешки Гали и, не боясь снова услышать их, упрямо повторил миф о Джекиле и Гайде, встречающихся на перекрестках пространства и времени. Пусть антимир, пусть множественность, пусть мистика, собачий бред, но другого объяснения у меня не было.

А Никодимов даже не улыбнулся.

— Физику изучали? — вдруг спросил он.

— По Перышкину, — признался я и подумал: «Началось!»

Но Никодимов только погладил бородку и сказал:

— Богатая подготовка. Ну и как же с помощью такого светила, как Перышкин, вы представляете себе эту множественность? Скажем, в декартовых координатах?

Поискав в памяти, я нашел уэллсовскую утопию, куда въезжает мистер Барнстепл, не сворачивая с обычной шоссе-секи.

— Отлично, — согласился Никодимов, — будем танцевать от этой печки. С чем сравнивает наше трехмерное пространство Уэллс? С книгой, в которой каждая страница — двухмерный мир. Значит, можно предположить, что в многомерном пространстве могут так же соседствовать трехмерные миры, движущиеся во времени приблизительно параллельно. Это по Уэллсу. Когда он писал свой роман после первой мировой войны, гениальный Дирак был еще юношей, а его теория получила известность только в тридцатых годах. Вы, конечно, представляете себе, что такое «вакуум Дирака»?

— Приблизительно, — сказал я осторожно. — В общем, это не пустота, а что то вроде нейтринно антинейтринной кашицы. Как планктон в океане.

— Образно, но не лишено смысла, — опять согласился Никодимов. — Вот этот планктон из элементарных частиц, этот нейтринно антинейтринный газ и образует как бы гра-

ницу между миром со знаком плюс и миром со знаком минус. Есть ученые, которые ищут антимир в чужих галактиках, я же предпочитаю искать их рядом. И не только симметрию мир – антимир, а безграничность этой симметрии. Как в шахматах мы имеем бесконечное разнообразие комбинаций, так и здесь бесконечное сочетание миров – антимиров, соседствующих друг с другом. Вы спросите, как я представляю себе это соседство? Как стабильное, геометрически изолированное существование? Нет, совсем иначе. Упрощенно – это мысль о неисчерпаемости материи, о бесконечном движении ее, образующем эти миры по какой то новой, еще не познанной координате, а точнее, по некоей фазовой траектории...

— Ну, а как же обыкновенное движение? — перебил я недоуменно. — Я тоже частица материи, а передвигаюсь в пространстве независимо от вашего квазидвижения.

— Почему «квази»? Просто одно независимо от другого. Вы передвигаетесь в пространстве независимо и от вашего движения во времени. Сидите ли вы дома или куданибудь едете – все равно стареете одинаково. Так и здесь: в одном мире вы можете, скажем, путешествовать по морю, в другом – в то же время играть в шахматы или обедать у себя дома. Более того, в бесконечном повторении миров вы можете ездить, болеть, работать, а в другом бесконечном множестве подобных миров вас вообще нет: несчастный случай, самоубийство или попросту не родились – родители не встретились. Надеюсь, вам понятно?

— Вполне.

— Притворяется, — сказал Заргарьян. — Ему сейчас живой пример нужен – сразу поймет. Представьте себе обыкновенную киноленту. В одном кадре вы летите на самолете, в другом стреляете, в третьем убиты. В одном дерево растет, в другом его срубили. В одном памятник Пушкину стоит на Тверском бульваре, в другом – в центре площади. Словом, раскадрованная жизнь, движущаяся, скажем, вертикально, снизу вверх или сверху вниз. А теперь представьте себе ту же раскадрованную жизнь, но еще движущуюся от каждого кадра горизонтально, слева направо или справа налево. Вот вам и приблизительная модель материи в многомерном пространстве. А в чем, по вашему, самая

существенная разница между этой моделью и моделируемым объектом?

Я не ответил: какой смысл гадать?

— Идентичных кадров нет, а идентичные миры существуют.

— Похожие? — переспросил я.

— Не только, — вмешался Никодимов. — Мы еще не знаем закона, по которому движется материя в этом измерении. Возьмем простейший — синусоидальный. Обычную синусоиду: малейшее изменение аргумента дает соответствующее изменение функции, а значит, и другой мир. Но ровно через период мы получим то же значение синуса и, следовательно, тот же мир. И так далее до бесконечности.

— Значит, я мог попасть в такой же мир, как и наш? Точь в точь такой же?

— Даже разницы бы не заметили, — сказал Заргарьян.

— А как вы объясняете мой случай на бульваре?

— Так же, как и вы. Джекиль и Гайд.

— Громов из другого мира в моем обличье?

— Вот именно. Какие то Никодимов и Заргарьян переместили сознание вашего двойника. Это произошло не мгновенно, не сразу. Ваше сознание сопротивлялось, спорило — отсюда этот дуализм в первые минуты, — потом подчинилось агрессору.

Я высказал предположение, что мой злополучный эпизод в больнице был обменным визитом, но Никодимов усомнился:

— Возможно, но маловероятно. С большей вероятностью можно предположить, что это был Громов, в чем то подобный вашему агрессору. Та же профессия, тот же круг знакомств, та же семейная ситуация. Но я уже говорил вам о возможности почти полной и даже совсем полной идентичности...

— Образно говоря, — перебил Заргарьян, — мы побывали в мирах, границы которых подогнаны к границам нашего мира, внутренне касаются. Назовем их ближайшими, условно, конечно. А еще более интересны миры, пересекающие наш или, скажем, вообще не имеющие с нашим точки касания. Там время или обогнало наше, или отстало. И, кто знает, насколько? — Он помолчал и прибавил почти мечтательно: — За какой то березкой, давно знакомой... в

тишине, открывается вдруг незнаемое — неизвестное, странное, незнакомое...

— Вы не договариваете, — усмехнулся я, вспомнив те же стихи. — Там дальше иначе: «...грустное дело — езда в незнаемое. Ведь не каждый приедет туда, в незнаемое...»

На столе зазвонил телефон.

— Не каждый... — задумчиво повторил Никодимов. — Наш шеф не приедет.

Телефон продолжал звонить.

— Легко на помине. Не подходи.

— Все равно найдет.

Езда в незнаемое была отложена до вечерней встречи в ресторане «София», где свобода от начальственного вмешательства была полностью обеспечена.

NOSCE TE IPSUM¹

Ольгу я не видел до ужина — она задерживалась в поликлинике. Поговорить о случившемся было не с кем: Галя не звонила, а Кленова я тщательно избегал из за порой нестерпимой его дидактичности и даже сбежал из за этого с редакционной «летучки».

Почти час я бродил по улицам, дабы не прийти слишком рано и не торчать с глупым видом у ресторанный входа. Пытаясь собраться с мыслями, посидел у памятника Пушкину, но все услышанное утром было так ново и так удивительно, что даже обдумать это я так и не смог. В конце концов, весь ход мыслей свелся к тому, как оценить мою встречу с учеными. Как небывалую удачу, счастье газетчика, или как угрозу, какую всегда таит в себе непознаваемое. Я больше склонялся к «счастью газетчика». Если бы лабораторный кролик мог рассуждать, он, вероятно, гордился бы своим общением с учеными. Гордился и я. Вторичным признаком «счастья газетчика» был тип ученого, к какому принадлежали мои друзья. Я где то читал, что ученые делятся на классиков и романтиков. Классики — это те, кто развивает новое на основе старого, прочно утвердившегося в науке. А романтики — это мечтатели. Они интересуются

¹ Познай самого себя (лат.).

смежными, даже весьма отдаленными областями знаний. Они выдвигают новое не только на основе старого, но чаще всего с помощью совершенно неожиданных ассоциаций. Свое восхищение этим типом ученого я и выразил как то в одном журнальном очерке. Теперь меня столкнуло с ним «счастье газетчика». Только романтики могли так смело и безрассудно грешить против разума, и, каюсь, мне очень хотелось продолжить свое участие в этом грехе.

С такими мыслями я и пришел на свидание не раньше, а даже позже моих новых друзей. Они уже дожидались меня у входа – улыбающийся Заргарьян и скромно тушующийся за ним Никодимов в старомодном, чопорном пиджаке. Ему очень подошел бы стоячий крахмальный воротничок, какие носили в начале века: таким ветхозаветно строгим выглядел сейчас ученый. Зато Заргарьян был поистине неотразим: в темном дакроновом костюме с галстуком, спущенным ровно настолько, чтобы видеть позолоченную булавку, скреплявшую воротничок рубашки, закругленный на уголках, он настолько поразил воображение тучного лысоватого метра, что тот даже не заметил нас с Никодимовым. Мы шли сзади, с улыбкой наблюдая, как суетился он перед долговязым Рубеном, придирчиво выбирая заказанный нами укромный столик.

Когда все было подано, Заргарьян сказал, разливая коньяк:

— Первый тост мой – за случайные встречи.

— Почему за случайные?

— Вы даже вообразить не можете, как велика роль случая в моей жизни. Случайно познакомился с Зоей, случайно через нее – с вами. И даже с Павлом Никитичем тоже случайно. Прочел лет пять назад в «Вестнике Академии наук» его статью о концентрации субквантового биополя – и сразу к нему. Тут и оказалось, что разными путями мы подошли к одной и той же проблеме.

Он замолчал. Я вспомнил слова Кленова о том, что они оба работали в совершенно различных областях науки, но спросить не успел. Заргарьян тотчас же поймал мою мысль.

— Странный союз физика и нейрофизиолога, — засмеялся он.

— Вы что, мысли чужие читаете?

— А то нет? Я ведь телепат, мне это по штату положено. Я многим занимался в своей области, но больше всего, пожалуй, меня интересовали сны. Почему мы часто видим во сне то, чего никогда в жизни не видели? Как это связать с павловским учением о том, что сны суть отражение действительности? Какие раздражения воздействуют в этих случаях на клетки головного мозга? Может быть, привычные — свет, звуки, прикосновения, запахи? А если нет? Тогда должен быть какой то новый, неизвестный нам вид раздражения...

Я вспомнил, почему мои сны привлекли его внимание: они не были отражением действительности. Но, оказывается, и такие сны видели многие. Только сны эти не были стойкими, как пояснил Заргарьян; они забывались, туманились в сознании, а главное — не повторялись.

— Я рассуждал так, — продолжал он, — если, по Павлову, сны отражают виденное наяву, но испытываемый этого не видел, значит, это видел кто то другой. Но кто? И каким образом виденное им запечатлелось в сознании другого?

Я перебил его:

— Тогда мой пассаж, и улица, и дорога к озеру — это чьи то чужие сны?

— Безусловно.

— Чьи?

— Тогда я еще не знал. Возникло предположение о гипнопередаче. Но внушение не бывает случайным, внушением ниоткуда. Оно всегда направлено от гипнотизера к гипнотизируемому. Ни в одном из рассмотренных мною случаев такого внушения не было. Я предположил телепатическую передачу. В парапсихологии мы называем мозг, передающий сигнал, индуктором, а мозг принимающий — перцепиентом. И опять ни в одном исследованном случае не удалось обнаружить индуктор. Характерный пример — ваши наиболее стойкие сновидения. Кто вам их передал? Откуда? Вы терялись в догадках. Терялся и я, склоняясь к предположению о каких то иных существованиях человека, в ином образе, может быть, в ином мире. Но это уже было мистикой, я стоял у закрытой двери. Открыл мне ее Павел Никитич, вернее — его статьи. Тогда я сказал: «Сезам, откройся!» Так было, Павел Никитич?

— Почти так, — добродушно подтвердил Никодимов, — только зря колоритные детали опустил. Сезам не так уж легко открылся: я бирюк, с людьми уживаюсь плохо. Ассистент мой — он сбежал потом, когда нас прижимать качали, — принимал тебя за сумасшедшего; помню, даже районному психиатру звонил. Но тебя и это не остановило. Вот так и началось наше содружество, со случайной встречи. Поэтому тост поддерживаю. Я тоже «за».

— А потом? — спросил я. — От идеи до ее экспериментальной проверки не так уж близко.

— Мы и ползли. Идея математическая привела к физике поля. Мы начали с биотоков. Ведь биотоки мозга — это электромагнитные поля, возникающие в его нервных клетках. В своем излучении они образуют как бы единое энергополе — так называемое сознание и подсознание человека. Возьмем вашу аналогию. Поля Джекиля и Гайды только подобны, они несовместимы, или, как мы говорим, антипатичны. Пока вы бодрствуете, пока ваш мозг занят, антипатия полей постоянна и неизменна. Но вот вы заснули. И картина меняется: антипатия уже ослаблена, поля «двойников» как бы находят друг друга и ваши сны невольно повторяют виденное другим. А для того чтобы Джекиль стал Гайдом, необходимо полное совмещение полей, возможное лишь при исключительной активности поля индуктора. Вот эту исключительность мы и обнаружили у вас.

Я с увлечением слушал Никодимова, не все доходило до сознания, кое что ускользало; я словно глохнул, теряя путеводную нить в этом дьявольском лабиринте полей, двойников, частот и ритмов, но усилием воли снова ловил ее, как прерванную многоточием речь.

— ...опытным путем мы пришли к выводу, что при взаимопередаче полей активируются волны с частотой, значительно большей обычного альфа ритма. Этот новый вид частотности мы называли каппа ритмом. И чем выше частота каппа волн, тем ярче сновидения, принятые спящим рецептором. А далее уже нетрудно было вывести и закономерность. Полное совмещение полей связано с резким возрастанием частотности. Так возникла идея концентратора, или преобразователя биотоков. Создавая направленный поток излучения, мы как бы перемещаем ваше сознание, находя ему идентичное за пределами нашего трехмерного мира.

Конечно, мы еще в самом начале пути, движение поля по фазовой траектории пока хаотично. Мы еще не можем управлять им, не можем сказать точно, где именно вы очнетесь — в настоящем ли, в прошлом или в будущем относительно к нашему времени. Нужны еще десятки опытов...

— Я готов, — перебил я.

Никодимов не ответил.

Из магнитофона, включенного на эстраде каким то юным любителем танцев, доносился к нам хрипловатый мальчишеский голос. Он плыл над гудевшим залом, над стриженными и лысыми головами, над потемневшим от вина хрусталем, плыл незримо и властно, поражая силой и чистотой чувства, неожиданного в этом дымном, прокуренном ресторане.

— С подтекстом песенка, — сказал Заргарьян.

Я прислушался. «Ты моя судьба, — пел мальчишка, — ты мое счастье...»

— Вы наша судьба, — серьезно, даже торжественно повторил Заргарьян, — и, может быть, счастье. Вы.

Я смущенно отвел глаза. Что ни говори, а приятно быть чьим то счастьем и чьей то судьбой. Никодимов тотчас же уловил мое движение и укрывшуюся за ним тщеславную мысль.

— А может быть, и мы ваша судьба, — сказал он. — Вы еще многое узнаете, и прежде всего о себе. Ведь вы только частица той живой материи, которая и есть «вы» в бесконечно сложном пространстве — времени. Словом, как говорили древние римляне, *nosce te ipsum* — познай самого себя.

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

Я готов был познать себя во всей совокупности измерений, фаз и координат, но Ольге не сказал об этом, сообщив лишь в кратких чертах о своей беседе с учеными и обещав подробнее рассказать все на следующий день. То был день ее рождения, который мы обычно проводили вдвоем, но на этот раз я пригласил гостей — Галю и Кленова. Очень хотелось позвать и Заргарьяна с Никодимовым, как виновников неожиданного, если не сказать — чудесного в моей жизни, и я даже намекнул им об этом по выходе из ресторана, но Па-

вел Никитич или не выслушал меня внимательно, или не понял по рассеянности, а Заргарьян шепнул конфиденциально:

— Оставьте. Все равно не придет: бирюк, сам признается. А я подойду, когда вырвусь; может, попозже. Ведь мы еще не закончили нашего разговора, — подчеркнул он не без лукавства, — о самопознании, а?

Он действительно приехал позже всех, когда разговор за столом уже превратился в спор, яростный до хрипоты и упрямый до невежливости, когда забываешь буквально обо всем, кроме своих собственных выкриков.

Мой рассказ о пережитом во время опыта и о последующей беседе с учеными произвел впечатление маниакального бреда. Кленов промышчал неопределенно:

— Н да...

И замолчал. А Галя, покрасневшая, с сердитыми искорками в глазах, возбужденно воскликнула:

— Не верю!

— Чему?

— Ничему! Лажа какая то, как говорят ребята у меня в лаборатории. Авантюра. Тебя просто мистифицируют.

— А зачем его мистифицировать? — отозвался Кленов. — С какой целью? И потом, Никодимов и Заргарьян не рвачи и не прожекторы. Добро бы рекламы хотели, а то ведь молчать требуют. Не те это имена, чтобы допустить даже тень мысли о квазинаучной аванюре.

— Все новое в науке, все открытия подготовлены опытом прошлого, — горячилась Галя. — А в чем ты видишь здесь этот опыт?

— Часто новое опровергает прошлое.

— Разные бывают опровержения.

— Точно. Эйнштейну тоже вначале не верили: еще бы — Ньютона опроверг!

Ольга упорно молчала, не вмешиваясь в спор, пока на это не обратила внимания Галя:

— А ты что молчишь?

— Боюсь.

— Кого?

— Вы спорите о каких то абстрактных понятиях, а Сергей непосредственно участвовал в опыте. И, как я понимаю, на этом не остановится. А если правда все, что он рассказы-

вает, то едва ли это выдержит мозг обыкновенного человека.

— А ты так уверена, что я обыкновенный человек? — пошутил я.

Но она не приняла шутки, даже не ответила. Разговором опять завладели Кленов и Галя. Я должен был ответить на добрый десяток вопросов, снова повторив рассказ о виденном и пережитом в лаборатории Фауста.

— Если Никодимов докажет свою гипотезу, — сдалась наконец Галя, — то это будет переворот в физике. Величайший переворот в нашем познании мира. Если докажет, конечно, — прибавила она упрямо. — Опыт Сергея еще не доказательство.

— А меня другое интересует, — задумчиво сказал Кленов. — Если принять априори верность гипотезы, то сейчас же возникает другой, не менее важный вопрос: как развивалась жизнь каждой пространственной фазы? Почему они подобны? Я говорю не о физическом, а о социальном их облике. Почему в каждом перевоплощении Сергея Москва — это Москва нынешняя, послевоенная, столица СССР, а не царской России? Ведь если гипотеза Никодимова будет доказана, вы понимаете, о чем прежде всего спросят на Западе? Спросят политики, историки, попы, журналисты. Обязательно ли подобно во всех мирах их общественное лицо? Обязательно ли одинаково их историческое развитие?

— Никодимов говорил и о мирах с другим течением времени, может быть, даже со встречным временем. Теоретически можно попасть и к неандертальцам, и на первый земной звездолет.

— Я не об этом, — отмахнулся нетерпеливо Кленов. — Как ни гениально было бы открытие Заргарьяна и Никодимова, оно не снимает всей важности вопроса о социальном облике каждого мира. Для марксистской науки все ясно: физическое подобие предполагает и социальное подобие. Везде развитие производительных сил определяет и характер производственных отношений. Но ты представляешь себе, что запоют певцы личностей и случайностей? Варвары могли не дойти до Рима, а татары до Калки. Вашингтон мог проиграть войну за независимость США, а Наполеон выиграть битву при Ватерлоо. Лютер мог не стать главой Реформации, а Эйнштейн не открыть теории относительно-

сти. У Брэдбери эта зависимость исторического развития от нелепой случайности доведена до абсурда. Путешественник во времени случайно давит какую то бабочку в Юрском периоде, и вот уже меняется картина президентских выборов в США: вместо прогрессиста и радикала выбирают президентом фашиста и мракобеса. Мы то знаем, что Голдуотера все равно не избрали бы, даже если в Юрском периоде передавили сразу всех динозавров. А победы Наполеон при Ватерлоо, его разгромили бы где нибудь под Льежем. И вместо Лютера кто нибудь возглавил бы Реформацию, и, не будь Эйнштейна, кто то все равно открыл бы теорию относительности. Даже не поднявшийся до высот исторического материализма Белинский более ста лет назад писал, что и в природе, и в истории владычествует не слепой случай, а строгая, непреложная внутренняя необходимость.

Кленов говорил с той же профессиональной назидательностью лектора, которая меня так раздражала на редакционных «летучках», и чисто из духа противоречия я возразил:

— Ну, а представь себе, что в каком то соседнем мире не было Гитлера? Не родился. Была бы тогда война или нет?

— Сам не можешь ответить? А Геринг, Гесс, Геббельс, Рем, Штрассер, наконец? Уж кому нибудь Крупны бы передали дирижерскую палочку. И я вижу твою великую миссию. Сережка, — ты не смейся; именно великую, — не только в том, чтобы доказать гипотезу Никодимова, но и в том, чтобы закрепить позиции марксистского понимания истории. Что везде и всегда при одинаковых условиях жизни на нашей планете, во всех ее изменениях, фазах или как вы там их называете, классовая борьба всегда определяла и определяет развитие общества, пока оно не стало бесклассовым.

В этот момент и появился Заргарьян с хризантемами в целлофане. И десяти минут не прошло, как он покори́л и Ольгу и Галю, а профессорская назидательность Кленова сменилась почтительным вниманием первокурсника.

Он сразу перехватил нить разговора, рассказал о предполагаемых нобелевских лауреатах, о своей недавней поездке в Лондон, перебросился с Галей замечаниями о будущем лазерной техники, а с Ольгой о роли гипноза в педиат-

рии и похвалил статью Кленова в журнале «Наука и жизнь». Но он определенно и, как показалось мне, умышленно отводил разговор от моего участия в их научном эксперименте. А когда часы пробили одиннадцать, он поймал мой недоуменный взгляд и сказал с присущей ему усмешечкой:

— Я ведь знаю, о чем вы думаете. Почему Заргарьян молчит об эксперименте? Угадал? Да просто потому, милый, что не хотелось сразу уходить. После того что я сейчас вам скажу, уже никакой разговор невозможен. Заинтриговал? — засмеялся он. — А ведь все очень ясно: завтра мы предполагаем поставить новый опыт и просим вас об участии.

— Я готов, — повторил я то, что уже сказал им вчера в ресторане.

— Не торопитесь, — остановил меня Заргарьян, и в голосе его уже появилась знакомая мне серьезность, даже взволнованность. — Новый опыт более длителен, чем предыдущий. Может быть, это несколько часов; может быть, сутки... Во вторых, опыт рассчитан на более удаленные фазы. Я говорю «удаленные» только для того, чтобы остаться в границах понятного. Речь едва ли идет о расстояниях, тем более что определить их мы не можем, да и то, что под этим подразумевается, для активности биотоков не имеет значения: распространение излучения практически мгновенно и не зависит ни от пространственного расположения фаз, ни от знака поля. И я должен честно предупредить вас, что мы не знаем степени риска.

— Значит, это опасно? — спросила Галя.

Ольга ни о чем не спросила, только зрачки ее словно стали чуточку больше.

— Я не могу определенно ответить на это. — Заргарьян, казалось, не хотел ничего утаивать от меня. — При неточной наводке наш преобразователь может потерять контроль над совмещенным биополем. Каковы будут последствия для испытуемого, мы не знаем. Теперь представьте себе другое: в этом мире он без сознания, в другом оно придано человеку, допустим летящему в это время на самолете. Что будет с сознанием в случае авиакатастрофы, мы тоже не знаем; успеет ли преобразователь переключить биополе,

переключится ли оно или просто погибнут два человека и в том мире, и в этом.

Ответом Заргарьяну было молчание. Он поднялся и резюмировал:

— Я уже говорил вам, что после моего заявления светский разговор исключается. Вы свободны, Сергей Николаевич, в своем решении. Я заеду за вами утром и с уважением выслушаю его, даже если это будет отказ.

Мы проводили его в молчании, в молчании вернулись и долго не начинали разговора, пока наконец Галя не спросила меня в упор:

— Ты, вероятно, ждешь от меня совета?

Я молча пожал плечами: какое значение могли иметь ее «да» или «нет»?

— Я уже поверила в этот бред. Представь себе — поверила. И если бы я годилась на это, если бы мне предложили, как тебе... я бы не задумывалась над ответом. А советовать... Что ж, пусть Ольга советует.

— Я не буду отговаривать тебя, Сергей, — сказала Ольга. — Сам решай.

Я все еще молчал, не отводя глаз от пустого бокала. Ждал, что скажет Кленов.

— Интересно, — вдруг проговорил он, ни к кому не обращаясь, — раздумывал ли Гагарин, когда ему предложили первым вылететь в космос?



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МИРА

Нам мало всего шара земного, нам
мало определенного времени, У меня бу-
дут тысячи шаров земных и все время.

Уолт Уитмен. *«Песня радостей»*

Но, глядя в даль с ее миражем сизым,
Как высшую хочу я благодать —
Одним глазом взглянуть на коммунизм!..

Илья Сельвинский. *«Сонет»*

ЭКСПЕРИМЕНТ

Заргарьян заехал за мной утром, когда Ольга еще не ушла на работу. Мы оба встали раньше, как всегда бывало, когда

кто то из нас уезжал в отпуск или в командировку. Но ощущение необычности, непохожести этого утра на все предыдущие туманило и окна, и небо, и душу. Мы умышленно не говорили о предстоящем, привычно перебрасываясь стертыми пяточками междометий и восклицаний. Я все искал пропавшую куда то зубную щетку, а Ольга никак не могла добиться надлежащей температуры воды от душевого смесителя.

— То горячо, то холодно. Подкрути.

Я подкручивал, но у меня тоже не получалось.

— Волнуешься?

— Ни капельки.

— А я боюсь.

— Ну и зря. Ничего же не случилось тогда. Просидел два часа в кресле, и все. Заснул и проснулся. Даже голова потом не болела.

— Ты же знаешь, что сейчас — это не два часа. Может быть, десять; может быть, сутки. Опыт длительный. Даже не понимаю, как его разрешили.

— Если разрешили — значит, все в порядке. Можешь не сомневаться.

— А я сомневаюсь. — Голос ее зазвенел на высокой ноте. — Прежде всего, как врач сомневаюсь. Сутки без сознания. Без врача...

— Почему без врача? — перебил я ее. — У Заргарьяна, помимо его специального, и медицинское образование. И датчиков до черта. Все под контролем: и давление, и сердце, и дыхание. Чего же еще?

У нее подозрительно заблестели глаза.

— Вдруг не вернешься...

— Откуда?

— А ты знаешь откуда? Сам ничего не знаешь. Какое то перемещающееся биополе. Миры. Блуждающее сознание. Даже подумать страшно.

— А ты не думай. Летают же люди на самолетах. Тоже страшно, а летают. И никто не волнуется.

У нее задрожали губы, полотенце выскользнуло из рук и упало на пол. Я даже обрадовался, что зазвонил телефон и я мог избежать развития опасной темы.

Звонила Галя. Она хотела заехать к нам, но боялась, что не успеет.

— Заргарьяна еще нет?

— Пока нет. Ждем.

— Как настроение?

— Не бардзо, Ольга плачет.

— Ну и глупо. Я бы радовалась на ее месте: человек на подвиг идет!

— Давай без пафоса, Галка.

— А что? Так и оценят, когда можно будет. Не иначе! Прыжок в будущее. Даже голова кружится при мысли о такой возможности.

— Почему в будущее? — засмеялся я. Мне захотелось ее подразнить. — А вдруг в какойнибудь Юрский период? К птеродактилям!

— Не говори глупостей, — отрезала Галя: Фома неверующий уже превратился в фанатика. — Это не предполагается.

— Человек предполагает, бог располагает. Ну, скажем, не бог, а случай.

— А ты чему учился на факультете журналистики? Тоже мне марксист!

— Деточка, — взмолился я, — не принуждай меня каяться сейчас в политических ошибках. Покаюсь по возвращении.

Она рассмеялась, словно речь шла о поездке на дачу.

— Ни пуха ни пера. Привези сувенир.

— Интересно, какой я ей привезу сувенир — коготь птеродактиля или зуб динозавра? — сказал я Кленову, который уже сидел за нашим утренним кофе.

Я был тронут: он не поленился прийти проводить меня в мое не совсем обычное путешествие и даже успел успокоить Ольгу. Слезинки в глазах ее испарились.

— На динозавров поглазеть тоже не вредно, — философски заметил Кленов. — Организуешь этакое сафари во времени. Большой шум будет.

Я вздохнул.

— Не будет шума, Кленыч. И сафари не будет. Встретимся с тобой гденибудь в смежной жизнишке. В кино сходим на «Дитя Монпарнаса». Палинки опять выпьем. Или цуйки.

— Воображения у тебя нет, — рассердился Кленов. — Не в смежную жизнишку тебя посылают. Помнишь, что сказал Заргарьян? Вполне возможны миры и с каким то другим те-

чением времени. Допустим, оно отстало от нашего. Но не на миллионы же лет! А вдруг всего на полстолетия? Очнешься, а на улице — октябрь семнадцатого.

— А если на столетие?

— Тоже не плохо. В «Современник» пойдешь работать. Выходит же у них какойнибудь «Современник» с таким направлением? Наверняка. И Чернышевский за столом сидит. Скажешь, неинтересно? И слюнки не текут?

— Текут.

Мы оба захохотали, да так громко, что Ольга воскликнула:

— Мне плакать хочется, а они смеются!

— У нас недостаток хлористого натрия в организме, — сказал Кленов. — Потому и слезные железы пересохли. А женам героев слезы вообще противопоказаны. Давайте лучше коньячку выпьем. А то очутишься в будущем, а там — сухой закон.

От коньячку пришлось отказаться, потому что Заргарьян уже звонил у входной двери. Он выглядел строгим и официальным и за всю дорогу до института не обронил ни слова. Молчал и я. Только тогда, когда он поставил свою «Волгу» в шеренгу ее институтских сестер и мы поднялись по гранитным ступеням к двери, Заргарьян сказал мне, впервые назвав меня по имени, сказал без улыбки и без акцента, каким он всегда кокетничал, когда язвил или посмеивался:

— Не думай, что я боюсь или встревожен. Это Никодимов считает возможным какой то процент риска: проблема, мол, еще не изучена, опыта маловато. А я считаю, что все сто процентов наши! Уверен в успехе, у ве рен! — закричал он на всю окрестную рощицу. — А молчу потому, что перед боем лишнего не говорят. Тебе все ясно, Сережа?

— Все ясно, Рубен.

Мы пожали друг другу руки и опять замолчали до нашего появления в лаборатории. Ничто не изменилось здесь со времени моего первого посещения. Те же мягкие тона пластмасс, золотое поблескивание меди, зеркальность никеля, дымчатая непрозрачность стекловидных экранов, чем то напоминавших телевизорные, только увеличенные в несколько раз. Мое кресло стояло на обычном месте в паутине цветных проводов, толстых, и тонких, и совсем истонченных, как серебристые паутинки. Западня паука, поджидающего свою

жертву. Но кресло, мягкое и уютное, к тому же ласково освещенное из окна вдруг подкравшимся солнцем, не настраивало на тревогу и настороженность. Скорей всего, оно напоминало сердце в путанице кровеносных сосудов. Сердце пока не билось: я еще не сел в кресло.

Никодимов встретил меня в своем накрахмаленном до окаменелости белом халате, все с той же накрахмаленной, жестковатой улыбкой.

— Я должен бы только радоваться тому, что вы согласились на этот рискованный опыт, — сказал он мне после обмена дежурными любезностями, — для меня, как ученого, это может быть последний, решающий шаг к цели. Но я должен просить вас еще раз продумать свое решение, взвесить все «за» и «против», прежде чем начнется самый эксперимент.

— Все уже взвешено, — сказал я.

— Погодите. Взвесим еще раз. Что стимулирует ваше согласие на опыт? Любопытство? Стимул, по правде говоря, не очень то уважительный.

— А научный интерес?

— У вас его нет.

— Что же влечет журналистов, скажем, в Антарктику или в джунгли? — отпарировал я. — Научного интереса у них тоже нет.

— Значит, любознательность. Согласен. И душок сенсации, в какой то мере общий для всех газетчиков, пусть даже в лучшем смысле этого слова. Что ж, газетчик Стэнли, ради сенсации поехавший на поиски затерявшегося в Африке Ливингстона, в итоге пожал равноценную славу. Может быть, она и вам кружит голову, не знаю. Представляю, как с вами говорил Рубен, — усмехнулся Никодимов и вдруг продолжил голосом Заргарьяна: — Да ведь это подвиг, еще не виданный в истории науки! Слава миропроходца, равноценная славе первых завоевателей космоса! Я убежден, что он, наверное, так и сказал: миропроходца?

Я искоса взглянул на Заргарьяна. Тот слушал, ничуть не обиженный, даже улыбался. Никодимов перехватил мой взгляд.

— Сказал, конечно. Я так и думал. Бочка меду! А я сейчас добавлю в эту бочку свою ложку дегтя. Я не обещаю вам, милый друг, ни славы миропроходца, ни встречи на Красной

площади. Даже подвала в газете не обещаю. В лучшем случае, вы вернетесь домой с запасом острых ощущений и с сознанием, что ваше участие в эксперименте оказалось бесполезным для науки.

— А разве этого мало? — спросил я.

— Смотря для кого. О неоценимости вашего вклада знаем только мы трое. Ваше устное свидетельство о виденном, вернее, только одно это устное свидетельство — еще не доказательство для науки. Всегда найдутся скептики, которые могут объявить и наверняка объявят его выдумкой, а приборов, какие могли бы записать и воспроизвести зрительные образы, возникшие в вашем сознании, — таких приборов, к сожалению, у нас еще нет.

— Возможно и другое доказательство, — сказал Заргарьян.

Никодимов задумался. Я с нетерпением ждал ответа. О каком доказательстве говорил Заргарьян? Все материальные свидетельства моего пребывания в смежных мирах там и остались: и оброненный во время операции зонд, и моя записка в больничном блокноте, и разбитая Мишкина губа. Я же не унес ничего, кроме воспоминаний.

— Я сейчас вам объясню, о чем говорит Рубен, — медленно произнес он, словно взвешивая каждое еще не сказанное слово. — Он имеет в виду возможность вашего проникновения в мир, обогнавший нас во времени и в развитии. Если допустить такую возможность и если вы сумеете ее использовать, то ваше сознание может запечатлеть не только зрительные образы, но и образы абстрактные, скажем, математические. Например, формулу еще неизвестного нам физического закона или уравнение, выражающее в общепринятых математических символах нечто новое для нас в познании окружающего мира. Но все это лишь допущение, гипотеза. Ничем не лучше гадания на кофейной гуще. Мы пробуем переместить ваше сознание куда то дальше непосредственно граничащих с нашим трехмерным пространством миров, но даже не можем объяснить вам, что значит «дальше». Расстояния в этом измерении отсчитываются не в микронах, не в километрах и не в парсеках. Здесь действует какая то другая система отсчета, нам пока неизвестная. Самое главное, мы не знаем, чем вы рискуете в этом эксперименте. В первом мы не теряли из виду ваше энергетическое поле, но

можно ли поручиться, что мы не потеряем его сейчас? Словом, я не обижусь, если вы скажете: давайте отложим опыт.

Я улыбнулся. Теперь уже Никодимов ждал ответа. Ни одна морщинка его не дрогнула, ни один волосок его длинной поэтической шевелюры не растрепался, ни одна складочка на халате не сморщилась. Как непохожи они с Заргарьяном! Вот уж поистине «стихи и проза, лед и пламень». А пламень за мной уже рвался наружу: громыхнув стулом, Заргарьян встал.

— Ну что ж, давайте отложим... — намеренно помедлил я, лукаво поглядывая на Никодимова, — отложим... все разговоры о риске до конца опыта.

Все, что произошло дальше, уложилось в несколько минут, может быть, даже секунд, не помню. Кресло, шлем, датчики, затемнение, обрывки затухающего разговора о шкалах, видимости, о каких то цифрах в сопровождении знакомых греческих букв — не то пи, не то пси — и, наконец, беззвучность, тьма и цветной туман, крутящийся вихрем.

ДЕНЬ В ПРОШЛОМ

Вихрь остановился, туман приобрел прозрачность и тускло серый оттенок скорее весеннего, чем зимнего, утра. Я увидел захламленный двор в лужах, затянутых синеватым ледком, грязно рыжую корочку уже подтаявшего снега у забора и совсем близко от меня темно зеленый автофургон. Задние двери его были открыты настежь.

Сильный удар в спину бросил меня на землю. Я упал в лужу, ледок хрустнул, и левый рукав ватника сразу намок.

— Ауфштеен! — крикнули сзади.

Я с трудом поднялся, еле держась на ногах, и не успел даже оглянуться, как новый удар в спину швырнул меня к фургону. Из темной его пасти протянулись чьи то руки и, подхватив меня, втянули в кузов. Двери позади меня тотчас же захлопнулись, громыхнув тяжелой щеколдой.

Потом я услышал урчание мотора, металлический скрип кузова, хруст льда под колесами автофургона. На повороте меня потрянуло, ударив головой о скамейку. Я застонал.

И опять знакомые руки протянулись ко мне, подняли и посадили на скамейку. В окружавшей нас полутьме я не мог разглядеть лица человека, сидевшего напротив.

— Держись за доску, — предупредил он. — Дороги у нас дай бог.

— Где мы? — спросил я, как показалось мне, каким то чужим голосом, глухим и хриплым.

— Известно где. В душегубке. — Сосед потянул носом воздух. — Да нет... Кажись, не пахнет. Значит, на исповедь везут.

— Где мы? — снова спросил я. — Город какой?

— Колпинск город. Райцентр бывший. Глянь в окошко — увидишь.

Я подтянулся к маленькому квадратному окошку без стекол, затянутому тремя железными прутьями. В крохотном проеме мелькнули водокачка, подъездные пути в проломе забора, одноэтажные приземистые домишки, вывеска комиссионного магазина, написанная черной краской по желтой рогожке, голые тополя у обочины замызанного тротуара. Пустынная улочка тянулась долго и неприглядно. Редкие прохожие, казалось, никуда не спешили.

— Вы меня извините, — сказал я своему спутнику, — у меня что то с памятью.

— Тут не только память — душу выбьют, — живо откликнулся он.

— Ничего не помню. Какой сейчас год, месяц, день... Вы не бойтесь, я не сумасшедший.

— Я уж теперь ничего не боюсь. Да и с психом дело иметь сподручнее, чем с иудой. А год сейчас трудный, сорок третий год. Либо январь в самом конце, либо февраль в самом начале. Ну, а день помнить незачем: все одно до утра не доживем. Вы в какой камере?

— Не знаю, — сказал я.

— В шестой, должно, быть. Туда вчера сбитого летчика привезли. Прямо из городской больницы. Подлечили и привезли. Не вас ли?

Я промолчал. Теперь вспомнилось, как это было, вернее, как могло быть. В январе сорок третьего года я летел на Большую землю из урочища Скрипкин бор в партизанском краю, в северо западном Приднепровье. В районе Колпинска нас накрыли немецкие, зенитные батареи. Самолет почти



Сильный удар в спину бросил меня на землю.

чудом прорвался, долетели благополучно. Но в этой фазе пространства — времени, должно быть, не прорвались. А в городскую больницу, вероятно, привезли не сбитого летчика, а раненого пассажира. А из больницы — в шестую камеру, и оттуда — на «исповедь», как сказал мой спутник. Что он подразумевал под этим, было ясно без уточнения.

Больше мы не разговаривали, и только когда машина остановилась и заскрежетала щеколда на двери, он что то шепнул мне на ухо, но что, я так и не расслышал, а спросить не успел: он уже прыгнул на мостовую и, отстранив конвоира, помог мне спуститься. Удар приклада в спину тотчас же отшвырнул его к подъезду. За ним последовал и я. Немецкие солдаты спешили по бокам, визгливо покрикивая:

— Шнель! Шнель!

Нас разделили уже на первом этаже, где моего спутника — лица его я так и не рассмотрел — увели куда то по коридору, а меня поволокли по лестнице в бельэтаж, именно поволокли, потому что каждый пинок посылал меня в нокдаун. Так продолжалось до комнаты с голубыми обоями, где под стать им восседал за письменным столом тучный блондин с такими же голубыми мальчишескими глазами. Его черный эсэсовский мундир сидел на нем, как школьная курточка, да и сам он походил на растолстевшего школьника с рекламы немецких кондитерских изделий.

— Ви имеет право сесть. Вот здесь. Хир. — И он указал на плюшевое кресло у стола, должно быть заимствованное из реквизита местного городского театра.

Ноги у меня подкашивались, голова кружилась, и я сел, не скрывая удовольствия, что и было тут же замечено.

— Ви совсем выздоравливать. Очень хорошо. А теперь говорить правду. Вархейт! — сказал мальчикоподобный эсэсовец и выжидательно замолчал.

Молчал и я. Страха не было. От страха спасало ощущение иллюзорности, отстраненности всего происходящего. Ведь это случилось не в моей жизни и не со мной, и это хилое, изможденное тело в грязном ватнике и разбитых солдатских ботинках принадлежало не мне, а другому Сергею Громову, живущему в другом времени и пространстве. Так утешали меня физика и логика, а физиология болезненно опровергала их при каждом моем вздохе, при каждом дви-

жении. Сейчас это тело было моим и должно было получить все то, что ему предназначалось. Я тревожно спрашивал себя, хватит ли у меня сил, хватит ли воли, выдержки, мужества, внутреннего достоинства, наконец?

В дни войны было легче. Мы все были подготовлены к таким случайностям всей обстановкой военных лет, всем строем тогдашней жизни и быта, всем духом суровой и очень строгой к человеку эпохи. Был готов, вероятно, и Сергей Громов, которого я сменил сейчас в этой комнате. Но готов ли я? На какое то мгновение мне стало холодно и — боюсь признаться — страшно.

— Ви меня понимать? — спросил эсэсовец.

Я кивнул.

— Вполне.

— Тогда говорить. Вифиль зольдатен эр хат? Столби-ков. Иметь в отряде? Зольдатен, партизанен. Сколько?

— Не знаю, — сказал я.

Я не солгал. Я действительно не знал численности всех партизанских соединений, находившихся под командовани-ем Столбикова. Она все время менялась. То какие то груп-пы уходили в глубокую разведку и по неделям не возвра-щались, то отряд пополнялся за счет соединений, опериро-вавших на соседних участках. Кроме того, у моего Столби-кова был один состав, а у Столбикова, живущего в этом пространстве — времени, мог быть другой — больше или меньше. Любопытно, если бы я рассказал обо всем, что знал, совпало ли бы это с действительностью, интересовав-шей эсэсовца? Судя по знакам отличия, это был обер-штурмфюрер.

— Говорить правду, — повторил он строже. — Так есть лучше. Вархейт ист бессер.

— А я и вправду не знаю.

Голубые глаза его заметно побагровели.

— Где ваш документ? Хир! — закричал он и швырнул на стол мой бумажник; я не убежден был, что это мой, но догадывался. — Мы все знать. Аллее.

— Если знаете, зачем спрашиваете? — сказал я спокой-но.

Он не успел ответить — зажужжал зуммер полевого те-лефона у него на столе. С неожиданным для него проворст-вом толстун схватил трубку и вытянулся. Лицо его преоб-

разилось, запечатлев послушание и восторг. Он только поддакивал по немецки и щелкал каблуками. Потом убрал «мой» бумажник в стол и позвонил.

— Вас уводить сейчас, — сказал он мне. — Кейне цейт. Три часа в камера.

— Он ткнул большим пальцем вниз. — Подумать, вспомнить и опять говорить. Иначе — плохо. Зер шлехт.

Меня отвели в подвал и втолкнули в сарай без окон. Я потрогал стены и пол. Сырой, липкий от плесени камень, на земляном полу жидкая грязь. Ноги меня не держали, но лечь я не рискнул, а сел к стенке на растопыренные пальцы — все таки суше.

Предоставленная мне отсрочка позволяла надеяться на благополучный исход. Опыт может закончиться, и удачливый Гайд покинет поверженного в грязи Джекиля. Но я тут же устыдился этой мыслишки. И Галя и Кленов, не моргнув, назвали бы меня трусом. Никодимов и Заргарьян не назвали бы, но подумали. Может быть, где то в глубине души подумала бы об этом и Ольга. Но я, к счастью, подумал раньше. О многом подумал. О том, что я отвечаю уже за двоих — за него и за себя. Как бы он поступил, я догадывался; могу даже сказать — знал. Ведь он — это я, та же частица материи в одной из форм своего существования за гранью наших трех измерений. Случай мог изменить его судьбу, но не характер, не линию поведения. Значит, все ясно: у меня не было выбора, даже права на дезертирство с помощью никодимовского волшебства. Если бы это случилось сейчас, я попросил бы Никодимова вернуть меня обратно в этот сарай.

Должно быть, я заснул здесь, несмотря на сырость и холод, потому что мной овладели сны. Его сны. Усатый Столбиков в папаше, немолодая женщина в ватнике с автоматом через плечо, кромсающая ножом рыжий каравай хлеба, голые ребятишки на берегу пруда в зеленой ряске. Я сразу узнал этот пруд и кривые сосны на берегу и тут же увидел ведущую к этому пруду дорогу меж высоких глинистых откосов. То был мой сон, издавна запомнившийся и всегда непонятный. Теперь я точно знал его происхождение.

Сны сократили мою отсрочку. Мальчишкообразный щекастый эсэсовец вновь затребовал меня к себе. На сей раз он не улыбался.

— Ну? — спросил он, как выстрелил. — Будем говорить?

— Нет, — сказал я.

— Шаде, — протянул он. — Жаль. Положить руку на стол. Пальцы так. — Он показал мне пухлую свою ладонь с растопыренными сардельками пальцами.

Я повиновался. Не скажу, что без страха, но ведь и к зубному врачу войти порой страшно.

Толстяк вынул из под стола деревяшку с ручкой, похожую на обыкновенную столярную киянку, и крикнул:

— Руиг!

Деревянный молоток рассчитанно саданул меня по мизинцу. Хрустнула кость, зверская боль пронизала руку до плеча. Я еле удержался, чтобы не вскрикнуть.

— Хо ро шо? — спросил он, с удовольствием отчеканивая слоги. — Говорить или нет?

— Нет, — повторил я.

Киянка опять взвилась, но я невольно отдернул руку.

Толстяк засмеялся.

— Рука беречь, лицо не беречь, — сказал он и тем же молотком ударил меня по лицу.

Я потерял сознание и тут же очнулся. Где то совсем близко разговаривали Никодимов и Заргарьян.

— Нет поля.

— Совсем?

— Да.

— Попробуй другой экран.

— Тоже.

— А если я усилю?

Молчание, потом ответ Заргарьяна:

— Есть. Но очень слабая видимость. Может, он спит?

— Нет. Активизацию гипногенных систем мы зарегистрировали полчаса назад. Потом он проснулся.

— А сейчас?

— Не вижу.

— Усиливаю.

Я не мог вмешаться. Я не чувствовал своего тела. Где оно было? В лабораторном кресле или в камере пыток?

— Есть поле, — сказал Заргарьян.

Я открыл глаза, вернее, приоткрыл их, — даже слабое движение век вызывало острую, пронизывающую боль. Что

то теплое и соленое текло по губам. Руку как будто жгли на костре.

Вся комната от пола до потолка, казалось, была наполнена мутной, дрожащей водой, сквозь которую тускло просматривались две фигуры в черных мундирах. Один был мой толстяк, другой выглядел складнее и тоньше.

Они разговаривали по немецки, отрывисто и быстро. Немецкий я знаю плохо и потому не вслушивался. Но как мне показалось, разговор шел обо мне. Сначала я услышал фамилию Столбикова, потом свою.

— Сергей Громов? — удивленно переспросил тонкий и что то сказал толстяку.

Тот забежал ко мне сзади и очень осторожно протер мне лицо носовым платком, пахнувшим духами и потом. Я даже не двинулся.

— Громов... Сережа, — повторил по русски и совсем без акцента второй эсэсовец и нагнулся ко мне. — Не узнаешь?

Я всмотрелся и узнал постаревшее, но все еще сохранившее давно памятные черты лицо моего одноклассника Генки Мюллера.

— Мюллер, — прошептал я и опять потерял сознание.

ГРАФ СЕН ЖЕРМЕН

Очнулся я уже в другой комнате, жилой, но неудобной, меблированной с претензией на мещанский шик. Пузатая горка с хрусталем, буфет красного дерева, плюшевый диван с круглыми валиками, ветвистые олени рога над дверью и копия с «Мадонны» Мурильо в широкой позолоченной раме — все это либо накапливалось здесь каким то деятелем районного масштаба, либо свезено было сюда из разных квартир порученцами гауптштурмфюрера, оформлявшими гнездышко для начальственного отдохновения.

Сам гауптштурмфюрер, расстегнув мундир, лениво потягивался на диване с иллюстрированным журналом в руках, а я украдкой наблюдал за ним из сафьянового кресла у стола, накрытого к ужину. Забинтованная моя рука уже почти не болела, и есть хотелось адски, но я молчал и не двигался, ни-

чем не выдавая себя в присутствии своего бывшего одноклассника.

Я знал Генку Мюллера с семи лет. Мы вместе пришли в первый класс школы в тихом арбатском переулке и до девятого класса делили все школьные невзгоды и радости. Старший Мюллер, специалист по трикотажным машинам, приехал в Москву из Германии вскоре после Рапалльского договора, работал сначала в альтмановской концессии, а потом где то в Мострикотаже. Генка родился уже в Москве и в школе никем не почитался за иностранца. Он говорил так же, как и мы все, тому же учился, читал те же книги и пел те же песни. В классе его не любили, да и мне не нравились его заносчивость и бахвальство, но жили мы в одном доме, сидели на одной парте и считались приятелями. С годами же это приятельство увядало: сказывалась возраставшая разница во взглядах и интересах. А когда после гитлеровской оккупации Польши Мюллеры всей семьей переселились в Германию, Генка, уезжая, позабыл со мной даже проститься.

Правда, мой Генка Мюллер был совсем не тот Мюллер, который лежал сейчас на диване в носках без сапог, да и я сам был совсем не тот Громов, который, весь забинтованный, сидел напротив в красном сафьяновом кресле. Но как показал опыт, фазы смежных существования не меняли в человеке ни темперамента, ни характера. Значит, и мой Генка Мюллер имел все основания вырасти в Гейнца Мюллера, гауптштурмфюрера войск СС и начальника колпинского гестапо. А следовательно, и я мог вести себя с ним соответственно.

Он опустил журнал, и взгляды наши встретились.

— Проснулся наконец, — сказал он.

— Скорее, очнулся.

— Не симулируй. После того как наш маг и волшебник доктор Гетцке ампутировал тебе палец и сделал кое какие косметические штрихи, ты спишь уже второй час. Как сурок.

— А зачем? — спросил я.

— Что — зачем?

— Косметические штрихи зачем?

— Личико поправили. Крейман с молотком перестарался.

Ну, а теперь опять красавчиком станешь.

— Наверно, у господина Мюллера есть невеста на выданье, — засмеялся я.

— Так он опоздал.

— Господина Мюллера ты брось! Есть Генка Мюллер и Сережка Громов. Уж какнибудь они сговорятся.

— Интересно, о чем? — спросил я.

Мюллер встал, потянулся и сказал, зевая:

— Что ты все «о чем» да «зачем»? Я тебя сегодня из могилы вытащил. Тоже спросишь: зачем?

— Не спрошу. Осведомителя из меня хочешь сделать или еще какуюнибудь сволочь. Не гожусь.

— Для могилы годишься.

— Ты тоже, — отпарировал я. — В могилу еще успеется, а сейчас жрать охота.

Он захохотал.

— Это ты верно сказал, что в могилу еще успеется. — Он подсел к столу и налил коньяку себе и мне. — Водка у нас дрянная, а коньяк отличный. Привозят из Парижа. Мартель. За что пьем?

— За победу, — сказал я.

Он захохотал еще громче.

— Смесишь ты меня, Сережка. Мудрый тост. Пью.

Он выпил и прибавил с кривой усмешкой:

— А второй выпью за то, чтобы из этой дыры скорее выбраться. У меня в Берлине дядька со связями. Обещает перевод этим летом. В Париж или в Афины. Подальше от выстрелов.

— А что, досаждают? — усмехнулся я.

— А то нет? Так и ждешь, что какойнибудь гад шарахнет из за угла гранатой. Моего предшественника уже кокнули. А теперь меня приговорили.

— Значит, не заживешься, — равнодушно заметил я.

Не закусывая, он снова наполнил бокал. Руки его дрожали.

— Я и так уж тороплю с переводом. Только бы не тянули. А там отсижусь в Париже, и война, гляди, кончится.

— Еще повоюем, — сказал я. — Два с половиной года ждать.

Рука его с полным бокалом замерла над столом.

— Ровно через два с половиной года, — пояснил я, — а именно восьмого мая сорок пятого года, будет подписано соглашение о безоговорочной капитуляции. Интересуешься

кем? Немцами, дружок, немцами. И где, ты думаешь? В Берлине. Почти на развалинах вашей имперской канцелярии.

Он так и не выпил свой коньяк, медленно опустив бокал на стол. Сначала он удивился, потом испугался. Я перехватил его взгляд, брошенный на тумбочку у дивана, где лежал его «вальтер». Наверно, подумал, что я сошел с ума, и тут же вспомнил об оружии.

Но ответить он не успел. Зажужжал зуммер его внутреннего телефона. Он схватил трубку, назвал себя, послушал и о чем то быстро заговорил по немецки. Я уловил только одно слово: Сталинград. Вспомнились слова моего спутника по темно зеленому гестаповскому «ворону»: «...сейчас либо январь в самом конце, либо февраль в самом начале». Так и есть: он вернулся к столу с внезапно помрачневшим лицом.

— Сталинград? — спросил я.

— Ты понимаешь по немецки?

— Нет, просто догадался. Скис ваш Паулюс. Капут.

Он предостерегающе постучал ножом о тарелку.

— Не говори глупостей. Паулюс только что получил генерал фельдмаршала. А Манштейн уже подходит к Котельникову.

— Разбит ваш Манштейн. Разбит и отброшен. И Паулюсу — конец. Какое сегодня число?

— Второе февраля.

Я засмеялся: как приятно знать будущее!

— Так вот, именно сегодня капитулировал в Сталинграде Паулюс, а ваша Шестая армия или, вернее, то, что от нее осталось, воздавая хвалу фюреру, шагает в плен.

— Замолчи! — крикнул он и взял свой пистолет с тумбочки. — Я таких шуток никому не прощаю.

— А я и не шучу, — сказал я, отправляя в рот ломоть консервированной ветчины. — У тебя есть где проверить? Позвони.

Мюллер задумчиво поиграл своим «вальтером».

— Хорошо. Я проверю. Позвоню фон Геннерту: он должен знать. Только учти: если это розыгрыш, я расстреляю тебя самолично. И сейчас.

Он подошел к телефону, долго с кем то соединялся, что то спрашивал, слушая и вытягиваясь, как на смотре, потом положил трубку и, не глядя на меня, швырнул пистолет на диван.

— Ну как, точно? — усмехнулся я.

— Откуда ты знаешь? — спросил он, подходя.

Лицо его выражало безграничное удивление и растерянность. Он смотрел на меня, словно спрашивая: я ли это или представитель верховного командования в моем обличье?

— Фон Геннерт даже удивился, что я знаю. Пришлось выкручиваться. Официально об этом еще не объявлено, но Геннерт знает.

— А он тебе сказал, что Гитлер уже объявил траур по Шестой армии?

— Ты и это знаешь?

Он продолжал стоять, не сводя с меня глаз, растерянный и непонимающий.

— И все таки откуда? Ты не мог знать об этом вчера, это понятно. А сегодня... Кто мог сказать тебе? Тебя, кажется, с кем то привезли сюда?

— Утром... — сказал я, — утром твой Паулюс еще брыкался.

Он поморгал глазами.

— Ктонибудь мог поймать московскую передачу?

— Где? — засмеялся я. — В гестапо?

— Не понимаю. — Он развел руками. — В городе об этом еще никто не знает. Убежден.

У меня вдруг мелькнула мысль, что еще можно спасти моего незадачливого Джекиля. До утра ему, видимо, ничто не грозит, но утро он встретит в полном сознании, избавленный от моей агрессии. Тогда за его жизнь я не дам ни копейки. Мюллер церемониться с ним не станет, тем более когда объявит, что не помнит ничего происшедшего накануне. Значит, надо думать. Игра будет трудная.

— Не гадай, Генка, — сказал я, — не угадаешь. Просто я не совсем обычный человек.

— Что ты имеешь в виду?

— А ты слышал или читал о том, как у нас в одном научно исследовательском институте, — начал я, вдохновенно импровизируя, — была ликвидирована в сороковом году некая исследовательская группа? За границей много шумели об этом. В общем, группа телепатов.

— Нет, — растерялся он, — не слышал.

— А ты знаешь, что такое телепатия?

— Что то вроде передачи мыслей на расстоянии?

— Примерно да. Проблема не новая, о ней еще Синклер писал. Только идеалистически, со всякой потусторонней чепухой. А у нас ставились опыты на серьезной научной основе. Понимаешь, мозг рассматривается, как микроволновый приемник, воспринимающий на любом расстоянии мысли, как волны непостижимой длины. Что то меньше микрона. Способность эта есть у каждого, но в зачаточном состоянии. Однако ее можно развить, если найти мозг перципиент, так сказать особо восприимчивый к внешней индукции. Многих пробовали, в том числе и меня. Ну, я и подошел.

Мюллер сел и протер глаза.

— Сплю я, что ли? Ничего не понимаю.

Я уже по лицу его увидал, что игра удалась: он почти поверил. Теперь надо было стереть это «почти».

— Ты когда нибудь читал о Калиостро или о Сен Жермене? — спросил я и по девственно пустым глазам его понял: не читал. — История никак не может объяснить их, особенно Сен Жермена. Этот граф жил в восемнадцатом веке, а рассказывал о событиях двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого веков, словно при них присутствовал. Его считали колдуном, астрологом, Агасфером и наперебой приглашали ко двору европейских монархов. Он, между прочим, и будущее предсказывал, и довольно удачно. Но объяснить, что это за человек, никто так и не мог. Историки отмахивались: шарлатан, мол. А надо было сказать: телепат. Вот и все. Он принимал мысли из прошлого и будущего. Как и я.

Мюллер молчал. Я уже не догадывался, о чем он думал. Может быть, он раскусил мое шарлатанство? Но у меня был все таки один неопровержимый и непобитый козырь — Сталинград.

— Будущее? — задумчиво повторил он. — Значит, ты можешь предсказывать будущее?

«Не надо уводить далеко, — подумал я. — Мюллер не глуп и привык мыслить реалистически». На этом я и сыграл.

— Твое предсказать не трудно, — ответил я не менее коварно на его коварный вопрос. — Сам понимаешь: после Сталинграда подпольщики и партизаны повсюду активизируются. Не дожить тебе до лета, Мюллер. Никак не дожить.

Он так и скривился в усмешечке: «Хозяин то положения все таки я». А вслух кольнул:

— Я тоже могу предсказать твое будущее, без телепатии. Услуга за услугу.

— Мужской разговор, — засмеялся я. — Мы же можем изменить будущее. Ты — мое, я — твое.

Он вскинул брови, опять не поняв. Ну что ж, раскроем карты.

— Ты переправишь меня к партизанам. Притом сегодня же. А я гарантирую тебе бессмертие до конца месяца. Ни пуля, ни граната тебя не тронут.

Он молчал.

— Теряешь ты немного: мою жизнь, а выигрываешь куш — свою.

— До конца месяца, — усмехнулся он.

— Я не всемогущ.

— А гарантии?

— Мое слово и мои документы. Ты ведь их видел. И догадался, должно быть, что и я кое что могу.

Он долго раздумывал, молча и рассеянно блуждая взором по комнате. Потом разлил остатки коньяка по бокалам. Он ничего не ел, и хмель уже сказывался: руки дрожали еще больше.

— Ну что ж, — процедил он, — посошок на дорогу?

— Не пью, — сказал я. — Мне нужна ясная голова и рука твердая. Ты мне дашь оружие, хотя бы свой «вальтер», и руки свяжешь легонько, чтоб сразу освободиться.

— А под каким соусом я тебя отправлю? У меня тоже начальство есть.

— Вот ты и отправишь меня к начальству повыше. Какойнибудь лесной дорогой.

— Придется ехать с шофером и конвоиром. Справишься?

— Надеюсь, конвоира тебе не жалко?

— Мне машину жалко, — поморщился ан.

— Машину я тебе верну вместе с водителем. Идет?

Он подошел к телефону и начал вызванивать. Я даже подивился той быстроте, с какой он все это проделал. Через какие-нибудь полчаса гестаповский «оппель капитан» уже бороздил запорошенный снегом проселок. Рядом со мной, положив автомат на колени, сидел тощий фриц со злым лицом. Пусть злится. Это меня не тревожило, равно как и мое обещание Мюллеру. Ведь обещал я, а не Громов, который в конце концов окажется на моем месте. Только когда это про-

изойдет и где? Если в машине, то я должен сделать все, чтобы мой злополучный Джекиль быстро сориентировался. Я потянул нетуго связанные на спине руки. Ремешок сразу ослаб. Еще рывок — и я уже мог положить освободившуюся правую руку в карман ватника, прихватив ею вороненую сталь пистолета. Теперь надо было только ждать: каким то шестым, а может быть, шестнадцатым чувством я уже предугадывал странную легкость в теле, головокружение и тьму, гасившую все — свет, звуки, мысли.

Так и произошло. Я очнулся под рукой Заргарьяна, снимавшего датчики.

— Где был? — спросил он, все еще невидимый.

— В прошлом, Рубен, увы.

Он громко и горестно вздохнул. Никодимов уже на свету просматривал пленку, извлеченную из контейнера.

— Вы следили за временем, Сергей Николаевич? — спросил он. — Когда вошли и когда вышли из фазы?

— Утром и вечером. День.

— Сейчас двадцать три сорок. Совпадает?

— Примерно.

— Пустяковое отставание во времени.

— Пустяковое? — усмехнулся я. — Двадцать лет с лишком.

— В масштабе тысячелетий ничтожное.

Но меня не волновали масштабы тысячелетий. Меня волновала судьба Сережки Громова, оставленного мной почти четверть века назад на колпинском пригородном проселке. Думаю, впрочем, он не потерял даром времени.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Новый эксперимент начался буднично, как визит в поликлинику. Накануне я не собирал друзей, Заргарьян не приезжал, и поутру меня никто не напутствовал. В институт я добрался на автобусе, и Никодимов тут же усадил меня в кресло, не уточняя градуса моей доброй воли и готовности к опыту.

Он только спросил:

— Когда у вас в прошлый раз начались неприятности? К вечеру, во второй половине дня?

— Примерно. На улице уже темнело.

— Приборы зафиксировали сон, потом нервное напряжение повысилось, и наконец — шок...

— Точно.

— Я думаю, мы теперь сумеем предупредить это осложнение, если оно возникнет, — сказал он. — Вернем ваш психический мир обратно.

— Я именно этого и не хотел. Вы же знаете, — возразил я.

— Нет, сейчас мы рисковать не будем.

— Какой риск? Кто говорит о риске? — загремел Заргарьян, появляясь как призрак — весь в белом — на фоне белых дверей.

Он был в соседней камере — проверял усилители.

— За одну минуту твоего путешествия отдаю год жизни. Это уже не наука, как думает Никодимов, — это поэзия. Ты любишь Вознесенского?

— Относительно, — сказал я.

Он продекламировал:

— «В час осенний... сквозь лес опавший... осеняюще и опасно... в нас влетают, как семена... чьи то судьбы и имена...» — Он оборвал цитату и спросил: — Что запомнил?

— Осеняюще и опасно, — повторил я.

Я уже его не видел: он говорил из темноты.

— Главное: осеняюще! Поэтому будем торжественны. Учти: ты у врат будущего.

— Ты в этом уверен? — донесся голос Никодимова.

— Абсолютно.

Больше я ничего не слышал. Звуки погасли не тех пор, пока в мертвую тишину эту не ворвался какой то монотонный, громыхающий гул.

Тишины уже не было, и даже тумана не было. Я покачивался в мягком кресле у широкого, чуть вогнутого наружу окна. Рядом со мной и напротив сидели в таких же креслах незнакомые мне люди. Обстановка напоминала огромную кабину воздушного лайнера или вагон пригородного дачного поезда, где сидят по трое друг против друга по бокам прохода от двери к двери. Этот проход тянулся, должно быть, метров на сорок. Я старался осмотреться, не разглядывая соседей, искоса, не подымая глаз. Первое, что привлекло внимание, были мои руки, боль-

шие, странно белые, с сухой и чистой кожей, какая бывает после частого и придирачивого мытья. И, самое главное, это были руки старого человека. «Сколько же мне лет и кто я по профессии, — подумал я. — Лаборант, врач, ученый?» Да и костюм — не новый, но и не очень заношенный, из странно выглядевшего материала с непривычным рисунком — не давал прямого ответа, а гадать было бессмысленно.

Я посмотрел в окно. Нет, это был не воздушный лайнер, потому что летели мы слишком низко для такого крупного самолета, ниже, что называется, бреющего полета. Но это был и не поезд, потому что летели мы над землей, над домами и перелесками, едва не срезая верхушек сосен и елей, причем именно летели так, что пейзаж за окном сливался и мутнел. От непривычки стало больно смотреть.

Я достал платок из кармана и протер глаза.

— Болят? — усмехнулся пассажир, сидевший против меня, седой, худощавый человек в золотых очках без дужек, непонятно как висевших над переносицей.

— Забываем на склоне лет, что в окошечко уже не посмотришь. Это вам не пятидесятые годы. Обсервейшен кар! В таком каре только пушкинских «Бесов» читать: «Мутно небо, ночь мутна...»

— А что, не нравится? — спросил не без вызова молодой человек, сидевший с краю.

— Нет, почему? Кому ж это не понравится? Из Ленинграда в Москву за полтора часа. Новинка.

— Почему — новинка? — пожал плечами молодой человек. — О монорельсовых дорогах говорили еще лет двадцать назад. Это только модернизация. А вы чем в окно смотреть, телевизор включите, — сказал он мне.

Я замешкался, не совсем понимая, где этот телевизор и как его включать. Меня предупредил мой седой визави: он нажал какой то рычажок сбоку, и окно закрыл знакомый голубоватый экран. Изображение возникло в нем как то в глубине, позволяя видеть его даже сидящим сбоку, как я.

Оно было цветным и стереоскопическим и представляло огромный многоэтажный дом, красиво отделанный серыми и красными плитками. На его плоскую крышу в беспримесной лазури неба опускался вертолет. «Передаем но-

вости дня, — сказал невидимый диктор. — Посещение руководителями партии и правительства трехсотого дома коммуны в Киевском районе столицы». Группа хорошо одетых немолодых людей вышла из кабины вертолета и скрылась под куполом из органического стекла. Замелькали лифты скоростники и лифты эскалаторы. Объектив аппарата устремился вниз, к зеркальным витринам первого этажа. «Весь этаж занимают магазины, мастерские и столовые, обслуживающие население дома». Гости неторопливо прохаживались по этажам и комнатам, обставленным с необычным для меня выбором красок и форм. «Один поворот пластмассового рычага — и постель уходит в стенку, выдвигая спрятанный книжный шкаф. А эту кушетку вы можете расширить и удлинить: ее металлические крепления и губчатая поверхность растягиваются вдвое». А следом уже открывалась перспектива этажных холлов с большими телевизионными и киноэкранами. «Этот этаж целиком предоставлен молодежи, предпочитающей жить отдельно», — комментировал диктор, раздвигая для нас стены непривычно меблированных комнат.

— Не понимаю. Зачем все это делается? — пренебрежительно фыркнула дама с вязаньем наискосок от меня.

Я взглянул на юношу, сидевшего с краю, ожидая его реплики, и не ошибся. Как он был похож на юношей, которых я знал! Он принял от них эстафету горячности, почти мальчишеской запальчивости, непримиримости ко всему, что не идет в ногу с веком.

— Дома коммуны не сегодня начали строить, а вам все еще непонятно зачем... — сказал он.

— Непонятно! — упорствовала дама. — Слава богу, от коммунальных квартир избавились, а тут опять!

— Что — опять?

— Ваши дома коммуны. Коммунальный быт воскрешаем.

— Не говорите глупостей. Люди уходят от изолированных отдельных квартир не к коммунальным квартирам — даже я не знаю, что это такое, — а к домам коммунам! Вы их сейчас видели. А это уже новое качество быта!

Дама с вязаньем умолкла. Никто ее не поддержал. А на экране уже вздымались нефтяные вышки, отвоевывавая свинцово багровое небо у елей и лиственниц. «Мы с вами

в Третьем Баку, — продолжал диктор, — на только что освоенном новом участке Якутского нефтеносного района Сибири». Третье Баку! На моем веку я знал только два. Сколько же лет прошло? Я обращал этот же молчаливый вопрос и к хирургам в белых халатах, демонстрировавшим на экране бескровную операцию пучком нейтронных лучей, и к изобретателям состава для склеивания ран, и к самому диктору, появившемуся наконец перед зрителями. «В заключение я хочу напомнить вашим зрителям о дефицитных профессиях, в которых остро нуждается наше хозяйство. По прежнему требуются наладчики автоматических цехов, диспетчеры телеуправляемых шахт, операторы атомных электростанций, сборщики универсальных электронно счетных машин».

Голубой экран погас, и уже другой голос откуда то сверху подчеркнуто произнес: «Подъезжаем к Москве. Включаем предупредительные огни. Одновременно с зеленым светом будет включен эскалатор».

Над дверью впереди запрыгали красные огоньки. Потом они потемнели и стали синими. Затем их размыл и унес ярко зеленый свет. Вышедшие в проход пассажиры поплыли вперед вместе с полом. Поплыл и я, так и не заметив остановки вагона. Я и не увидел его снаружи. Эскалаторная дорожка, ускоряя движение, привела нас в вестибюль метро. Я не узнал его да, честно говоря, и не успел рассмотреть: мы пронеслись с быстротой ракеты, замедлив движение только у эскалаторных лестниц, которые и вынесли нас на перрон. «Где же кассы? — подумал я. — Неужели метро бесплатно?» Утвердительным ответом был поток пассажиров, хлынувший к открытым дверям подошедшего поезда.

Я вышел на площади Революции, которую узнал сразу: и под землей, где меня встретили знакомые бронзовые скульптуры в аркаде, и на земле, где уже издали сквозь зеленую сетку сквера глядели на меня желтые колонны Большого театра. И памятник Марксу стоял на том же месте, только вместо невзрачного «Гранд отеля» высилось гигантское белое здание, сверкавшее ребрами из нержавеющей стали, а вместо бокового крыла «Метрополя» уходила вправо перспектива шумной многоэтажной улицы. И пейзаж в движении показался мне давно знакомым, почти

не изменившимся. По прежнему по широким тротуарам так же неторопливо и часто струились многоцветные капельки человеческого потока, еще более расцвеченные высоким по летнему солнцем. А по асфальтовым каналам площади, огибая дома и скверы, завихрялся другой столь же пестрый автобусно автомобильный поток. Но присмотревшись внимательнее, я легко обнаружил различие. Другой покррой и другая расцветка одежды, другие линии и формы машин. Большинство их шло без колес, на воздушной подушке, напоминая лобастых китов или дельфинов, беззвучно плывущих в сиреневой дымке воздуха. «Сколько же лет прошло?» – снова спросил я себя и снова не мог ответить.

Перейти площадь было нельзя: чугунное кружево решетки вилось вдоль тротуара и только на остановках золотых сигарообразных автобусов открывало проходы на мостовую. Я пошел вниз, к Александровскому саду, миновал Исторический музей, заглянул в пролет Красной площади. Там все было привычно – и зубчатка древней стены, и часы на Спасской башне, строгий массив Мавзолея и архитектурное чудо Василия Блаженного. Но огромного здания гостиницы, которую у нас строили в Зарядье, не было видно вовсе. Только еще дальше, может быть на противоположном берегу Москвы реки, поднимались за храмом незнакомые высотные здания.

Я прошел в сад и присел на скамейку. И хотя город уже кипел своей полнокровной, стремительной жизнью, здесь в эти утренние часы, как и у нас, было почти безлюдно. По правде сказать, я растерялся. Куда и зачем идти? Где мой дом? Кто я? И что предстоит мне пережить в этот день моей новой жизни? Я нащупал в кармане бумажник, очень пухлый и плотный, из мягкого, прозрачного пластика. Уже сквозь него, не вынимая карточки, я прочел на ней мое имя, профессию и адрес. Я опять был служителем Гиппократы, чем то руководившим в хирургической клинике, и, должно быть, знаменитостью, потому что нашел в бумажнике поздравления от трех заграничных ученых обществ, присланные профессору Громову ко дню его шестидесятилетия.

Итак, двадцать лет спустя! Для меня – уже старость, для науки – «шаги саженьи». Д'Артаньяна, ехавшего на

встречу с Арамисом и Атосом, терзали сомнения: не горько ли будет увидеть состарившихся друзей? Сомнения его рассеялись, но рассеются ли мои? Я мысленно представил себе визит по адресу, обозначенному на карточке. Дверь, наверное, откроет Ольга, постаревшая на двадцать лет. А вдруг не Ольга? Усложнять ситуацию явно не хотелось. Я машинально перебрал пачку денежных купюр, лежавших в бумажнике. На один день в будущем наверняка хватит. Так что же делать? Может быть, просто пройти по улицам, объехать город, увидеть побольше, подышать в буквальном смысле воздухом будущего? Разве этого мало? Для Заргарьяна и Никодимова — увы! — мало! Какое материальное подтверждение я мог привести им из будущего? Пойти в Ленинскую библиотеку — она, конечно, существует и здесь, — порыться в каталогах, поинтересоваться тематикой научных журналов? Допустим, мне даже удастся найти что-нибудь близкое работам моих ученых друзей. Допустим. Но пойму ли я что-нибудь в статьях ученых восьмидесятих годов, если порой даже элементарные популяризаторские попытки Заргарьяна бессильны преодолеть мое математическое невежество. Выучить наизусть запись какой-нибудь формулы? Да я забуду ее тотчас же! А если их серия? А если мне встретятся совсем уже незнакомые математические символы? Нет, чушь зеленая — ничего не выйдет!

С такими мыслями я побрел на остановку такси. Впереди меня была только одна женщина; она, видимо, торопилась, то и дело поглядывая на ручные часы.

— Уже десять минут жду, и ни одной машины, — сказала она. — Конечно, на автобусе проще и бесплатно к тому же, но на автупре занятнее.

— На автупре? — переспросил я.

— Вы, наверно, приезжий, — улыбнулась она. — Так мы называем такси без водителя, с автоматическим управлением. Прелесть!

Но первый же автупр привел меня в содрогание. Что то дикое, противоестественное было в этой лобастой машине без колес и шофера, бесшумно подплывавшей к нам и выбросившей на остановке четыре паучьи ножки. Невидимка за рулем открыл дверь, пассажирка села и что то сказала в микрофон. Так же бесшумно исчезли ножки, закрылась

дверь, и машина скрылась за поворотом. Я долго и, должно быть, с глупым видом смотрел ей вслед, растерянно спрашивая себя: «А что ты скажешь в микрофон и как будешь рассчитываться, если не хватит мелочи?» Я уже подумывал о бегстве, как на остановке появился еще один пассажир. В его подчеркнутой худобе и седине с прочерною была какая то своеобразная элегантность, а тщательно подстриженная борода лопаткой придавала ему чуть чуть вызывающий вид.

— Спешу, — признался он, нетерпеливо оглядывая площадь. — Вон идет, кажется.

Лобастый автупр уже подплывал, подруливая к остановке.

— Охотно уступлю вам очередь, — сказал я. — Я не спешу.

— Зачем? Вместе поедem, если не возражаете. Сначала отвезем вас, потом меня.

В темных его глазах мелькнуло что то до жути знакомое. Тот же высокий, покатый, с зализами лоб, тот же взгляд, пронзительный и насмешливый. Только борода неузнаваемо изменяла лицо. Неужели же это он?

ПОСТАРЕВШИЙ ЗАРГАРЬЯН

Я еще раз придирчиво заглянул ему в глаза. Он. Мой Заргарьян, постаревший на двадцать лет.

Но я и виду не подал, что узнал его.

— Куда вам? — спросил он.

Я только пожал плечами. Не все ли равно, куда ехать человеку, двадцать лет не видевшему Москвы.

— Тогда поехали. Чур, не возражать — я гид. Кстати, где вы обедаете? Хотите в «Софии»? Вместе. Честно говоря, не люблю обедать один.

Он и к пятидесяти годам не утратил мальчишеской пылкости. И в роль гида вошел сразу и горячо.

— По улице Горького не поедem. Ее почти не перекраивали. Рванем по Пушкинской, совсем новая улица — не узнаете. Запрограммировано.

Он повторил это в микрофон, добавив, где свернуть и где остановиться. Такси, беззвучно захлопнув дверь, поплыло, огибая сквер.

— А как рассчитываетесь? — спросил я.

— Вот в эту копилочку. — Он показал на щель в панели под ветровым стеклом.

— А если мелочи нет?

— Побеспокою разменное устройство.

Такси уже свернуло на Пушкинскую, похожую на Пушкинскую моих дней, как Дворец Съездов на заводской клуб. Может быть, она была внешне иной и в шестидесятые годы — ведь подобие миров не предполагает их идентичности, — но сейчас она была иной и масштабно и качественно. Двадцатипятиэтажные взлеты стекла и пластика, не повторяя друг друга, вписывались в скалистый орнамент каньона, на дне которого кипел многоцветный автомобильный поток. Тротуары, как в торговом пассаже, тянулись в два этажа, соединяясь над улицей кружевными параболами мостов. Мосты связывали и дома, образуя дополнительные аллеи над улицей.

— Для велосипедистов, — пояснил Заргарьян, перехватив мой взгляд. — Там же бассейны и площадки для вертолетов.

Он добросовестно играл роль гида, с удовольствием смакуя мое удивление. А лобастый наш дельфин тем временем пересек бульвар, пролетел столь же неузнаваемую улицу Чехова и подрулил по Садовой к небоскребу «Софии». Ни площади, ни ресторана я не узнал. Маяковский, будто изваянный из бронзового стекла, так и блистал на солнце, вздымаясь над площадью выше лондонской колонны Нельсона. Сверкал и параллелепипед ресторана «София», играя отраженным солнечным светом, как сплав хрусталя с золотом. Ресторанный зал поражал и внутри. Привычно белые столики под старомодно крахмальными скатертями соседствовали со странными геометрическими фигурами, похожими на шатры из дождя и аргоновых нитей.

— Что это? — оторопел я.

Заргарьян улыбнулся, как фокусник, предвкушая еще больший эффект.

— Сейчас увидите. Сядем.

Мы сели за один из привычно крахмальных столиков.

— Хотите стать невидимым и неслышимым для окружающих?

Он что то тронул, подняв уголок скатерти, и зал исчез. Нас отделял от него шатер из дождя, без влаги и сырости. В дождь вполетались светящиеся нити без стекла и проводки. Нас окружала благоговейная тишина пустого собора.

— А выйти можно?

— Так это же воздух, только непрозрачный. Светозвукотектор. У нас в лаборатории мы применяем черный. Абсолютная темнота.

— Я знаю, — сказал я.

Теперь удивился он, подслушав в моем ответе что то для себя новое.

Мне надоело играть в загадки.

— Вы Заргарьян? Рубен Захарович? — спросил я, уже совершенно уверенный в том, что не ошибаюсь.

— Узнали, — усмехнулся он. — Значит, и борода не помогла?

— Я по глазам вас узнал.

— По глазам? — опять удивился он. — На газетных и журнальных портретах глаза хорошо не выходят. А где же вы меня еще видели? В кино?

— Вы по прежнему занимаетесь физикой биополя? — начал я осторожно. — Тогда не удивляйтесь тому, что сейчас услышите. Я вам сказал неправду о том, что двадцать лет не был в Москве. Я вообще не был в этой Москве. Никогда. — Я помедлил немного, ожидая его реакции, но он молчал, продолжая рассматривать меня с возрастающим интересом. — Мало того, я не то лицо, которое вы сейчас видите. Я фантом в его оболочке, гость из другого мира. Явление вам, вероятно, хорошо знакомое.

— Вы читали мои работы? — спросил он недоверчиво.

— Нет, конечно. У нас вы их еще не опубликовали. Ведь наше время отстает от вашего лет на двадцать.

Заргарьян вскочил:

— Позвольте, только теперь я вас понял. Значит, вы из другой фазы. Вы это хотите сказать?

— Именно.

Он помолчал, поморгал глазами, отступил на шаг. Светящаяся пелена дождя наполовину скрыла его, комически срезав часть затылка, спины и ног. Потом он снова выныр-

нул и сел против меня, с трудом сдерживая волнение. Лицо его словно засветилось изнутри, и в этом свечении были и сокрушающее удивление человека, впервые увидевшего чудо, и радость ученого, что это чудо совершается в его присутствии, и счастье ученого, могущего управлять такими чудесами.

— Кто вы? — наконец спросил он. — Имя, специальность?

Я засмеялся.

— Чудно как то говорить от имени двух человек, но приходится. Имя одно и здесь и там. Звание: профессор — это здесь, а там без званий, можно сказать, рядовая личность. И специальности разные: здесь — медик, хирург, видимо, а там — журналист, газетчик. Да еще там я моложе на двадцать лет. Как и вы.

— Любопытно, — сказал Заргарьян, все еще оглядывая меня с интересом. — Все мог ожидать, только не это. Сам отправлял людей за пределы нашего мира, но чтобы здесь такого гостя встретить — об этом и не мечтал. И дурак, конечно. Ведь материя едина по всей фазовой траектории. Я здесь, и я там, вот и засылаем друг к другу гостей. — Он засмеялся и вдруг спросил совсем с другой интонацией: — А кто ставил опыт?

— Никодимов и Заргарьян, — лукаво ответил я, готовый к новому взрыву удивления.

Но он только спросил:

— Какой Никодимов?

Теперь удивился я:

— Павел Никитич. Разве это не его открытие? Разве вы не с ним работаете?

— Павел умер одиннадцать лет назад, так и не добившись признания при жизни. Фактически это его открытие. Я пришел к нему другими путями, как психофизиолог. (Мне слышалась затаенная горечь в его словах.) К сожалению, первые успехи с биополем пришли уже после. Мы ставили опыты с его сыном.

Я даже не знал, что у Никодимова был сын. Впрочем, возможно, он был только здесь.

— А вы счастливее нас, — задумчиво произнес Заргарьян, — начали то раньше. Через двадцать лет вы добьетесь гораздо большего. Это ваш первый опыт?

— Третий. Сперва я побывал рядом, совсем в подобных мирах. Потом подальше — в прошлом. А сейчас еще дальше — у вас.

— Что значит «ближе» или «дальше»? «Рядом», — саркастически повторил он. — Какая то наивная терминология!

— Я полагаю, — замялся я, — что миры, или, как вы говорите, фазы, с иным течением времени находятся... дальше от нас, чем совпадающие...

Он откровенно рассмеялся:

— «Ближе, дальше»!.. Это они вам так объясняют? Дети.

Я обиделся за моих друзей. И вообще мой Заргарьян мне нравился больше.

— А разве четвертое измерение не имеет своей протяженности? — спросил я. — Разве теория бесконечной множественности его фаз ошибочна?

— Почему четвертое? — знакомо закипел Заргарьян. — А вдруг пятое? Или шестое? Наша теория не определяет его очередности или направления в пространстве. И кто вам сказал, что она ошибочна? Она ограничена, и только. Слова «бесконечная множественность» просто нельзя понимать буквально. Так же, как и бесконечность пространства. Уже вашим современникам это было известно. Уже тогда релятивистская космология исключала абсолютное противопоставление конечности и бесконечности пространства. Поймите простую вещь: конечное и бесконечное не исключают друг друга, а внутренне связаны. Свя за ны! — скандируя, повторил он и усмехнулся, заглянув в мои пустые глаза. — Что, сложно? Вот так же сложно объяснить вам, что здесь «ближе» и что «дальше». Я могу переместить ваше биополе в смежный мир, опередивший нас на столетие, но где он находится, близко или далеко, геометрически определить не смогу. — Он вдруг дернулся и замер, словно его веселый бег мысли что то оборвало или остановило.

Секунду другую мы оба молчали.

— А ведь это идея! — воскликнул он.

— Вы о чем?

— О вас. Хотите прыгнуть в будущее еще дальше?

— Не понимаю.

— Сейчас поймете. Я усложняю ваш опыт. Вы едете со мной в лабораторию, я отключаю ваше биополе и перевожу его в другую фазу. Что скажете?

— Пока ничего. Обдумываю.

— Бойтесь? А риск все тот же. И там вам сорок, а не шестьдесят, сердце в порядке, иначе бы не рисковали. Я бы с наслаждением поменялся с вами, да не гожусь. Знаете, как трудно найти мозг индуктор с таким напряжением поля?

— Вы же нашли.

— Трех за десять лет. Вы четвертый. И считайте, что вам повезло. Обещаю экскурсию поинтереснее полета на Марс. Подыщу вам потомка в пятом колене с таким же полем. Скачок лет на сто, а? Ну что... Что вас смущает?

— Мое биополе. Вдруг они его потеряют?

— Не потеряют. Я сначала верну вас обратно. Минуточку даже поприсутствуете в своем времени и пространстве, а потом очнетесь в другом. Не бойтесь, ни взрыва не будет, ни извержения, ни излучения. А ваша аппаратура зафиксирует все, что надо. Ну как, летим?

Он поднялся.

— А обед?

— Потом пообедаем. Мы — здесь, вы — в будущем.

Я подумал, что терять мне, в сущности, нечего.

— Летим, — сказал я и тоже встал.

ЦЕЙТНОТ

Я, повторив слова Заргарьяна, даже не подозревал, что мы именно полетим. Сначала мы поднялись на скоростном лифте на крышу, где приземлялись маршрутные такси вертолеты, а через две три минуты уже парили над Москвой, направляясь на Юго Запад.

Панораму Москвы конца века я не забуду до самой смерти. Я все время твердил себе, что это не моя Москва, не та, в которой я родился и вырос и которую отделяют от этой незримые границы пространства — времени и двадцать лет великой преобразующей стройки. Я упрямо внушал себе это, а глаза убеждали в другом. Ведь и у нас, в моем мире, шла та же стройка в том же темпе и направлении, те же силы ее вдохновляли, ту же цель преследова-

ли. Значит, и у нас к концу третьей пятилетки подымется такой же красавец город, может быть, даже еще красивее.

Будто волшебник с киноаппаратом воспроизводил передо мной удивительную картину будущего. Я жадно всматривался, ища памятные детали, и радовался, как мальчишка, узнавая старое в новом, знакомое, но изменившееся, как изменяется юноша, достигший расцвета лет. Все знакомое сразу бросалось в глаза — Дворец Съездов, золотые луковицы кремлевских соборов, мосты через Москва реку, Большой театр, такой игрушечный сверху, Лужники, университет. Другие высотные здания моих дней терялись в многоэтажном каменном лесу, а может быть, их и не было. Город выплеснулся далеко за линию кольцевой автомобильной дороги, — она пролетала на месте нашей, во всяком случае едва ли с большими отклонениями, но она была шире или казалась шире, и машины, как муравьи, ползли по ней такой же широкой, редко утончавшейся ленточкой.

Больше всего поражали эти масштабы и краски городского уличного движения. Радужные автомобильные реки улицы и ручьи переулки. Велосипеды и мотоциклы на асфальтовых аллеях, пересекавших город по крышам домов. Вагоны сороконожки, догонявшие друг друга по ниточкам монорельсовых эстакадных дорог. А над ними порхавшие от площадки к площадке черно желтые и сине белые стрелы вертолеты.

На одной из таких площадок на крыше огромного, высоченного дома мы и сошли. Самый дом я не успел рассмотреть на подлете, а первое, что бросилось мне в глаза на плоской его крыше, окаймленной высокой металлической сеткой, был широкий пятидесятиметровый бассейн с прозрачной, подсвеченной со дна зеленоватым мерцанием очень чистой водой. Вокруг теснились шезлонги, резиновые маты, палатки, буфет под туго натянутым парусиновым тентом.

— Обеденный перерыв, — сказал Заргарьян, поискав глазами среди купальщиков и сидевших в буфете полуобнаженных людей в плавках и купальных костюмах. — Сейчас мы его найдем. Игорь! — вдруг закричал он.

Загорелый атлет в темных, защитных очках, игравший поодаль на теннисном корте, подошел к нам с ракеткой.

— Ктонибудь есть в лаборатории? — спросил Заргарьян.

— А зачем? — лениво отозвался атлет. — Они все в шестом секторе.

— Установка не обесточена?

— Нет. А что?

— Познакомься с профессором для начала.

— Никодимов, — сказал атлет и снял очки.

Он совсем не походил на длинноволосого Фауста.

— Чтонибудь случилось? — спросил он.

— Нечто непредвиденное и любопытное. Сейчас узнаешь, — не без торжественности произнес Заргарьян.

Человек с юмором, несомненно, нашел бы что то общее в этой ситуации с моим первым визитом в лабораторию Фауста. Даже кнопку нажал Заргарьян с той же лукавой многозначительностью, и так же включился эскалатор — тогда коридор у входа в лабораторные помещения, сейчас лестница, ведущая с крыши в те же лаборатории. Она плавно поползла вниз, пощелкивая на поворотах.

— Вы разрешите, — улыбнулся он мне, — я объясню все этому ребенку на арго биофизиков. Это будет и точнее, и короче.

Я тщетно пытался понять что либо в нагромождении незнакомых мне терминов, цифр и греческих букв. Лексика моего Заргарьяна, даже когда он увлекался и забывал о моем присутствии, так не подавляла меня: я что то в ней уяснял. Но молодой Никодимов схватывал все на лету и поглядывал на меня с нескрываемым любопытством. Он уже не казался мне тяжеловесом и тяжелодумом; я даже подивился легкости, с какой он ринулся в уже знакомую мне «путаницу штепселей, рычагов и ручек».

Впрочем, честно говоря, не так уж знакомую. Все в этом двухсветном зале было крупнее, масштабнее, сложнее, чем в оставшейся где то в другом пространстве — времени чистенькой лаборатории. Если ту хотя бы приблизительно можно было сравнить с кабинетом врача, то эта напоминала зал управления большого автоматического завода. Только мигающие контрольные лампочки, телевизорные экраны, бессистемно висящие провода да кресло в центре зала в чем то повторяли друг друга. Впрочем, не больше, пожалуй, чем новый «Москвич» старую «эмку». Я

обратил внимание на расположение стекловидных экранов: они выстроились параболой вдоль загибающейся по залу панели, похожей на контрольную панель электронно счетной машины. Подвижной пульт управления мог, по видимому, скользить вдоль линии экранов в зависимости от намерений наблюдателя. А наблюдать их можно было с интересом: даже в их теперешнем, нерабочем, состоянии они то поблескивали, то гасли, то мерцали, отражая какое то внутреннее свечение, то слепо стыли в холодной свинцовой матовости.

— Что, не похоже? — засмеялся Заргарьян. — А что именно?

— Экраны, — сказал я. — У нас они иначе расположены. И шлема нет. — Я указал на кресло.

Шлема действительно не было. И датчиков не было. Я сидел в кресле, как в гостиной, пока Заргарьян не сказал:

— Если сравнить вашу эпопею с шахматной партией, вы в цейтноте. Дебют вы разыграли у себя в пространстве. В нашем мире у вас начался миттельшпиль. Причем без всякой надежды на выигрыш. Вы сразу поняли, что никаких сувениров, кроме беспорядочных впечатлений, с собой не привезете. Иначе говоря, еще одна неудача. Сколько раз мы с Игорем были в таком положении! Сколько бессонных ночей, ошибочных расчетов, неоправданных надежд, пока не нашелся наконец мозг индуктор с математическим развитием. Привез в памяти формулу — так даже академики ахнули! Теперь она известна как уравнение Яновского и применяется при расчетах сложнейших космических трасс. К великому сожалению, ваша память тут вам не поможет. И вот появляется спасительный вариант: вы встречаете меня. Загорается свечечка надежды, тоненькая свечечка, но загорается. Тут торопиться надо, еще эндшпиль предстоит, а вы в цейтноте, дружище. Все мы в цейтноте. Напряжение поля на пределе, вот вот начнет падать — и бенц! Одиссей возвращается на Итаку. Игорь! — крикнул он. — Закругляйтесь, пора! — Тут он вздохнул и добавил каким то погасшим голосом: — Пора прощаться, Сергей Николаевич. Доброго пути! На другую встречу, пожалуй, нам уж рассчитывать нечего.

Только теперь дошел до меня жуткий смысл происходящего. Прыжок через столетие! Не просто в смежный

мир, а в мир совсем иных вещей, иных машин, иных привычек и отношений. На несколько часов, может быть на сутки, Гайд завладеет душой Джекиля, но обманет ли он окружающих, если захочет остаться инкогнито? Его скроет лицо Джекиля, костюм Джекиля, но выдаст язык, строй мыслей и чувств, условные рефлексy, незнакомые тому миру. Не слишком ли велик риск прыжка, вскруживший мне голову?

Но я ничего не сказал Заргарьяну, не выдал внезапных своих опасений, даже не вздрогнул, когда он дал команду включить протектор. Темнота, как и раньше, окружила меня. Темнота и тишина, сквозь которую, как будто изда- лека, точно в густом и сыром тумане, пробивались едва слышные голоса, тоже знакомые, но почти забытые, слов- но их отделяла от меня уже преодоленная в прыжке сотня лет.

— Ничего не понимаю. Как у тебя?

— Исчезло. Что то пробивается, но изображения нет.

— А на шестом есть. Только светимость ослаблена. Ты понимаешь что нибудь?

— Есть соображения. Опять вне фазы. Как и тогда.

— Но мы же не зарегистрировали шока.

— Мы и тогда не регистрировали.

— Тогда энцефалографы записали сон. Фаза парадок- сального сна. Помнишь?

— По моему, сейчас другое. Обрати внимание на чет- вертый. Кривые пульсируют.

— Может, усилить?

— Подождем.

— Боишься?

— Пока нет оснований. Проверь дыхание.

— Прежнее.

— Пульс?

— Тот же. И давление не повышено. Может быть, из- менение биохимических процессов?

— Так нет же показаний. У меня впечатление вмеша- тельства извне. Или сопротивление рецептора, или искус- ственное торможение.

— Фантастика.

— Не знаю. Подождем.

— Я и так жду. Хотя...

- Смотри! Смотри!
- Не понимаю. Откуда это?
- А ты не гадай. Как отражение?
- В той же фазе.
- В той ли?

И вновь тишина, как тина, поглотила все звуки. Я уже ничего не слышал, не видел и не чувствовал.

ПРЫЖОК ЧЕРЕЗ СТОЛЕТИЕ

Переход от тьмы к свету сопровождался странным состоянием покоя. Как будто я плавал в прозрачном холодноватом масле или пребывал в состоянии невесомости в молочно белом пространстве. Тишина сурдокамеры окружала меня. Ни дверей, ни окон не было — свет исходил ниоткуда, неяркий, теплый, будто солнечный свет в облаках. Снежное облако потолка незримо переходило в облачную кипень стен. Белизна постели растворялась в белизне комнаты. Я не чувствовал прикосновения ни одеяла, ни простыни, словно они были сотканы из воздуха, как платье андерсеновского голого короля.

Постепенно я начал различать окружавшие меня вещи. Вдруг вырисовывался экран с белым кожухом позади, сначала совсем невидный, а если присмотреться — принимавший вид металлического листа, зеркально отражавшего белую стену, постель и меня. Он был обращен ко мне, как чей то глаз или ухо, и, казалось, подслушивал и подглядывал каждое мое движение или намерение. Как подтвердилось позже, я не ошибся.

Возле постели плавала плоская белая подушка с мелкой, зернистой поверхностью. Когда я дотронулся до нее, она оказалась сиденьем стула на трех ножках из незнакомого мне плотного прозрачного пластика. Еще я заметил такой же стол и что то вроде термометра или барометра под стекловидным колпаком — видимо, прибор, регистрирующий какие то изменения в воздухе.

Снежная белизна кругом рождала ощущение покоя, но во мне уже нарастали тревога и любопытство, Отбросив невесомое одеяло, я сел. Белье на мне напоминало егерское: оно так же обтягивало тело, но кожа не ощущала его

прикосновения. Я взглянул на экран и вздрогнул: в тусклой зеркальности его возник смутный облик человека, сидевшего на постели. Он совсем не походил на меня, казался выше, моложе и атлетичнее.

— Можете встать и пройтись вперед и назад, — сказал женский голос.

Я невольно оглянулся, хотя и понимал, что в комнате никого не увижу. «Ничему не удивляйся, ничему!» — так приказал я себе и послушно прошел до стены и обратно.

— Еще раз, — сказал голос.

Я повторил упражнение, догадываясь, что кто то и как то за мной наблюдает.

— Поднимите руки.

Я повиновался.

— Опустите. Еще раз. Теперь присядьте. Встаньте.

Я честно проделал все, что от меня требовали, не задавая никаких вопросов.

— Ну, а теперь ложитесь.

— Я не хочу. Зачем? — сказал я.

— Еще одна проверка в состоянии покоя.

Непонятная мне сила легко опрокинула меня на подушку, и руки сами натянули одеяло. Интересно, как добился этого мой невидимый наблюдатель? Механически или внушением? Бесенок протеста во мне бурно рвался наружу.

— Где я?

— У себя дома.

— Но это какая то больничная палата.

— Как вы смешно сказали: па ла та, — повторил голос. — Обыкновенная витализационная камера. Мы ее оборудовали у вас дома.

— Кто это «мы»?

— Цемс. Тридцать второй район.

— Цемс? — не понял я.

— Центральная медицинская служба. Вы и это забыли?

Я промолчал. Что можно было на это ответить?

— Частичная послешоковая потеря памяти, — пояснил голос. — Вы не старайтесь обязательно вспомнить. Не напрягайтесь. Вы спрашивайте.

— Я и спрашиваю, — согласился я. — Кто вы, например?

— Дежурный куратор. Вера седьмая.

— Что? — удивился я. — Почему седьмая?

— Опять смешно спрашиваете: «Почему седьмая?» Потому что, кроме меня, в секторе есть Вера первая, вторая и так далее.

— А фамилия?

— Я еще не сделала ничего выдающегося.

Спрашивать дальше было опасно. Начинался явно рискованный поворот.

— А вы можете показаться? — спросил я.

— Это необязательно.

Наверное, противная, злая старуха. Педантичная и придирчивая.

Послышался смех. И голос сказал:

— Придирчивая — это верно. Педантичная? Пожалуй.

— Вы и мысли читаете? — растерялся я.

— Не я, а когитатор. Специальная установка.

Я не ответил, мысленно прикидывая, как обмануть эту чертову установку.

— Не обманете, — сказал голос.

— Это непорядочно.

— Что?

— Не по ря дочно! — рассердился я. — Некрасиво! Нечестно! Подглядывать и подслушивать нечестно, а в черепную коробку к человеку лезть и совсем подло.

Голос помолчал, потом произнес строго и укоризненно:

— Первый больной в моей практике, возражающий против когитатора. Мы же не подключаем его к здоровому человеку. А у больного просматриваем все: нейросистему, сердечно сосудистую, дыхательный аппарат, все функции организма.

— Зачем? Я здоров как бык.

— Обычно наблюдатели не встречаются с больными, но мне разрешили.

Теперь я уже видел, кому принадлежал голос. Отражающая поверхность экрана потемнела, как вода в омуте, и растаяла. На меня смотрело лицо молодой женщины в белом, с короткой волнистой стрижкой.

— Можете спрашивать — память вернется, — сказала она.

— А что со мной?

— Вам сделали операцию. Пересадка сердца. После катастрофы. Вспоминаете?

— Вспоминаю, — сказал я. — Из пластмассы?

— Что?

— Сердце, конечно. Или металлическое?

Она засмеялась с чувством превосходства учительницы, внимающей глупому ответу ученика.

— Не зря говорят, что вы живете в двадцатом веке.

Я испугался. Неужели им уже все известно? А может быть, так и лучше: ничего не надо объяснять, незачем притворяться. Но я на всякий случай спросил:

— Почему?

— А разве не так? Искусственное сердце применялось давным давно. Мы заменили его органическим, выращенным в специальных средах. А вы мыслите категориями двадцатого века, как и полагается специалисту историку. Говорят, вы знаете все о двадцатом веке. Даже какие туфли носили.

— На гвоздиках, — засмеялся я.

— Что, что?

— На гвоздиках.

— Не понимаю.

Я вздохнул. Распространеннейшее, столетия бытовавшее слово, дожившее до ядерной физики, уже исчезло из словаря двадцать первого века. Интересно, чем они заменили гвозди? Клеем?

— Вот что, милая девушка... — начал я.

Но она со смехом меня перебила:

— Это так в том веке говорили — «милая девушка»?

— Вот именно, — сурово подтвердил я. — Мне надое-
ло лежать, я хочу одеться и выйти.

Она нахмурилась.

— Одеться вы можете, платье вам будет доставлено. Но выйти пока нельзя. Процесс обсервации еще не закончен. Тем более после шока с потерей памяти. Мы еще проверим ваш организм в привычных для вас нейрофункциях.

— Здесь?

— Конечно. Вы получите вашего «механического историка». Причем лучшую, последнюю его модель. Без

кнопочного управления. Настройка автоматическая, на ваш голос.

— А вы будете подглядывать и подслушивать?

— Обязательно.

— Не пойдет, — сказал я. — Не буду же я при вас одеваться и работать.

Веселое удивление отразилось в ее глазах. Она с трудом сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Спросила, прикрыв рот:

— Это почему же?

— Потому что я живу в двадцатом веке, — отрезал я.

— Хорошо, — согласилась она. — Я выключу видеореграф. Но внутриорганические процессы останутся под наблюдением.

— Ладно, — сказал я. — Хоть вы и седьмая, но уменькая.

Она опять не поняла, но я только рукой махнул. Чехова она явно не читала или не помнила. А миленькая рожица ее на экране уже исчезла. Исчезла вдруг и часть стены, пропустив в комнату что то похожее на радиатор из переплетенных прямоугольных трубок. «Что то» оказалось обыкновенной вешалкой, на которой с удобством разместилась моя предполагаемая одежда.

Я выбрал узкие светлые брюки, закрепленные внизу, как у наших гимнастов, и такой же свитер, напомнивший мне знакомую вестсайдку. В зеркальном пространстве экрана отразилось нечто мало похожее на меня, но вполне респектабельное и не оскорбляющее глаз. Не в белье же встречать людей нового века! Я обернулся на шум позади меня, словно кто то вошел на цыпочках. Но это был не человек, а нечто отдаленно напоминавшее плоский холодильник или несгораемый шкаф. И вошло оно непонятно как, будто возникнув из воздуха вместо исчезнувшей вешалки. Вошло и замерло, мигнув зеленым глазком индикатора.

— Интересно, — сказал я вслух, — должно быть, это и есть мой «механический историк»?

Зеленый глазок побагровел.

— Сокращенно «Мист 12», — сказал шкаф ровным, глухим, лишенным интонационного богатства голосом. — Я вас слушаю.

ГЛОССАРИЙ «МИСТА»

Я долго молчал, прежде чем начать разговор. Девушке я поверил: ни подсматривать, ни подслушивать она не будет. Но о чем говорить с этим механическим циклопом? Не светский же разговор вести.

— Каков объем твоей информации? — спросил я осторожно.

— Энциклопедический, — ответил он немедленно. — Более миллиона справок. Могу назвать точную цифру.

— Не надо. Предмет справок?

— Предел глоссария — двадцатый век. Характер справок неограничен.

Мне захотелось его проверить:

— Назови мне имя и фамилию третьего космонавта.

— Андриян Николаев.

И то и другое совпадало. Я подумал и спросил опять:

— Кто получил Нобелевскую премию по литературе в тысяча девятьсот шестьдесят четвертом году?

— Сартр. Но он отказался от премии.

— А кто это Сартр?

— Французский писатель и философ экзистенциалист. Могу сформулировать сущность экзистенциализма.

— Не надо. Когда была построена Асуанская плотина?

— Первая очередь закончена в шестьдесят девятом году. Вторая...

— Хватит, — перебил я, с удовлетворением подумав, что у нас она была построена на пять лет раньше. Не все, очевидно, до буквочки совпадало у нас с этим миром.

«Мист» молчал. Он знал многое. Я мог начать разговор на самую для меня важную тему нашего опыта. Но подойти прямо к ней я все таки не решился.

— Назови крупнейшее из научных открытий в начале века, — начал я осторожно.

Он отвечал без запинки:

— Теория относительности.

— А в конце века?

— Учение Никодимова — Яновского о фазовой траектории пространства.

Я чуть не подскочил на месте, готовый расцеловать этот многоуважаемый шкаф с мигающим глазом, — он подмигивал мне всякий раз, когда отчеканивал свой ответ. Но я только спросил:

— Почему Яновского, а не Заргарьяна?

— В конце восьмидесятых годов польский математик Яновский внес дополнительные коррективы к теории. Заргарьян же принимал участие только в начальных опытах. Он погиб в автомобильной катастрофе задолго до того, как удача первого миропроходца позволила Никодимову обнародовать открытие.

Я понимал, конечно, что это был не мой Заргарьян, а сердце все таки защемило. Но кто же был этот первый миропроходец?

— Сергей Громов, ваш прадед, — отчеканил «Мист» своим глуховатым металлическим голосом.

Он не удивился нелепости моего вопроса — кто кто, а потомок уж должен был бы знать все о делах своего предка. Но в кристаллах кибернетического мозга «Миста» удивление не было запрограммировано.

— Нужна справочная библиография? — спросил он.

— Нет, — сказал я и присел на постель, сжимая виски руками.

Невидимая мне Вера седьмая меня, однако, не забывала.

— У вас участился пульс, — сказала она.

— Возможно.

— Я включу видеограф.

— Погодите, — остановил я ее. — Я очень заинтересован работой с «Мистом». Это удивительная машина. Спасибо вам за нее.

«Мист» ждал. Багровый глаз его снова позеленел.

— Были научные противники у Никодимова? — спросил я.

— Были они и у Эйнштейна, — сказал «Мист». — Кто же их принимает в расчет?

— А к чему сводились их возражения?

— Теорию полностью отвергли церковники. Всемирный съезд церковных организаций в восьмидесятом году в Брюсселе рассматривал ее как самую вредную ересь за последние две тысячи лет. Тремя годами раньше особая папская энциклика объявила ее кощунственным извращением учения о

Христе, сыне божьем, возвратом к доктрине языческого многобожия. Столько Христов – сколько миров. Этого не могли стерпеть ни епископы, ни патриархи. А видный католический ученый, итальянский физиолог Пирелли назвал теорию фаз самым действенным по своей антирелигиозной направленности научным открытием века, абсолютно несовместимым с идеей единобожия. Совместить здесь кое что, правда, все же пытались. Американский философ Хеллман, например, объяснял берклианскую «вещь в себе», как фазовое движение материи.

— Бред сивой кобылы, — сказал я.

— Не понимаю, — отозвался «Мист». — Кобыла – это половая характеристика лошади. Сивый – серый. Бред – бессвязная речь. Сумасшествие лошади? Нет, не понимаю.

— Просто языковой идиом. Приблизительный смысл: нелепица, чушь.

— Программирую, — сказал «Мист». — Поправка Громова к русской идиоматике.

— Ладно, — остановил я его, — расскажи лучше о фазах. Все ли они подобны?

— Марксистская наука утверждает, что все. Опытным путем удалось доказать подобие многих. Теоретически это относится ко всем.

— А были возражения?

— Конечно. Противники материалистического понимания истории настаивали на необязательности такого подобия. Они исходили из случайностей в жизни человека и общества. Не будь крестовых походов, говорили они, история средневековья сложилась бы по другому. Без Наполеона иной была бы карта новейшей Европы. А отсутствие Гитлера в политической жизни Германии не привело бы мир ко второй мировой войне. Все это давно уже опровергнуто. Исторические и социальные процессы не зависят от случайностей, изменяющих те или иные индивидуальные судьбы. Такие процессы подчинены общим для всех законам исторического развития.

Я вспомнил свой спор с Кленовым и свой же вопрос:

— Но ведь возможна такая случайность: Гитлера нет, не родился. Что тогда?

И «Мист» почти дословно повторил Кленова:

— Появился другой фюрер. Чуть раньше, чуть позже, но появился. Ведь решающим фактором была не личность, а экономическая конъюнктура тридцатых годов. Объективная случайность появления такой личности подчинена законам исторической необходимости.

— Значит, везде одно и то же? Во всех фазах, во всех мирах? Одни и те же исторические фигуры? Одни и те же походы, войны, революции? Одна и та же смена общественных формаций?

— Везде. Разница только во времени, а не в развитии. Смены общественно экономических формаций в любой фазе однородны. Они диктуются развитием производительных сил.

— Так думали в прошлом веке, а сейчас?

— Не знаю. Это не запрограммировано. Но я вероятностная машина и могу делать выводы независимо от программы. Законы диалектического материализма остаются верными не только для прошлого.

— Еще вопрос, «Мист». Велико ли по объему математическое выражение теории фаз?

— Оно включает общие формулы, расчеты Яновского и систему уравнений Шуаля. Три страницы учебника. Я могу воспроизвести их.

— Только устно?

— И графически.

— Долго?

— В пределах минуты.

Послышался легкий шум, похожий на жужжание электрической бритвы, и передняя панель машины откинулась наподобие полочки с металлическими держателями. На полочке белели два аккуратных картонных прямоугольника, мелко испещренные какими то значками и цифрами. Когда я взял их, панель захлопнулась, и так плотно, что даже линия соединения исчезла.

Позади меня раздался тоненький детский голос:

— Я здесь, пап. Ты не сердишься?

Я обернулся. Мальчик лет шести семи в голубом, как небо, обтягивающем тело костюмчике стоял у глухой белой стены. Он был похож на картинки из детских модных журналов, где всегда рисуют таких красивых спортивных мальчиков.

ПРАВО ОТЦА

— Как ты вошел? — спросил я.

Он шагнул назад и исчез. Стена, по прежнему ровная и белая, падала вниз. Потом из нее высунулась лукавая мордочка, и мальчишка, как «человек, проходящий сквозь стены», вновь возник в комнате.

«Светозвукопротектор», — вспомнил я. Здесь применяли белый, создающий полную иллюзию стен.

— Я тайком, — признался мальчишка, — мама не видела, а Вера глаз выключила.

— Откуда ты знаешь?

— А глаз сюда через гимнастический зал смотрит. Как побегаешь там, она кричит: «Уйди, Рэм! Ты опять в поле зрения».

— Где кричит?

— Далеко. В больнице. — Он махнул куда то рукой.

Я не сказал «понятно», потому что понятно не было.

— А Юля плакала, — сообщил Рэм.

— Почему же она плакала?

— Из за тебя. Ты опыт не разрешаешь. Ты злой, папка. Так нельзя.

— Какой же это опыт? — полюбопытствовал я.

— Ее в облачко невидимку превратят. Как в сказке. Облачко полетит полетит и вернется. И опять станет Юлькой.

— А я не позволяю?

— Не позволяешь. Боишься, что облачко не вернется.

Теперь я уже совсем заблудился. Как в лесу. Выручила Вера, снова напомнив мне о пульсе.

— Верочка, — взмолился я, — объясните, почему я не разрешаю Юльке стать невидимкой? Все память проклятая!

Я услышал знакомый смех.

— Как вы непонятно говорите: про кля тая... Смешно. А с Юлей вы сами должны решить — ваше семейное дело. Именно поэтому к вам рвется Аглая. Я не позволила ей: боюсь, это вас взволнует. Но она настаивает.

— Давайте, — сказал я, — постараюсь не волноваться.

Кто эта Аглая, я спросить не рискнул. Как нибудь выкручусь. Посмотрел на место исчезнувшего Рэма, но Аглая появ-

вилась с другой стороны. Вошла она, как хозяйка и села против меня — рослая, едва ли сорокалетняя женщина в платье загадочного покроя и цвета. Она была бы вполне уместна у нас в президиуме какогонибудь международного фестиваля.

— Ты хорошо выглядишь, — проговорила она, внимательно меня оглядывая. — Даже лучше, чем до операции. А с новым сердцем еще сто лет проживешь.

— А вдруг не приживется? — сказал я.

— Почему? Биологическая несовместимость пугала только в твоём любимом веке.

Я неопределенно пожал плечами, предоставляя ей слово. Начиналась игра в сюрпризы. Кто она вообще? Кто она мне? Кто я ей? Что от меня требовалось? Почва становилась зыбкой, каждый шаг вызвал к находчивости и сообразительности.

Разговор начался сразу и с неожиданного:

— Значит, ты согласился?

— На что?

— Как будто не знаешь. Я говорила с Анной.

— О чем?

— Не притворяйся. Все о том же. Ты согласился на эксперимент.

Какой эксперимент? Кто эта Анна? И почему я должен был соглашаться или не соглашаться?

— Тебя заставили?

— Кто?

— Не говори. Ребенок поймет. Человек после такой операции! Еле пришел в себя. Новое сердце! Склеенные сосуды! А к нему с ультиматумом: соглашайся, и все!

— Не надо преувеличивать, — сказал я осторожно.

— Я не преувеличиваю. Я точно знаю. Анна поддерживает эту затею не из высоких соображений. Просто у нее нет биологических стимулов: Юлия не ее дочь. Но она твоя дочь! И моя внучка.

Я подумал о том, что и отец и бабушка, пожалуй, слишком молоды для взрослой дочери, затеявшей какой-то сложный научный эксперимент. Я вспомнил сказку Рэма и улыбнулся.

— И он еще улыбается! — воскликнула моя собеседница.

Пришлось пересказать ей сказку о невидимке облачке в интерпретации Рэма.

— Значит, Анна не сказала ей. Умно. Теперь ты можешь взять согласие назад.

— Зачем?

— И ты допустишь, чтобы твою дочь превратили в какое то облако? А если оно растает? Если атомная структура не восстановится? Пусть Богомоллов сам экспериментирует! Его открытие — на себе и применяй! Ему, видите ли, не разрешают: стар, мол, и немощен. А нам с тобой легче от того, что она молода и здорова? — Аглая прошла по комнате, как Брунгильда в гневе. — Я тебя не узнаю, Сергей. Так яростно был против...

— Но ведь согласился, — возразил я.

— Не верю я в это согласие! — закричала она. — И Юлия об этом не знает. Скажи ей — она сейчас придет сюда — пусть отменяют опыт. Человек не единственный хозяин своей жизни, пока у него есть отец или мать.

У меня мелькнула надежда: может быть, опыт еще не скоро?

— Сегодня.

Я задумался. Юльке, очевидно, около двадцати; может, чуть меньше; может быть, больше. Она ассистент профессора или что то в этом роде. Они идут на эксперимент, который у нас показался бы чистейшей фантастикой и, видимо, даже здесь был связан со смертельным риском для жизни. У отца было право вмешаться и не допустить этот риск. Сейчас это право получил я. И даже отказаться от него не мог, не выдав себя и не создав тем самым еще более критической ситуации. Глаза Аглаи смотрели на меня с нескрываемым гневом, но ответить ей сразу я не мог. Сказать «нет» и устранить тревогу у людей, кому дорога судьба этой девушки? Но ее место тут же займет другой — я был уверен в этом, — и займет с такой же готовностью к риску. Так можно ли было отнять у нее это право на подвиг? А сказать «да» и, может быть, нанести этим смертельный удар человеку, который сейчас не может вмешаться и поправить меня?

— Значит, человек не единственный хозяин своей жизни, пока у него есть отец или мать, — задумчиво повторил я слова Аглаи.

Она тотчас же откликнулась:

— Такова традиция века.

— Хорошая традиция, когда риск безрассуден. А если нет? Если человек рискует во имя более высоких интересов, чем счастье или горе близких?.

— Чьи же интересы выше?

— Родины, например.

— Ей не грозит опасность.

— Науки.

— Она не нуждается в человеческих жизнях. Если кто то гибнет, виноваты ученые, допустившие гибель.

— А если нет вины, если риск — это подвиг?

«Брунгильда» снова поднялась, величественная, как памятник.

— Тебе сменили не только сердце.

Даже не взглянув на меня, она прошла сквозь стену, расступившуюся перед ней, как покорное библейское море.

— Вы правильно поступили, — сказала Вера.

Я вздохнул: «А вдруг нет?»

— Еще один разговор, и мы снимем наблюдение.

Та, с кем я должен был разговаривать, уже находилась в комнате. Описать ее внешность трудно — мужчины обычно не запоминают причесок и костюмов. Что то строгое, светлое и не так уж далеко ушедшее от наших мод. И что то общее в лице с какими то портретами из нашей семейной хроники. Что то «громовское».

Я невольно залюбовался и строгостью ее черт, сдержанностью оформляющих ее красок.

— Я жду, папа, — сухо сказала она. — И в институте ждут.

— Разве тебе не сказали?

— Что?

— Что я уже не возражаю.

Она села и опять встала. Губы ее дрожали.

— Папка, золотко... — всхлипнула она и уткнулась носом в мою вестсайдку.

Я почувствовал нежный запах незнакомых духов. Так пахнут цветы на лугу после дождя, смывшего пыль.

— У тебя есть время? — спросил я. — Расскажи мне об этом опыте. После шока я забыл кое что.

— Я знаю. Но ведь это проходит.

— Конечно. Потому я и спрашиваю. Это твое открытие?

— Ну что ты, — засмеялась она. — И не мое, и не Богомолова. Это открытие из будущего, из какой то соседней фазы. Представь себе любой предмет в виде разреженного электронного облака. Скорость перемещения его огромна. Никакие препятствия ему не страшны, он пройдет сквозь любое. Как показали опыты, можно мгновенно перебросить на неограниченное расстояние все, что угодно: картину, статую, дерево, дом. На днях из под Москвы перебросили таким способом однопролетный мост через Каспийское море и уже на месте уложили его между Баку и Красноводском. А сейчас опыт с человеком. Пока только в пределах города.

— Я все таки не понимаю как...

— Да ты и не поймешь, папка, крот ты мой исторический. Но, в общем, грубо, схематически — это так: в любом твердом теле атомы плотно прилегают друг к другу своими электронными оболочками. Они не распыляются в пространстве и не проникают взаимно один в другой изза наличия электростатических сил притяжения и отталкивания. Теперь представь себе, что найдена возможность перестроить эти внутренние межатомные связи и, не изменяя атомной структуры тела, привести ее в разреженное состояние, в каком, скажем, находятся атомы газов. Что получится? Атомно электронное облако, которое можно опять сгустить до молекулярно кристаллической структуры твердого тела.

— А если...

— Какие же «если»? Технология процесса давно освоена. — Она поднялась.

— Пожелай мне удачи, пап.

— Один вопрос, девочка. — Я задержал ее за руку. — Ты знаешь формулы теории фаз?

— Конечно. Их еще в школе проходят.

— Ну, а я не проходил. И мне нужно запомнить их хотя бы механически.

— Ничего нет проще. Скажи Эрику — он главный у мамы гипнопед. Ты все забыл, пап. У нас и концентратор внушения есть, и рассеиватель. — Она подняла руку к лицу и сказала в крохотный микрофон на браслете: — Сейчас, сейчас. Уже готова. Все в порядке. Нет, не надо, не присылайте — доберусь по движенке. Конечно, проще. И удобнее. Не подыматься, не спускаться, ни шума, ни ветра. Стал на тротуар — и через две минуты у вас. — Она обняла меня и, прощаясь,

прибавила: — Только никаких наблюдений. Я супер выключила. Вас будут информировать регулярно и своевременно. И скажи Эрику и Диру, чтобы сами не фокусничали, к сети не подключались.

И, вся уже в полете, напряженная и нездешняя, как «бегущая по волнам» у Грина, она скрылась в белой кипени сомкнувшихся за ней стен.

Я подошел к тому, что мне казалось стеной. Вера не подавала голоса. Оглянувшись, как вор, я шагнул сквозь стену.

Передо мной простирался широкий коридор, ведущий, должно быть, на веранду. Сквозь стекло, а может быть, и не стекло двери я видел потемневшее к вечеру небо и довольно далекий абрис многоэтажного дома. Когда я подошел ближе, ни двери, ни стекла уже не было. Двое мужчин и женщина сидели за низеньким столиком. Рэм скакал на одной ножке вдоль веранды, огороженной вместо барьера низкими, подстриженными кустами. Их крупные кремовые цветы, блескшие от вечерней росы, показались мне знакомыми, как елочные игрушки.

— Папка пришел! — закричал Рэм, повиснув у меня на шее.

— Оставь папу, Рэм, — строго сказала женщина.

Мягкий свет, падавший откуда то сверху, скользил мимо, оставляя ее в тени. «Наверное, Анна».

— Наблюдение уже снято, Сережа, — продолжала она.

— Полная свобода передвижения, — засмеялся мужчина постарше, должно быть Эрик.

— Неполная, — поправила женщина. — Дальше веранды — никуда.

Мужчина помоложе, видимо Дир, вскочил и, не глядя на меня, зашагал вдоль кустов. Длинноногий, полуобнаженный, в обтягивающих бедра шортах он походил на легкоатлета на тренировке.

— Только что ушла Юля, — сказал я.

— Незачем было разрешать, — огрызнулся Дир, не оборачиваясь.

— Мы все слышали, — пояснила Анна.

Все в этом доме все слышат и видят. Попробуй ка уединись! «Как на сцене живешь», — с «досадой подумал я.

— А ведь ты и вправду изменился, — улыбнулась Анна. — Только не могу понять в чем. Может быть, к лучшему?

Я промолчал, встретив внимательный, изучающий взгляд Эрика.

— Громова прошла в эйнокамеру, — сказал неизвестно откуда идущий голос.

— Слышите? — обернулся Дир. — Все была Юля вторая, а теперь уже Громова!

— Слава начинается с фамилии, — засмеялся Эрик.

Я напомнил им, что супер выключен, прибавив, что Юля просила гостей не подключаться к сети.

— Как ты сказал: гостей? — удивилась Анна.

— Ну и что? — насторожился я.

— У тебя действительно какие то провалы в памяти. Мы уже полвека не употребляем слово «гость» в его прежнем значении. Ты так зарылся в историю, что и об этом забыл?

— Гостем мы называем теперь только пришельцев из других фаз пространства и времени, — как то странно пояснил Эрик.

Ответить я не успел — помешал опять голос.

— Подготовка к опыту, — отчеканил он, — проходит по циклам. Никаких отклонений не наблюдается.

— Минут через двадцать, — сказал Дир. — Раньше не начнут.

Все промолчали. Эрик не сводил с меня внимательного, любопытного взгляда. В нем не было неприязни, но он подымал во мне бессознательную тревогу.

— Я слышал вашу просьбу о формулах, когда вы говорили с Юлей, — вдруг произнес он с явно доброжелательной интонацией, — и я с удовольствием помогу вам. У нас есть время, пойдемте.

Я встал, искоса поглядев вниз, за кусты ограды. Веранда висела на высоте небоскреба. Внизу темнели кроны деревьев — вероятно, уголок городского парка.

— Свет! — сказал Эрик, входя в комнату и ни к кому не обращаясь. — Только на лица и на столик.

Свет в комнате словно сжался, сгустился до невидимого прожектора, выхватившего из темноты наши лица и маленький столик, оказавшийся возле меня.

— Формулы с вами? — спросил Эрик.

Я протянул ему карточки «Миста».

— Мне они не нужны, — засмеялся он, — это ваш урок. Положите на стол и смотрите внимательно. Только верхние



Эрик не сводит с меня внимательного, любопытного взгляда.

ряды, нижние не надо. Это расчеты, которые выполнит элементарная вычислительная машина. А верхние читайте ряд за рядом.

— Я их не понимаю, — сказал я.

— Этого и не требуется. Смотрите, и только.

— Долго?

— Пока не скажу.

— Где то у вас есть концентратор внушения, — вспомнил я слова Юльки.

— Зачем? — усмехнулся Эрик. — Я по старинке работаю. Теперь взгляните мне в лицо.

Я увидел только зрачки его, огромные, как лампадки.

— Спите! — крикнул он.

Что произошло дальше, я не помню. Кажется, я открыл глаза и увидел пустой столик.

— Где же формулы?

— Я их выбросил.

— Но ведь я ничего не запомнил.

— Это вам кажется. Вспомните потом, когда вернетесь домой. Вы же «гость». Правда?

— Правда, — сказал я решительно.

— Из какого времени?

— Прошлый век. Шестидесятые годы.

Он засмеялся тихо и удовлетворенно.

— Я понял это еще по данным медицинской обсервации. Очень уж подозрительно выглядели и шок, и потеря памяти. Я следил за вами по видеографу, когда Юля говорила с Богомолковым. У вас было такое лицо, словно вы увидели чудо. Когда она сказала, что поедет по движенке, я понял, что вы ни разу не ступали на движущуюся панель. А мы ездим на ней полвека. Вы забыли все, что рождено современностью, вплоть до семантики слова «гость». Так можно обмануть хирургов, но не парапсихолога.

— Тем лучше, — сказал я, — мне даже повезло, что я вас встретил. Жаль только, что я ухожу, ничего не увидев. Ни домов, ни улиц, ни движенки, ни вашей техники, ни вашего строя. Побывать на вершинах коммунистического общества — и ничего не увидеть, кроме больничной камеры!

— Почему на вершинах? Коммунизм не стабильная, а развивающаяся формация. До вершин нам еще далеко. Мы делаем сейчас гигантский скачок в будущее, когда завершит-

ся мечта Юлии. Ваш мир тоже его сделает, когда вы сумеете воспроизвести запечатленные в памяти формулы нашего века. Пусть пока еще встречаются только мысли, а не люди, но эти встречи миров обогащают, движут вперед мечту человечества.

Мне захотелось оставить памятку этому миру, памятку человеку, мозг которого я узурпировал.

— Можно, я напишу ему? — предложил я Эрику.

— Зачем? Просто скажите. Его голос, но ваши слова.

Я оглянулся растеряннo и недоуменно.

— Магнитофон ищете? У нас другие, более совершенные способы воспроизведения речи. Объяснять долго — просто говорите.

— Я прошу простить меня, Громов, за узурпацию вашего места в жизни на эти девять десять часов, — начал я неуверенно, но сочувственный кивок Эрика как бы подтолкнул меня. — Я только гость, Громов, и уйду так же внезапно, как и пришел. Но я хочу сказать вам, что я счастлив, пережив эти часы вашей жизни. Я вмешался в нее, благословив Юлию на подвиг, потому что не мог поступить иначе. Отказаться от решения было бы трусостью, а помешать — обскурантизмом¹. Я жалею только об одном: я не дождусь победы вашей дочери, а вместе с ней — и вашей науки, и вашего строя. Это великое счастье останется вам.

— Сергей, Эрик! — закричал Дир, вбегая. — Началось!

— Поздно, — сказал я, чувствуя знакомое приближение черной, беззвучной бездны. — Я ухожу. Прощайте.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

За окном — улица, ветер, дождь. Электрический фонарь в мутном дождевом мареве похож на паука, запутавшегося в собственной паутине. Проехал автобус, прорвав вырванный из темноты косой водяной занавес. Обыкновенная московская осенняя ночь.

Я дописываю последние строки уж не знаю чего — очерка, или воспоминаний, или, быть может, интимного дневника, который не рискну напечатать. Но дописать надо.

¹ Враждебное отношение к просвещению и прогрессу.

Кленов звонил уже с утра, точно сформулировав число строк для полосы. Впрочем, он тут же оговорился: все зависит от того, как будет реагировать на это мировая научная общественность. Может быть, мне отдадут всю полосу.

Заседание Академии наук начнется завтра в десять утра, и, когда окончится, неизвестно. Доклад Никодимова, доклад Заргарьяна, мое слово и выступления наших и зарубежных ученых. По словам Кленова, их съехалось сюда более двухсот человек. Все звезды нашей земной физико-математической галактики, не считая гостей и корреспондентов. Правительственное сообщение я не цитирую: оно всем известно. После него не только мои ученые друзья, но и журналист Сергей Громов проснулся знаменитостью.

Более двух месяцев прошло со дня моего возвращения, но мне все еще кажется, что это было только вчера. Я очнулся в лаборатории Фауста в привычном уже кресле с электродами и датчиками. Очнулся усталый, с чувством горькой, почти непереносимой утраты. Заргарьян о чем-то спрашивал, я отвечал нехотя и неопределенно. Никодимов молча поглядывал на меня, просматривая записи осциллографов.

— Мы начали в десять пятнадцать, — вдруг сказал он, — а в час вас потеряли...

— Не совсем, — поправил Заргарьян.

— Верно. Видимость упала сперва до нуля, потом слабо возобновилась, а затем снова поднялась до критической цифры. Даже с более точной наводкой. Честно говоря, я так ничего и не понял.

— В час, — задумчиво повторил я, глядя на Заргарьяна, — в начале первого или чуть раньше мы с тобой были в «Софии»...

— Бредишь? — спросил он не сразу.

— С тобой, постаревшим на двадцать лет и с этакой «курчатовской» бородкой на полгруди. Словом, в Москве конца века. В той «Софии». Кстати, она совсем непохожа на нашу. И Маяковский непохож. Выше колонны Нельсона.

— Я набрал полные легкие воздуха и выпалил: — А ты меня взял да и перебросил еще вперед лет на сто. Тогда вы меня и потеряли... при второй наводке.

Теперь они оба смотрели на меня не то чтобы недоверчиво, а как то подозрительно строго. А я продолжал, так и не подымаясь с кресла — не было сил встать.

— Не верите? Трудно, конечно, поверить. Фантастика. Между прочим, экраны у них в лаборатории в одну линию — параболическую и с передвижным пультом. А на крыше — бассейн... — Я глотнул слюну и замолчал.

— Тебе сейчас допинг нужен, — сказал Заргарьян.

Он разболтал в полстакане коньяку два желтка и подал мне, чуть не пролив — так у него дрожали руки. Питье меня взбодрило, я уже мог рассказывать. И я рассказывал и рассказывал взахлеб, а они слушали как замороженные, с благоговением завсегдатаев консерваторских концертных премьер. Потом их прорвало: вопросы застрочили, как пулеметная очередь. Они спрашивали и переспрашивали, и Заргарьян что то кричал по армянски, а я снова и снова должен был вспоминать то монорельсовую дорогу, то золотой хрусталь «Софии», то кресло без шлема и датчиков, то белую витализационную камеру и невидимую Веру седьмую, то «Миста» с его глоссарием, то рассказ Юльки, в котором, как в матовом стекле, отражался загадочный облик века. Я все никак не мог подойти к главному — к моей встрече с Эриком, а когда подошел, что то вдруг сверкнуло у меня в памяти ослепительной вспышкой магия.

— Бумагу, — сказал я хрипло, — скорее! И карандаш.

Заргарьян подал мне блокнот и авторучку. Я закрыл глаза. Теперь я видел их совершенно отчетливо, как будто держал перед собой, — все ряды цифр и букв, образующих формулы на карточках «Миста». Я мог выписывать их одну за другой, ничего не пропуская и не путая, воспроизводя в точности все запечатленное в другом мире и с непостижимой яркостью вновь возникшее в этом. Я писал вслепую, слыша подавленный шепот Заргарьяна: «Смотри, смотри... Он пишет автоматически, с закрытыми глазами». Так я и писал, не открывая глаз, не останавливаясь, с лихорадочной быстротой и четкостью, пока не воспроизвел на бумаге последнего замыкающего уравнения математического символа.

Когда я открыл глаза, первое, что я увидел, было склонившееся надо мной лицо Никодимова, белее исписанного мною листа.

— Все, — сказал я и бросил авторучку.

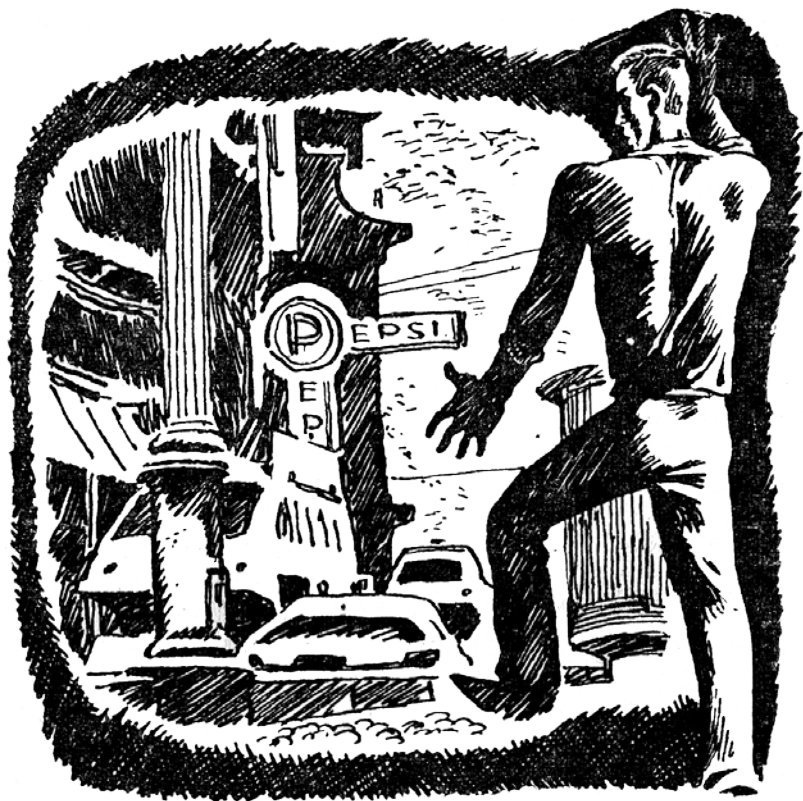
Никодимов схватил блокнот и поднес по близорукости к самым глазам, да так и застыл, как остановившийся кинокадр в оборванной на сеансе ленте.

— Тут треба математики поумнее, — сказал он наконец, передавая блокнот Заргарьяну. — И без электронной машинки не обойтись. Считать придется.

Считали они с Заргарьяном полтора или два месяца. И в Москве, и в Новосибирске. Считали вместе с ними и академики, и аспиранты. Неподдающиеся расчетам секреты математики будущего раскрыл наконец Юра Привалов, самый молодой в мире доктор математических наук. Фазовая теория Никодимова — Заргарьяна получила теперь проверенный опытом будущего прочный математический базис. Уравнения, переведенные на язык математики, стали уравнениями Шуаля — Привалова. А завтра они станут достоянием всего человечества.

Ольга спит, слабо освещенная косым отблеском моей лампы. У нее не очень довольное, пожалуй, чуточку даже испуганное выражение лица. Она уже высказала нам с Галей свои опасения, что известность, реклама — весь этот сенсационный бум, который обрушится на меня завтра, станет между нами осложняющей жизнь преградой. Конечно, разговор о преграде вздор, но жизнь моя уже сейчас приобретает идиотское голливудское оперение. Иностранные корреспонденты, уже давно что то пронюхавшие, преследуют меня по пятам даже на улице, телефон звонит целый день, а ночью его приходится укутывать в подушки, чтобы не будили звонки. Даже сейчас кое какие американские редакции предлагают мне дикие гонорары за мои впечатления, и я, как попугай, вынужден повторять, что впечатлений еще нет, а когда они появятся, то прочесть их можно будет на страницах советских изданий. И Кленов дружески подшучивает, что мне все таки придется дописать свои «Хождения за три мира».

Я не согласен: не за три! Больше! И среди них обязательно будет тот, который я так и не увидел, — прекрасный, как сказка, мир Юльки и Эрика.



НОВЫЙ АЛАДДИН

Повесть

КОЛДОВСКАЯ РОЩА. БРАСЛЕТ-НЕВИДИМКА

Озеров оглянулся. Директор школы остановился на краю оврага, поросшего ядовито-зеленой осокой.

— Сворачивай, — сказал он. — Махнем через овраг, а там напрямик к поселку.

— А если рощей? — спросил Озеров, указывая на березовую рощицу, подсвеченную солнцем, как на пейзажах Куинджи.

Директор поморщился.

— Не люблю я ее. Орешник кругом разросся, зараза. По лицу ветки хлещут.

Озеров почему-то подумал, что дело не в орешнике.

— А мне нравится, — сказал он.

— Брось. Знаешь, как ее в поселке прозвали? Колдовская роща! Чепуха, конечно, суеверие. А все-таки странные штучки творятся в этом орешнике. В апреле, например, когда еще почки не набухли и лес насквозь просвечивался, тут прямо на опушке синий куст вырос. Как синька — и ветки, и листики. Сам видел: мне Клава Мышкина из девятого «Б» веточку принесла. Утром мы с ботаничкой туда побежали, да зря. Ночью заморозки ударили, и куст погиб. Да и погиб-то чудно: одна слизь осталась, синяя каша. Я собрал немного в конверт и вместе с веткой в Тимирязевку послал. Там до сих пор ворожат — ни ответа, ни привета.

— Может быть, семена какие-нибудь ветер занес? Экзотические, — усомнился Озеров.

— Я тоже так объяснял, а люди не верят. Очень уж невероятно. Какие семена, откуда? Земля только оттаивать начала, а тут целый куст вымахал. Не по дням, а по часам, как в сказке. А сейчас уже другие разговоры пошли. Будто по ночам какие-то огоньки светятся. Белые-белые, как при сварке. А какая в лесу сварка? Милиция всю рощу насквозь прочесала — ничего не нашла.

Озеров еще более заинтересовался и, расставшись с директором, категорически отказавшимся ему сопровождать, пошел напрямик к буйно разросшемуся орешнику. «Белые огоньки, — засмеялся он, — сварка! Кто-нибудь костер жег, варил, а не сваривал».

На следы этой «сварки» он и наткнулся, выйдя сквозь заросли орешника на солнечную полянку в белых бусинках ландышей. Трава посредине была примята, и в лучах позднего солнца вызывающе поблескивали полупустые жестянки и осколки недопитых бутылок. Развлекавшуюся ночью компанию, видимо, кто-то или что-то спугнуло.

И вдруг Озеров увидел нечто совсем диковинное: над бело-зеленой ландышевой полянкой прямо из воздуха показалась рука или что-то похожее на руку. В пальцах у нее — Озеров не был уверен, что это пальцы, — ярко сверкнул какой-то предмет, не то осколок зеркала, не то кусочек полированного металла. Сверкнул, взлетел, вычертив в воздухе двухметровую радужную параболу, и погас в траве.

Озеров побежал к тому месту, где закончился путь сверкнувшей дуги, разбросал ногой бутылочные осколки и увидел совсем прозрачный, будто хрустальный браслет. По форме он напоминал японские браслеты для гипертоников, но был сплошной, без звеньев и словно пустой внутри. В нем как бы вспыхивало и затухало отраженное солнце. При этом он был почти невесомым и теплым, словно еще хранил человеческое тепло. Впрочем, почему человеческое? Может быть, свое внутреннее, вызываемое какими-то его собственными физическими свойствами.

Озеров попробовал надеть его на руку; браслет легко растянулся и снова сжался, плотно обхватив запястье, но кожа даже не почувствовала прикосновения металла, а может быть, и не металла, а какого-то незнакомого Озерову пластика. Он поднес его к глазам и... ничего не увидел. Дотронулся до запястья — браслет был на месте, по-прежнему теплый, выпуклый, неотличимый на ощупь от тела и прозрачный до невидимости. Озеров попробовал снять его и не мог: браслет словно прирос к руке, стал ее частью, только недоступной для глаза. И в то же время он вращался или что-то в нем вращалось, когда его поворачивали у запястья. «Ладно, потом сниму», — подумал Озеров и поспешил домой.

Жил он при школе в подмосковном селе Федоскине, где по окончании института преподавал английский язык. Обычно он ездил сюда из Москвы, но на время майских экзаменов переселился в предоставленную ему директором небольшую комнатку под лестницей. В комнате помещались только кровать-раскладушка да письменный столик, за которым Озеров проверял ученические тетради. Сейчас, когда солнце уже зашло и сумерки наложили свою печать на все окружающее, браслет опять открылся глазу, чуть-чуть мерцающий, полупрозрачный, точно нездешний.

Но когда загорелась настольная лампочка, он снова исчез, по-прежнему невидимый, неотличимый от руки. И по-прежнему его невозможно было ни сдвинуть, ни снять.

Рассказать о случившемся кому-нибудь в школе Озерову и в голову не пришло: он уже понял, что без помощи специалистов никогда не разгадает эту загадку. Но каких специалистов? Разве есть у нас специалисты по чуду? Ведь все, что произошло, иначе и не назовешь. Показать руку хирургу? Озеров представил себя на приеме в райполиклинике. Врач ощупывает запястье, качает головой, приглашает коллегу из соседнего кабинета, потом уже оба качают головами, пожимают плечами, не веря ни себе, ни Озерову, и предлагают обратиться к физикам. А что скажут физики? Браслет? Невидимый? Приживленный к телу? Н-да... Проще, пожалуй, написать папе римскому. Он-то уж наверняка найдет объяснение.

Внезапно погасла лампочка — перегорела, должно быть. Запасной под рукой не было, а Озерову не хотелось идти за ней к коменданту. Он с грустью вспомнил об удобствах своей московской квартиры, где лампочки зажигались с помощью фотореле, устроенного приятелем-физиком на входной двери, и где входящего встречали не дощатые стены и колченогий столик с тетрадками, а книжные стеллажи и бюро с выдвигаемыми полками и магнитофоном для записи устных уроков. Даже вид из окна радовал глаз: оно выходило на широкую набережную Москвы-реки. Озеров ясно представил себе, как выглядят река и набережная в этот вечерний час, когда сумерки на улице еще не сгустились до темноты и фонари еще не зажглись, заглядывая в почерневшую реку. Но здесь браслет засветился, как фонарик. Озеров машинально тронул его, и он легко повернулся под пальцами. И сразу стало светлее... Стены комнаты в углу раздвинулись или растаяли. Озерову показалось, что он в зрительном зале кинотеатра, перед ним экран, а на экране Москва-река, бурозеленоватая, с нефтяными пятнами, с гранитными откосами набережной и зеленым лесом, бегущим в гору. «А что на другом берегу?» — мелькнула мысль, и он увидел Лужники с большой ареной вдаль и Дворцом спорта на первом плане. Проплыл мимо белый катерок, оставляя позади пенистую дорожку. «А еще дальше наша набережная, и наш

восьмизэтажный дом на углу», — словно подсказал кому-то Озеров, безотчетно предполагая, что экран все это покажет. И не ошибся. Берег пронесся мимо него, словно он наблюдал его с самолета; смутная линия домов вдруг прояснилась, и знакомый восьмизэтажный дом вырос перед ним с декорированными цветной фанерой балконами. «А вон и мое окно!» Оно приблизилось, как в кино, когда съемочный аппарат наезжает на объект съемки, и Озеров узнал и рамы, и подоконник, и тюлевые занавески со знакомым рисунком, и даже забытую на подоконнике авто-ручку. Все это было в натуральную величину, как в цветном фильме на экране, словно окаймленном светящейся синей ленточкой и загадочно повисшей перед ним в крохотном воздушном пространстве его здешнего обиталища.

Седая женщина в синем платье, неожиданно возникшая в кадре, открыла окно и исчезла за рамкой экрана. «Мария Ивановна, — вспомнил Озеров, — пришла с работы, хату проветривает». Мария Ивановна была его соседкой, любезно согласившейся следить за пустовавшей комнатой во время его отлучек. Находившаяся в действительности за сорок километров от него, Мария Ивановна стояла так близко, что он мог, не вставая, дотронуться до ее руки. Ему вдруг захотелось поглядеть в окно из комнаты, чтобы проверить или погасить это удивительное волшебство. И оно опять не подвело: он увидел из комнаты и реку, и набережную, и одинокого удильщика со спиннингом у ее парапета. Это была его комната; никакой телевизор не мог воспроизвести ее детальнее и точнее. То стол, покрытый клеенкой, возникал перед ним, то книжный шкаф, то — крупным планом — русско-испанский словарь на столе, то волновая шкала старенького радиоприемника. Волшебный экран отвечал буквально на каждую мысль. Вспомнилась полочка с английскими и французскими книгами — и вот уже их пестрые обложки выстроились разноцветной шеренгой корешков. И буквально в каком-нибудь полуметре от Озерова — протяни руку и бери.

Ничего объяснить себе он не мог да и не пытался: он просто приказывал невидимому джинну, как Аладдин, овладевший чудесной лампой: «На улицу!» — и тотчас же изображение последовало за мыслью. Он видел даже не отражение и не зрительное воспроизведение действитель-

ности, а самую действительность в ее сиюминутном состоянии. Именно так выглядела и шумела сейчас улица у его дома в Москве, именно эти автомобили проезжали по ней, именно их колеса шуршали по асфальту, именно эти люди проходили и голоса их звучали рядом. Озерову даже показалось, что он сам идет среди них и улица медленно плывет навстречу со своими витринами, киосками, регулировщиком на перекрестке и плакатами чахлого кинотеатрика на углу переулка. «О чем они?» — спросил он мысленно, и афиши послушно приблизились, демонстрируя черные буквы на красном фоне: «Десять шагов к востоку».

«Старье! — подумал Озеров. — А что бы еще посмотреть?» Он вспомнил о футбольном матче в Лужниках: московское «Динамо» играет с торпедовцами. Но перед ним по-прежнему тянулась улица: браслет не реагировал.

«Вперед!» — подсказал Озеров.

Улица поплыла навстречу, словно в окне невидимого автобуса.

«Быстрее!»

Невидимый автобус превратился в гоночную машину. Улица утратила очертания, сливаясь в мерцающую туманность. Мелькнул горб вала Окружной железной дороги.

«Сквозь вал! — приказал Озеров. — К стадиону! На трибуны!»

На него надвинулась чаша стадиона. Он вошел в нее, в кипучую ее неподвижность, как нож в каравай хлеба, и незримо повис над полем.

«А если ближе?»

Теперь он стоял как бы на боковой линии поля. В полуметре от него в мокрой от пота футболке Валерий Воронин вбрасывал мяч в игру.

«К воротам!»

Он был уже за сеткой ворот, позади приготовившегося к прыжку Яшина. Озеров зажмурился: мяч летел прямо на него, вот-вот ударит в стену чуланчика. Но Яшин прыгнул. Озеров услышал глухой удар мяча в грудь человека и оглушительный рев трибун.

В дверь постучали.

— Кто? — крикнул Озеров.

— Телевизор привезли? — спросил голос коменданта за дверью. — Слышу, футбол передают. Как это вы без антенны?

— Налаживаю, — неопределенно ответил Озеров. — Звук есть, а изображение исчезает.

Изображение и в самом деле исчезло. Светящаяся синяя каемка погасла. Стенки комнаты снова соединились. Окно в пространстве закрылось.

ОКНО В ПРОСТРАНСТВЕ. НИТКА ЖЕМЧУГА

Озеров открыл его на следующий день, когда разошлась вторая смена учащихся. Невидимый и неосязаемый браслет не тяготил его. Он даже позабыл о нем, просматривая предэкзаменационные работы десятиклассников — перевод, продиктованный им из текста о Лондоне.

— «Пикадилли — самая шумная и людная улица в английской столице», — вслух прочел он первую строчку из взятой на выбор тетрадки. И машинально подкрутил браслет.

Чужой уличный шум ворвался в комнату. Удивленный Озеров — он еще не разучился удивляться своей способности творить чудеса — увидел проехавший перед ним двухэтажный автобус с рекламой шотландского виски на кузове. Пестрая лондонская толпа двигалась по тротуару. До Озерова доносились обрывки английских фраз, истошные крики газетчиков, сигналы автомашин. Приглушить этот голос вечернего Лондона, как приглушают звук поворотом регулятора, Озеров не мог. «А вдруг есть кто-нибудь в школе?» — испугался он и свернул на улицу потише, пересек знакомую по фотографиям площадь, скользнул мимо освещенных витрин и замер.

То была выставка большого ювелирного магазина, изысканно и пестро декорированная. Никогда и нигде он не видел драгоценностей такой формы и в таком изобилии. Но глазу мешала какая-то едва заметная, но все же осязаемая пленка. Может быть, не совсем чистое стекло магазинной витрины? Тогда он придвинул ее еще ближе, проникнув уже за стекло. Теперь драгоценности лежали перед ним, отделенные только воздушным, пространством в тысячи

километров. Он, не задумываясь, к чему это приведет, еще чуть-чуть подкрутил браслет, и синяя светящаяся каемка его «окна» вдруг стала оранжевой. Все в этом «окне» виделось уже так близко и так отчетливо, что легкий слой пыли на хрустальной подставке, поддерживавшей ожерелье из крупных жемчужин, исчез от его дыхания. Или это ему только показалось. Он невольно протянул руку, пытаясь проверить впечатление, и пальцы его ощутили нежнейшую прохладу жемчужин. Он придирчиво ощупал их и положил на руку. Теперь они лежали перед глазами на его чуть дрожащей ладони. Только секунда понадобилась им, чтобы с лондонской выставки, преодолев стены и расстояние, очутиться здесь, совсем в другой точке земного шара. Значит, браслет мог не только акустически и оптически сблизить две такие точки — он сблизал их и геометрически. Окно в пространстве превращалось в дверь.

Душевное смятение Озерова было прервано стуком в дверь. «Опять!» — в отчаянии подумал он, понимая, что сейчас и сама витрина, и ее драгоценности бесследно пропадут, как только его мысль отключится, потеряет контакт.

И действительно, все пропало, кроме нитки жемчуга в потной руке. Озеров испуганно сунул жемчуг в карман и открыл дверь.

— Чем это ты занимаешься, Андрей Петрович? — спросил директор, видимо собравшийся уже уходить. — Смотрю: свет у тебя из-под двери. Да какой! Постучал — свет погас. Сварку, что ли, ведешь, как в колдовской роще?

Озеров еще больше смутился.

— Лампочку пробую, — соврал он, — тетрадки классные надо проверить.

— Так иди ко мне в кабинет — я ухожу. А сюда... — он поморщился, оглядев неуютный озеровский интерьер, — кресло, что ли, возьми из приемной. Все уютней будет.

Он ушел, оставив Озерова в состоянии полной растерянности: чудо чудом, а он фактически украл жемчуг. Со всем как тот идиот, проходивший сквозь стены в немецком фильме. Но разве Озеров прошел только сквозь стены? Он, не двигаясь с места, прошел сквозь тысячи километров пространства. У него противно задрожали колени: кажется, он забыл улицу, где находилась эта витрина.

Как он увидел ее? Сперва попал на Пикадилли, потом свернул куда-то, потом... Он снова и снова повторял тот же путь, заглядывал в окна всех больших магазинов, но знаковой витрины не находил. Тщетно взывал он к своему джину: либо тот не понимал его, либо не мог помочь. Браслет не умел самостоятельно мыслить, он только вел по требуемому пути, а цели найти не мог. Он, например, не мог показать ювелирный магазин, он только показывал улицы, причем Озеров выбирал их сам наугад и случайно и сам же искал на них потерянную витрину.

Наконец он устал. Это овеществление мысли утомляло, как трудная партия в шахматы. Ну что ж, сейчас он получил мат, когда-нибудь отыграется, найдет эту проклятую ювелирную выставку, откроет «дверь». Ему вдруг опять захотелось открыть эту соблазнительную дверь в пространстве. Он вспомнил о своей московской комнате, овеществил воспоминание, подождал, пока синеватая каемка станет оранжевой, и осторожно тронул ногой московский паркет. Теперь он был буквально одной ногой в Подмосковье, другой — за сорок километров, в Москве. Он тяжело вздохнул, как перед прыжком через пропасть, и решительно шагнул в Москву. Теперь он был в московской квартире; школьное очуждение исчезло.

— Как же вы попали сюда? — удивилась соседка, приоткрыв дверь. — Слышу: кто-то шагает в комнате. Смотрю — вы! А ведь я все время внизу стояла. По воздуху, что ли?

— В окно, — засмеялся Озеров.

«Дверь в пространстве следует открывать обдуманно и осторожно, а то люди шарахаться будут», — подумал он и еще раз пожалел, что никому до сих пор не рассказал о браслете. Добрый совет друга — вот что ему сейчас особенно требовалось. Он мысленно перебрал всех своих знакомых и вспомнил о Хмелике. С Хмеликом он познакомился и даже подружился во время паровой поездки по Волге два года назад. Хмелик был физиком, кибернетиком или кем-то в этом роде, что-то читал на физфаке, о чем-то писал в научных журналах. Озерова он звал стариком и полиглотом, иногда консультировал с ним переводы с английского каких-то специальных, и подчас непереводаемых для Озерова текстов, но разные профессии, разный круг зна-

комств, интересов и обязанностей не привлекали их друг к другу, хотя жили они в одном доме и даже на одном этаже. Встречались редко и случайно, но при встречах всегда улыбались, закуривали и обменивались репликами, вроде: «Ну как, старик?», «Ты где, все там же?», «За кого болеешь? За „Торпедо“ по-прежнему?», «А когда в отпуск, летом?»

Озеров подкрутил браслет, мысленно позвав Хмелика. Ничего не возникло. Он представил себе, как выглядел в последнюю встречу Хмелик. Тот не появился ни лично, ни на фотографии. Браслет сам не мог отыскать Хмелика; надо было помочь ему. «А если сквозь стены, мы же на одном этаже!» — подумал Озеров, и перед ним тотчас же повисла в воздухе обстановка соседней квартиры. Тучный доктор-ушник, лежа на диване, читал газету. «Дальше!» — мысленно приказал Озеров, и невидимый объектив телевизора ринулся дальше по этажу. Еще одна квартира, другая, третья... «Хмелик же с краю в этом крыле», — вспомнил Озеров и увидел невысокий полированный стол и за ним Хмелика в пижаме, что-то смущенно рисующего. Валя, его жена, с круто взбитой прической и очень сердитым лицом, стояла рядом. Зрелище стало более отчетливым, и Озеров услышал конец ее реплики:

— ...а где взять?

— До четверга не могу, — сказал, не подымая глаз, Хмелик, — ты же знаешь, у нас зарплата пятого и двадцатого.

— А ты думал об этом, когда давал деньги Сидоркину?

— Честно говоря, эта мысль меня не озарила.

— А что озарило?

— Сочувствие. У Сидоркина, между прочим, вытащили бумажник в метро. Ни гроша не осталось. Нуль в кубе.

— И у нас нуль в кубе.

— Может, продать что-нибудь? Мои часы, скажем.

— Покупают только золотые.

— Значит, элементарное уравнение с одним неизвестным: где взять золото?

— Вот и реши.

— Я не Мидас.

Тут Озеров сократил поле зрения до размеров хмеликовского стола, приблизил его, повернул браслет так, что синяя ленточка стала оранжевой, и легонько бросил на стол зло-

получную нитку жемчуга. При этом не отключился мысленно, он только подождал, пока оранжевый контур «окна» не стал вновь синим, и продолжал слушать.

Валя первая заметила жемчуг.

— Что это? — удивилась она, взяв ожерелье.

— Штукатурка, наверно, — сказал Хмелик.

— С ума сошел. Это жемчуг. И каждая жемчужина в золотой оправе.

— Откуда у нас жемчуг?

— Тебя надо спросить. Твои штучки.

— Не понимаю.

— Я же все видела. Ты протянул руку и бросил жемчуг.

— Я с места не сдвинулся.

— А я видела руку.

— Чью?

— Кроме нас, в комнате никого нет. А в привидения я не верю.

— Теоретически это вполне объяснимо, — сказал Хмелик. — Параллельный мир с одинаковым знаком. Соприкосновение не дает аннигиляции. Поверхность касания незначительна. Сопротивление нуль.

— Ну и что?

— Сигнал из другого мира.

— С парижской маркой? «Луи Сарсэ. Мэзон де ботэ». Читай!

Она протянула жемчуг Хмелику.

Озеров выключил «окно». Вернее, перестал о нем думать. Для консультации с Хмеликом была явно не подходящая обстановка.

ВОКРУГ ШАРИКА. ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО

Освоение чудесной «двери» открыло фантастические возможности. Мгновенное переселение из московской квартиры в школу и тот же путь в обратном порядке стали уже прочно усвоенным опытом. А опыт все расширялся. Озеров побывал всюду, куда осмеливался прежде только заглядывать. Упоителен был первый шаг по камням Парижа. Зачиналось теплое воскресное утро. Озеров сидел один в московской квартире: соседка его еще накануне уехала к

родственникам в деревню. Он кое-как позавтракал и «вызвал» Париж. Город возник перед ним знакомой по фильмам площадью с Триумфальной аркой посередине. Он огляделся, двинул «окно» дальше, к аркадам Лувра, почти вплотную приблизив его к древним каменным стенам. Между Озеровым и столицей Франции было не более полуметра. Он подкрутил браслет, дождался оранжевой лампочки и шагнул на парижскую землю. «Окно» исчезло.

Сначала осторожно, то и дело робко оглядываясь, он двинулся вперед, смешавшись с прохожими, и вскоре понял, что осторожность ни к чему. На его кобальтовую и джинсы никто не обращал внимания. Идет ничем не приметный паренек с окраины, должно быть провинциал, потому что часто останавливается и глазет на то, к чему парижане привыкли с детства. Но, пройдя два-три квартала, он перестал останавливаться, даже не интересовался названиями улиц, потому что рю де Ришелье звучало для него так же прекрасно, как и рю Риволи; он просто шел, сворачивая куда-нибудь, одних обгоняя, другим уступая дорогу, смущенно отворачиваясь от насмешливых глаз своих парижских ровесниц. Порой, проходя мимо какого-нибудь магазина, он, словно не веря себе, дотрагивался до окна, украшенного товарами, и пальцы ощущали прохладу стекла или осторожно, незаметно, чуть-чуть касались ствола дерева на обочине тротуара — дерева, которое помнило, должно быть, и коммунаров Парижа, и Гюго, и Золя. Может быть, именно отсюда любовался Маяковский перспективой улочки, сбегавшей к набережной Сены; может, именно здесь пришло ему в голову стихотворное объяснение в любви к красивейшему городу мира. «Я в Париже, в Париже, — шептал Озеров, — слышите, Петр Кузьмич, уважаемый директор! Вы думаете, что я сижу сейчас у вас в Федоскине, а я шагаю по набережной Вольтера!»

Так он прошел мимо грузовичка, с которого шофер в вельветовой куртке сгружал на тротуар какие-то ящики.

— Эй, Жан! — позвал шофер.

Озеров оглянулся.

— Вы мне? — спросил он по-французски.

— А кому же еще?

— Я не Жак.

— Ну, Жак. Помоги-ка ящики перетаскать на третий этаж. Профессор заплатит.

Озеров носил ящики, пока у него не заболела спина, но когда наконец все они были водворены в профессорскую квартиру, ее хозяин, молчаливый старик с седой эспаньолкой, не говоря ни слова, уплатил ему двадцать франков.

— А я что говорил? — озорно ухмыльнулся шофер. — Поехали.

— Куда?

— Тут быстро за углом. Согреемся.

— Так ведь не холодно.

— Для аппетита, чудак.

Быстро оказалось узкой, длинной комнатой, похожей на трамвайный вагон. Озеров, как истый парижанин, не моргнув глазом выпил бокальчик чего-то горячительного, но безвкусного, к тому же еще противно молочного цвета и пахнущего анисовыми каплями. Но как это называется, спросить не рискнул. К тому же шофер торопился:

— Шагай, Жак. Может, еще встретимся. Чао.

— Чао, — шиканул Озеров.

В голове у него шумело. Сердце пело: «Я в Париже, в Париже, в Па-ри-же!» Домой он вернулся только к вечеру, истратив все свои франки. Он съел кусок мяса в теом кабачке у рынка, попробовал кавальдоса, который оказался не вкуснее самогона, проехался на метро и добрый час отдыхал под кронами Тюильрийского парка. Где-то на окраине у забора, оклеенного афишами велогонок, он «вызвал» свою московскую комнату и повалился на постель, даже не сняв ботинок, — так гудели ноги. И, уже засыпая, вспомнил, что, пожалуй, никто и не заметил, как он появился в Париже и как оттуда исчез.

После парижской прогулки у Озерова, что называется, разыгрался аппетит. «Окно» уже не удовлетворяло его: он стремился к открытой двери. И сезам отворялся поочередно то в Риме, то в Лондоне, то на каналах Венеции, то на пляжах Дубровника или Ниццы. Озеров где-то читал, что Валерий Чкалов мечтал полетать, «вокруг шарика», имея в виду нашу планету. А Озеров осуществил эту мечту без самолета, без риска и без гроша в кармане: добрый джинн, к сожалению, не снабжал Аладдина валютой, а случаев, подобных встрече с парижским шофером, увы, больше не

было. Приходилось поэтому сокращать свои прогулки по глобусу или закусывать, скажем, в лондонском Гайд-парке на травке захваченными из дому бутербродами с любительской колбасой. Однажды он угостил этой колбасой бродягу на побережье Тихого океана, и тот объявил, что в жизни не ел ничего более вкусного. Колбасу запивали краснодарским чаем из термоса, а в ответ бродяга попотчевал Озерова пивом в закусочной мотеля на федеральном шоссе.

Волшебная дверь далеко не всегда сулила только одни удовольствия. Однажды Озеров открыл ее в часы занятий в школе, когда у него не было уроков. Он осторожно, стараясь, чтобы никто его не увидел, пробрался к себе, закрыл дверь и начал волнующую игру с браслетом, когда тот, как живой, отвечая на прикосновение пальцев, отдавал им свое тепло. Теперь нужно было только указать точку на карте. Озеров задумался: города надоели — вечная сутолока на улицах, бензиновая вонь, крикливая, как базарная торговка, реклама. Может быть, в горы, на альпийские луга или вершины? Но костюма нет подходящего: пиджак да рубашка — пожалуй, холодно будет. А если в джунгли? Куда-нибудь в Индонезию или на Соломоновы острова? Но тут же подумалось о разнице во времени, хотя он и не помнил точно, какая она, — вдруг там уже поздний вечер? А на берегах Амазонки, пожалуй, даже ночь. Лучше всего махнуть по Пулковскому меридиану в Экваториальную Африку. Озеров попытался представить себе каргу африканского материка и сейчас же запутался: где Конго, где Нигерия, — по памяти не сориентируешься. Еще попадешь в Анголу, к португальским колонизаторам. Впрочем, Ангола, кажется, много западнее, на Атлантическом побережье. Южная Африка не манила. Из книг Озеров знал о вельде — степь, полупустыня, — в общем, не очень интересно. Тут вспомнилась как-то прочитанная книга о путешествии по Верхнему Нилу: леса, озера, болота — как раз то, что нужно. Озеров тотчас же дал указание: где-нибудь у истоков Нила. Браслет в таких случаях, когда указание не было точным, давал движущийся пейзаж.

Так и случилось. Показалась порожистая река, мутная накипь пены, красноватые отмели. Промелькнула лодка с неграми в белых рубахах. В илистой пойме дремали не-

подвижные, как бревна, крокодилы. Вспучивались пузыри в густом сером иле, что-то противно булькало. Мимо! В «окне» показалось грязное озерко или большая заводь со скалистыми берегами; на желтых камнях сидели незнакомые птицы. Озеров перемахнул на противоположный берег, где деревья подымались словно из воды: их обнаженные корни уходили в тихую рыжеватую муть. Он «подвигал» берег то вправо, то влево в поисках прохода, и проход нашелся — даже не тропа, а дорога, по которой сквозь заросли как будто тащили к берегу связку бревен. «Слоновый водопой? — подумал Озеров. — А есть ли здесь слоны?» Географию он знал плохо и раздумывать над этим не стал. Он только помедлил минут пять, но в «окне» все было спокойно. Тогда он приблизил устье дороги, перевел синеву рамки в оранжевость и вышел на берег неведомой и поэтому уже манящей реки.

Когда он впоследствии вспоминал об этом, первым возникало в памяти ощущение удивления и взволнованности, родственное тому, что он испытал во время своей прогулки в Париже. Волновала необычайность самого приключения, чудесная его основа, и это волнение, уже притупившееся в неоднократных его прогулках по глобусу, снова овладело им со всей остротой и силой первоначальности. Он то и дело повторял вслух: «Неужели же это возможно или я схожу с ума?» Каждый шаг поражал, каждый шорох в траве ли, в кустах, каждый хруст ветки под ногами или крик птицы над головой заставляли вздрогнуть, оглянуться и вновь изумиться увиденному. Казалось, он был на другой планете: все кругом было незнакомо — деревья, кустарник, цветы, бабочки. Возможно, он где-то читал об этих сине-зеленых, точно лакированных листьях на невысоких — в человеческий рост — кустах, но одно дело читать, а другое — сорвать лист с куста и видеть, как стекает с излома желтовато-изумрудный, густой, как мед, сок. В эти минуты Озеров чувствовал себя самым счастливым человеком на земле — он жил в атмосфере сказки, в которую можно было поверить только во сне, но которая стала до жути реальной явью.

Иногда он кричал, как грибники в подмосковном лесу: «Ау! О-го-го!» Никто не отвечал ему, кроме звуков леса, никто и не пугал его — ни человек, ни зверь — в этом

странно молчаливом и безлюдном лесу. Даже змеи не шуршали в придорожной траве. «Может быть, это особый изолированный заповедник?» — подумал Озеров и тут же убедился в обратном. Не обратив внимания на явно кем-то разбросанную по тропе большую охапку свежесрубленных веток, он легкомысленно ступил на нее и сразу же провалился в темную и глубокую, как колодец, яму.

Он упал, удачно миновав крепкий, двухметровый, заостренный, как пика, кол, врытый посреди ямы, видимо рассчитанный на существа крупнее и массивнее человека. Но столь же острый камень на дне ее больно порезал ему губу и щеку. Губа тотчас же вспухла, и рот наполнился кровью. Озеров сплюнул кровь раз, другой, облизал порез языком — крови уже не было. «Теперь йодом бы смазать, — подумал он, — мало ли какие бактерии на этом проклятом камне». Но йода тоже не было. Он встал и огляделся — проникающий сверху, сквозь продавленные ветки свет позволял рассмотреть окружающее. В яме было сухо, а стены ее казались отвесными, даже немного наклонными внутрь. Но не это испугало Озерова, заставило его в ужасе отпрыгнуть в сторону, а большая, как кошка, бледно-зеленая ящерица с выпученными по-крокодильи глазами. Ящерица, однако, испугалась не меньше его, молнией метнулась вверх по стене, но, не осилив и полутора метров, беспомощно сползла на дно: яма была вырыта так хитро, что ни одно животное не могло преодолеть ее отвесных и в то же время сыпучих стен.

«Надо удирать отсюда, пока не поздно», — решил Озеров и повернул браслет. Мгновенно стены ямы превратились в знакомые стены его комнаты. Еще шаг, и все, принадлежавшее прошедшим минутам, — река, заросли, яма и ящерица — осталось только смутным воспоминанием. Увы, не все! Бледно-зеленое чудище теперь сидело в углу его школьной каморки. «Когда же она проскользнула?» — перепугался Озеров и предусмотрительно вскочил на кровать. Ящерица по-прежнему сидела в углу под стулом, рядом с парой стоптанных тапочек. Диковинное соседство!

— Только прыгни! — сказал Озеров и поискал глазами оружие.

Над кроватью висела только гитара. Сойдет! Он схватил ее, как теннисную ракетку, и приготовился отбить на-

падение. Но ящерица не нападала — она по-прежнему только изучала его своими выпуклыми неподвижными глазами. Тогда он дотянулся до двери гитарой и толкнул. Зеленая тварь шмыгнула в щель с такой быстротой, что Озеров, выглянув в коридор, увидел только ее плоский хвост, скрывшийся в приоткрытой двери седьмого «А», где шел урок географии.

Дикий вопль и стук двери последовали одновременно. Из класса выскочила географичка и помчалась наверх в учительскую. Озеров заглянул в класс. Сказать, что там творилось нечто неопишное, — значит ничего не сказать. Кутерьма в комическом фильме, схватка у входа на стадион, когда какой-нибудь смельчак рискнет объявить, что у него есть лишний билет, лишь приблизительно передали бы дух великой охоты, овладевший семиклассниками. Девчонки забрались на парты и визжали, перепрыгивая друг к другу. Мальчишки ползали на коленях под партами, барабанив по полу кто книжкой, кто ремнем. Визг, хохот и крики сливались в невообразимый галдеж, в котором разобрать что-либо было совершенно невозможно. Только Пашка Сысоев, знаменитый школьный юннат, пытался придать ему какие-то организованные формы. В одной майке, размахивая сброшенной капроновой курточкой и стараясь перекричать всех, он истошно зывал: «Гоните ее к доске! В угол! Сюда!» Тут Озеров, опасаясь последствий, к каким могла привести неосторожность Пашки, бросился ему на помощь. И когда наконец обезумевшая ящерица пошла на них, как гонимый волк на охотников, Пашка, вырвавшись вперед, грохнулся на пол плашмя и прикрыл ее курткой, как сетью. Восторг охотников и мытарства пойманной жертвы не заинтересовали Озерова. Он поскорее ушел, стараясь не встретиться с бежавшими уже по лестнице директором и комендантом.

Потом он узнал, что ящерицу ребята отвезли в Москву в Зоопарк и там ее забрали в террариум и очень удивились, почему это дитя тропиков оказалось на воле в подмосковном селе Федоскине. Из Зоопарка даже приезжал специалист и всех об этом расспрашивал, но Озеров из предосторожности уклонился от встречи.

Второй случай опасной игры с браслетом произошел отчасти по вине географички, той самой, которая так испу-

галась заморской гостью. Звали ее Зоей Павловной, но все учителя называли ее Зоей, а за глаза даже Зойкой, потому что, как выразился директор, она была «безбожно моложе всех». Озеров ей нравился, она откровенно с ним кокетничала, но все ее женские хитрости обезоруживала его застенчивость и внешняя мрачноватость. В этот поздний майский вечер Зоя почему-то задержалась в школе до темноты и, уже уходя, заметила сидевшего у себя Озерова.

— Что это вы в такой духоте сидите? — удивилась она. — На улице лето. Пошли гулять.

— Не хочется, — поежился Озеров.

— Пошли, пошли, — атаковала Зоя, — закругляйтесь — и на пруд. Я уже раз купалась. Вода как в ванне.

Озеров, успевший за эти дни выкупаться в Средиземном море и в Тихом океане, брезгливо поморщился:

— В таком болоте? На дне ил. Берег грязный.

— Конечно, это вам не Рио-де-Жанейро. В море лучше. Только мы, к сожалению, не можем перенести море в Федоскино.

— А вдруг? — загадочно сказал Озеров. Его словно что-то подхлестнуло. — Хотите в Рио?

— Вы мечтатель, Андрюша. Только не повторяйте Остапа Бендера. Удовлетворимся нашим благословенным прудом.

— Серьезно, хотите? — жарко зашептал Озеров, теряя последние остатки осторожности. — Хотите, будут и море, и пляж? Знаменитейший пляж Копакобана.

— А вы не рехнулись, Андрюша?

Но Озеров уже повернул браслет. К ногам Зои выплеснулась и откатилась, шурша по песку, невысокая пенистая волна. Берег казался кремовым, сверкавшим на солнце, как перламутровая раковина. Комнату залило ослепительным светом. «Кто-нибудь увидит с улицы, испугается, будет кричать: „Пожар!“» Ведь у нас уже вечер, темнеет, — подумал Озеров. — Ну да ладно, будь что будет!»

— Идем! — крикнул он и вытолкнул онемевшую от удивления Зою за оранжевую рамку на пляж.

Она оглянулась и умолкла. Ни школы, ни Подмосковья, ни темнеющего вечера не было. Океан сверкал, как хрустальное зеркало. Над жемчужным берегом пылала беспримесная тропическая лазурь. Пляж был пустынный и

ровный; чуть поодаль, ближе к городу, на нем уже гоняли футбольный мяч. А еще дальше, где тянулась вдоль берега белая полоса небоскребов, пляж пестрел шезлонгами и купальщиками, как пятнистая картинка абстракциониста.

— Где мы, Андрюша? — прошептала Зоя.

— В Рио-де-Жанейро, — весело сказал Озеров. — В бухте, за городом.

Он разделся и бросился навстречу волне.

— Идите сюда! — крикнул он Зое. — Что вы стоите, как сомнамбула? Вы же хотели купаться.

Зоя, действительно как сомнамбула, медленно сбросила платье и вошла в воду.

— Это какое-то колдовство, Андрюша. Где мы?

— Я же сказал: в Рио.

Зоя стояла по пояс в воде, растерянно озираясь. Она все еще ничего не понимала. Набежавшая волна накрыла ее с головой.

— Море! — закричала она. — Ей-богу, море! Настоящее, соленое! Ничего не понимаю!

— А вы плывите сюда и все забудьте.

Минуту спустя они уже ни о чем не думали и ничего не ощущали, кроме моря и солнца, теплой, солоноватой волны и жемчужного берега.

— Кто-то идет, Андрюша, — вдруг сказала Зоя, — к нашей одежде идет. Вон посмотрите.

По берегу к воде шел человек в форменной фуражке и куртке.

— Полицейский, наверно, — всмотрелся Озеров.

— Я боюсь, Андрюша.

— Чего? Мы никого не убили и не ограбили. Что может сделать нам полицейский? — с наигранной бодростью проговорил Озеров.

Впрочем, он сам был не очень в этом уверен.

— Нет-нет, я боюсь, — испуганно твердила Зоя. — Мне страшно. Я хочу домой.

Озеров, стоя по пояс в воде, повернул браслет, и на море, почти вплотную над водой, возникла знакомая школьная комнатка. В тусклой на солнце, но все же заметной оранжевой каемке они увидели постель, темное окно, настольную лампу.

— Влезайте скорее, а я одежду принесу.

Озеров помог Зое забраться в комнату, как в лодку из воды, — и все пропало, Зоя и комната. Он был один в Бразилии, один в океане. Только вдали на берегу стоял у воды полицейский.

— А девчонка где? — спросил он, когда Озеров вышел на залитую водой кромку пляжа.

«Ну и ну, я же его понимаю, — весело удивился Озеров, — выучил все-таки португальский. И без пластинок, с одним словарем. И разговаривать смогу. Пусть спрашивает». Стараясь держаться как можно непринужденнее, он торопливо оделся и взял брошенные Зоей платье и туфли.

— Где девчонка? — повторил полицейский. — Вы вдвоем были. Где она? Утонула?

— Почему? — картинно удивился Озеров. — Просто вынырнула в другом месте и убежала.

— Куда? На берегу ее нет.

— Прячется, — засмеялся Озеров. — Она не любит полиции.

— А ты иностранец, — сказал полицейский.

Озеров пожал плечами: что ж, мол, тут поделаешь. Полицейский подозрительно оглянулся: его явно беспокоило отсутствие спутницы Озерова.

— Где тут спрячешься? — с сомнением произнес он. — А утопить ты ее мог. Думал, от берега далеко — не заметим. Иностранец к тому же. И полиции не любишь. Пойдешь со мной.

Дело осложнялось. Перспектива познакомиться с полицейским участком в Рио Озерова не прельщала. Он огляделся: на пляже никого не было, песчаное поле простиралось до города. «Рискнуть, что ли? Рискну». То, что произошло дальше, оказалось для полицейского больше чем неожиданностью. На фоне пустынного пляжа и зеленой океанской волны возник, как привидение, образ молодой женщины в мокром купальнике. Она стояла как бы на полу деревянной хижины, у которой срезали переднюю стенку. Ожившая фотография или кадр из фильма, неизвестно каким образом проецированного на морском берегу.

— Как видишь, не утопил, — насмешливо заметил Озеров.

— Санта Мария! — заикаясь, проговорил полицейский и перекрестился.

Озеров измерил глазами расстояние между собой и полицейским — «три-четыре шага, не меньше: не успеет» — и одним прыжком очутился возле Зои, в то же мгновение исчезнув для человека из Рио, как и тот исчез для него. А у Зои даже губы задрожали, не от испуга — от радости.

— Идите в класс и переоденьтесь. Потом все объясню, — сказал Озеров и чуть не вытолкнул ее из комнаты.

Ему очень хотелось посмотреть, как выглядит сейчас полицейский из Рио, но он удержался от искушения. Надо было срочно придумать разумное объяснение. Любое, кроме правды. В то, что произошло, не поверил бы даже Эйнштейн.

Зоя вернулась переодетая наспех — даже платье поправить не успела: так томило ее любопытство.

— Я с ума схожу, Андрюша. Что это было?

— Ничего особенного.

— Но где, где мы купались?

— В пруду.

— Не разыгрывайте. Ведь утро было или день, а у нас сейчас ночь! И море было, и пляж. И полицейский на берегу.

— Вы приняли за полицейского рыболова с ведерком. Он ставил вершу.

— Ничего не понимаю. Как же я здесь очутилась?

— Вы бросили одежду и убежали. Должно быть, испугались. Иногда это бывает во время внушения.

— Какого внушения?

— Честно говоря, я проделал с вами небольшой психологический опыт, — начал импровизацию Озеров. — Помните, вы сказали: это вам не Рио-де-Жанейро. Вот мне и захотелось пошутить.

Она все еще не понимала.

— Вы, конечно, знаете, что такое внушение. Можно внушить желание, требование, действие какое-нибудь. Но можно внушить и ложные ощущения, ложные чувства — галлюцинации. Одна из форм гипноза, если хотите. Чисто природное свойство, как у Куни или Вольфа Мессинга. Я совсем недавно обнаружил его у себя. Ну и внушил вам свое представление о Рио-де-Жанейро, вызвал у вас ощу-

щение утра, моря, незнакомого вам пейзажа. Вы плескались в пруду, а вам казалось, что вас подымает волна океана. Просто, в сущности.

Зоя вдруг облегченно вздохнула.

— Наконец-то все объяснилось по-человечески. А то я боялась и подумать: колдун вы или черт?

— Зоевка, — взмолился Озеров, — вы же диамат изучали!

— Подумаешь, диамат! — Она почти восхищенно взглянула на Озерова. — Вы теперь можете сеансы давать. В Колонном зале или в Политехничке. Честное слово, можете.

Озеров вскипел.

— Молчите лучше — сеансы! В школе узнают — проходу не дадут. Только имейте в виду: я все отрицать буду. Вы же в дурочках останетесь.

— Не злитесь, — миролюбиво согласилась Зоя. — Не подведу. Но хоть передо мной не скромничайте, вы же талант. И потом, я опять хочу в Рио-де-Жанейро! Пусть неправда, но это так чудесно! Внушите, Андрюша, умоляю.

— Только не приставайте, — вздохнул Озеров, — как-нибудь, в свое время.

КОНЕЦ ДЯДИ МИКИ. КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ

Наступила экзаменационная пора. Преподаватели и директор задерживались в школе до вечера, и Озерову только затемно удавалось уединиться. Прогулки по глобусу прекратились. Он понимал, что в такой обстановке трудно было бы сохранить тайну, и он не был уверен в том, имеет ли право открывать ее кому-нибудь, кроме специалистов-ученых. К браслету он не притрагивался, хотя и тянулся к нему, как тянется к папиросе заядлый курильщик, вдруг давший зарок не курить. О происхождении браслета он уже и не думал. Подслушанное суждение Хмелика, хотя и высказанное в шутку, наводило на мысль, как будто бы все объясняющую. Что сказал Хмелик, когда нитка жемчуга упала к нему на стол? «Теоретически это вполне объяснимо. Параллельный мир с одинаковым знаком. Незначительная поверхность касания. Соппротивление — нуль».

Что же лучше может объяснить появление браслета? Рука в воздухе и сверкнувшая дуга. Ниоткуда, из пустоты. Воображение Озерова рисовало ему логически построенные картины. Лаборатория соседнего мира, определившая и открывшая поверхность касания. Кому-то предназначенный браслет, которым пользуются как средством связи и транспорта. Случайность или преднамеренность, благодаря которой браслет сверкающей радугой попадает в наш мир. Озеров улыбнулся своим догадкам: фантазер! Недавно отец говорил ему: «Быть тебе, Андрюшка, писателем — воображения у тебя много».

Не сбылось отцовское пророчество, да и жизнь отцовская оборвалась, когда, пожалуй, еще опрометчиво было предполагать будущую судьбу Андрюшки. В последний раз Андрей увидал отца, когда ему исполнилось восемь лет. Случилось это в январе сорок четвертого года в оккупированной Одессе. Теснимые со всех сторон наступавшими советскими войсками, гитлеровцы особенно ожесточенно прочесывали город. Полицаи, шпики, провокаторы и эсэсовцы старались изо всех сил пополнить подвалы гестапо. В тот ветреный, с изморозью январский день отец пришел из депо не к вечеру, как обычно, а днем и сказал матери: «Меня возьмут сейчас, я их опередил минут на пять. Скажи Женьке из комиссионного, что Дмитрий всех предал. Обоих Луценко уже взяли, и Доманьковского, и Минкевича. Пусть Максим тоже предупредит кого надо о Волчанинове. Оказывается, он уже давно связан с гестапо».

Потом отец обнял Андрюшку и жестко, как отрубил, сказал: «О дяде Мике запомни, не дядя он тебе, а враг. На всю жизнь запомни: не должен ходить по земле этот человек. Это мой наказ тебе, сынок». Женьку мать предупредить не успела: его тоже взяли. А дядя Мика пришел на другой день к вечеру. Но мать стала в дверях каменной бабой и тоже отрубила, как и отец: «Ты сюда не ходи больше. Нет у тебя сестры, а у меня брата. А придут наши — сочтемся». Но дядя успел удрать еще до освобождения Одессы, и след его пропал во тьме. Тьма-то ведь осталась и после суда в Нюрнберге. Многих тьма эта укрыла в Европе, и только годы спустя, когда Озеров с матерью жил уже в Запорожье, он прочел в «Правде» о военных пре-

ступниках, выдачи которых требовало советское правительство. Среди них упоминалось и о Дмитрие Волчанинове.

О дяде Мике вспомнилось не случайно. Совсем недавно, во время своих еще «телевизорных» странствий по глобусу, Озеров набрел на широкую грязную реку. Произошло это так. По какой-то забытой ассоциации пришли на память знакомые с детства строчки Гейне: «Прохладой сумерки веют, и Рейна тих простор». И браслет тотчас же показал мутные, с радужной нефтяной пленкой воды большой реки, серые склады на берегу, кирпичные трубы заводов, кабачки у причалов и виллы с ухоженными лесистыми парками. Медленно двигаясь вдоль реки, Озеров вышел к городу, начавшемуся складами и пристанями и перешедшему в аккуратные набережные с каменными ступенями к воде, готические шпили церквей и зеркальные витрины больших магазинов. Город как город — без названия, без знакомых архитектурных деталей, с неведомыми Озерову памятниками и привычной автомобильной давкой на улицах. Озеров пропустил мимо витрины универмага, поражавшие многоцветным изобилием выставленных товаров, задержался у подъезда и замер.

На улицу вышел пожилой человек в коричневом пальто и зеленой велюровой шляпе, с аккуратно упакованным свертком. Но не пальто и не сверток привлекли внимание Озерова. Он узнал их владельца. Это был дядя Мика, постаревший, обрюзгший, уже не с черными, а седыми стрелочками усов, но все с той же хитрецей и наглостью во взгляде, с той же брезгливой складочкой поджатых губ, с той же бычьей шеей. Знакомый облик изменился ровно настолько, что не узнать его Озеров не мог. Но он все еще сомневался, не веря ни памяти, ни интуиции, и с напряженным вниманием, боясь упустить, проследовал за ним до пивной на перекрестке двух улиц, до столика с мраморной пятнистой доской, за который он уселся привычно, по-домашнему, без слов просигнализовав о чем-то официанту. Озеров жадно наблюдал за каждым его движением, как глотал он желтую пену с пива в большой глиняной кружке и ковырял зубочисткой в противно знакомом рту. И все же Озеров сомневался до тех пор, пока к столику не

подсел серый, обшарпанный человек, видимо давно уже утративший и самолюбие и самоуважение.

— Пришел, как вы приказали, Дмитрий Силыч, — сказал он по-русски.

И Озеров понял, что не ошибся, что не подвели его ни память, ни интуиция, что перед ним действительно дядя Мика, переживший и драп из Одессы, и разорение своих хозяев, и процессы над военными преступниками. Новых хозяев нашел дядя Мика, и, должно быть, платили ему не плохо — очень уж величественно и надменно заказал он подсевшему кружку черного мюнхенского и начал разговор с таким пренебрежительным превосходством:

— Стрелять еще не разучился?

— Никак нет, Дмитрий Силыч. В яблочко.

— Далеко придется ехать, Титов.

Подсевший поставил кружку на стол и отодвинулся:

— В Россию не поеду, Дмитрий Силыч.

— В России ты нам и не нужен. Не по уму тебе.

— Куда ж тогда?

— В жаркие края, Титов. В Африку.

— А стрелять кого?

— Кого прикажут. Тебе-то не все равно? Харч и выпивка обеспечены. Автомат дадут. И крой. — Он пожевал губами и написал что-то на бумажной салфетке. — Прочел? Запомнил? Скажешь: от Волчанинова. Там и контракт подпишешь и получишь... Как их, ну как они в родимой стране называются? Подъемные! — вспомнил он и хохотнул, вытирая рукой усы. — Не забыл еще родимую-то страну, Титов?

Серый, обшарпанный человечек молча допил пиво и встал:

— Премного благодарен, Дмитрий Силыч.

А Озеров все ждал и ждал, пока не вышел на улицу породный господин Волчанинов, пока не дошел он до скучного дома у реки, пока не поднялся к себе на пятый этаж и не отомкнул длинным, затейливым ключом неприбранную холостяцкую комнату. Тут и отключился Озеров: что-то перехватило горло, чуть не вытошнило.

А сейчас, после экзаменационной шумихи, в десятом часу, когда школа наконец опустела и Озеров вытянулся у себя на кровати и ждал сна, перебирая в памяти цепи ассо-

циаций, вот сейчас и вспомнились опять и одесский дядя Мика, и нынешний господин Волчанинов. А главное, вспомнился отцовский наказ. Не должен ходить по земле этот человек. А он ходит. И от расплаты ушел. «Копейка тебе цена, Андрюшка Озеров!»

Он почувствовал, как кровь приливает к лицу, сердце бьется в груди все сильнее и на лбу выступают капельки пота. А ведь есть все-таки возможность расплаты — сама жизнь предоставляет ее. Озеров глубоко вздохнул, стиснул зубы и все забыл, кроме одного. Он припомнил большую грязную реку, склады и пристани на берегу и проделал снова тот же «телевизорный» путь, который прошел уже раз и который снова привел его в город на Рейне, в неприбранную холостяцкую комнату. Впрочем, сейчас она была уже прибрана, стол покрыт зеленой плюшевой скатертью, а знакомый господин с седыми подстриженными усами пересчитывал, раскладывая по столу, хрустящие денежные купюры.

Озеров передвинул изображение так, что и стол, и дядя Мика оказались сбоку, и, повернув браслет, бесшумно шагнул в комнату. Но у дяди Мики был волчий слух. Он сейчас же повернулся, прикрыл деньги руками и крикнул:

— Кто? — и сразу же повторил по-немецки: — Вер ист да?

Озеров не двигался и молчал, изучающе рассматривая Волчанинова, а тот с удивительной для его комплекции быстротой загнул над деньгами угол плюшевой скатерти и выхватил из кармана пистолет, похожий на «ТТ»: Озеров не очень-то разбирался в оружии.

— Руиг!

— А вы не узнали меня, дядя Мика? — спросил Озеров, не двигаясь.

— Руки на стол! — крикнул Волчанинов.

— У меня нет оружия, — сказал Озеров. — Вы приглянитесь, дядя Мика: говорят, я очень на отца похож.

Волчанинов вгляделся.

— Петр? — спросил он неуверенно. — То есть... неужели Андрюшка?

— Вот и узнали, — усмехнулся Озеров.

— Вроде действительно Петр. Вылитый. Оттуда?

— Конечно.

— А зачем? Турист?

Озеров кивнул.

— А сюда как вошел? Я дверь запер.

— Длинным таким ключиком, — засмеялся Озеров.

Волчанинов насторожился. Рука с пистолетом чуть-чуть дрогнула и поднялась.

— Откуда знаешь?

— Я многое знаю.

— Отмычкой открыл? Сдается мне, что ты совсем не турист. Подослали?

— А что, страшно? Сколько душ вы загубили, дядя Мика? Сколько людей продали? И думаете, ушли от расплаты? Не ушли.

— А ну, клади оружие! — скомандовал Волчанинов. — На стол! Разведчик из тебя липовый. И учти, не промахнись.

Озеров вывернул карманы брюк. Посыпались семечки и крошки хлеба.

— Нет у меня оружия, видите?

Волчанинов оскалился недоброй улыбкой.

— На свои руки рассчитываешь? На приемчики? Как эго у вас называется, самбо или дзюдо? Да я из тебя, милоч, одной левой паштет сотворю.

— Я драться не буду, — сказал Озеров и шагнул вперед.

— Стоять на месте! — приказал Волчанинов. — Стреляю.

Озеров повернул браслет. Что увидал Волчанинов, когда воздушная среда между ними превратилась в комнату Озерова? Может быть, непрозрачную туманность, какое-нибудь завихрение воздуха, игру света — Озеров не знал. Да и не стремился узнать. Укрывшись за своей синей камеркой, невидимый для дяди Мики, он продолжал наблюдать за ним. Тот глупо моргал глазами, протер их, подошел к двери, открыл ее, выглянул и опять закрыл, заглянул под стол и даже в окно, как будто Озеров мог спрятаться на карнизе. От разведчика всего можно было ожидать, и это отождествление его, тихони и мямли, с представителями одной из самых героических в нашей стране профессий, пожалуй, больше всего рассмешило Озерова. Но на войне — как на войне, говорят французы. Если тебя при-

няли за разведчика, продолжай игру. Противник растерян? Атакуй. Чем? Его же оружием.

Пистолет дяди Мики лежал на столе, охраняя денежные купюры, которые тот опять принялся пересчитывать. Но былого спокойствия уже не было. Он то и дело озирался, к чему-то прислушивался, оглядывался то на окно, то на дверь. Озеров приблизил изображение, взяв, как говорят в кино, пистолет крупным планом, создал проходимость, подождал, пока Волчанинов потянулся за очередной пачкой денег, и незаметно, беззвучно снял пистолет со стола. Тут даже волчье чутье бывшего гестаповца не обнаружило исчезновения пистолета. Дядя Мика продолжал свою бухгалтерскую работу.

И тут Озеров вышел снова, на этот раз из предосторожности оставив между собой и противником стол. Дядя Мика так и застыл с разинутым ртом и остекленевшим взглядом. Одно чувство владело им — ужас. Он уже ни о чем не спрашивал и ничего не старался понять. Только правая рука, как протез, механически шарилась по столу.

— Он у меня, — сказал Озеров и показал пистолет.

— Когда взял?

— А разве это важно? — рассмеялся Озеров.

— Застрелишь?

— Обязательно.

— За что?

— Умный вы человек, дядя Мика, а задаете глупейший вопрос. Знаете, что мне отец сказал перед арестом? «Не должен ходить по земле этот человек». Это о вас.

— Так когда это было? — с наигранным смирением заговорил Волчанинов. — Война тогда шла, Андрюша. Все воевали — кто с кем. Ну, мы с твоим отцом в разных лагерях оказались, бывает. Да ведь кончилась война-то. Давным-давно кончилась.

Озеров не выдержал. До сих пор он говорил спокойно и тихо, а здесь не смог.

— Для кого кончилась? — закричал он. — Для честных людей кончилась. А для вас — нет. Это ваша профессия. Чужой кровью торговать. И сейчас подторговываете. Продали Титова? Продали.

— Я ошибся, — прошептал Волчанинов.

— В чем?

— В тебе. Сказал, что ты липовый разведчик. А ты даже об этом знаешь. От него?

— Кому что скажет этот проданный человек? — Озеров указал пистолетом на пачку денег. — Вот это больше говорит. Плата за головы?

— Бери! — прохрипел Волчанинов и подвинул деньги на край стола.

— Ничему вы не научились, дядя Мика, — вздохнул Озеров.

«Неужели выстрелю? — подумал он. — Выстрелю».

Должно быть, это понял и дядя Мика.

— Это самосуд, Андрюша, — заторопился он. — Не похвалят за это у вас. Судить еще будут за самоволку.

— Оправдают, — убежденно сказал Озеров и прицелился.

— Цу хильфе! — завизжал Волчанинов. — Шнель! Шнель!

Но Озеров уже нажал курок. Пистолет негромко хлопнул несколько раз, и тело Волчанинова начало медленно оседать на пол. Дальнейшего Озеров не увидел: отшвырнув пистолет, он ушел к себе в комнату, а через несколько минут все происшедшее приобрело какую-то отчужденность, словно случилось не с ним, а где-то было прочитано или увидено в кино. Словно не было совсем в его жизни ни далекого города на Рейне, ни дяди Мики, ни автоматического пистолета с глушителем. Даже волнения не было — наоборот, какое-то чувство облегчения наполняло его, дышалось легко и думалось беззаботно, как в детстве.

И вместе с тем в нем подымалось, росло, тревожило и требовало каких-то важных решений другое чувство — желание покончить с браслетом, с единоличным владением этой лампой Аладдина, с одинокими прогулками по глобусу, с их неразделенными радостями и неоправданным риском. Конец дяди Мики был последним приключением, которое привело Озерова к сознанию его ответственности перед государством и обществом. Он понимал, что обладает секретом огромного научного значения, может быть государственной важности, и что новая Шехеразада должна была придумать и новый конец его сказки. «А я знаю эту Шехеразadu», — весело подумал Озеров и

взглянул на часы. Было около одиннадцати. «Хмелик, наверно, еще не спит. Хорошо бы поймать его одного».

И Хмелик, к счастью, был совсем один, сидел у того же стола, на который с неба свалилась к нему нитка жемчуга, и что-то писал. Озеров вошел к нему, как Мефистофель к Фаусту, и остановился у стола, ожидая привычной реакции на чудо.

Но ее не последовало. Хмелик не вскочил, не разинул рта и не выпучил глаз; он просто поднял голову, критически посмотрел на него, оглянулся на дверь, сразу поняв, что этим путем Озеров войти не мог, и спросил:

— Ты не галлюцинация?

— Нет, — улыбнулся Озеров, — это я сам.

— И не привидение?

— Кентервильское привидение у Оскара Уайльда жаловалось на ревматизм, — со вздохом произнес Озеров. — Я тоже хочу пожаловаться.

— И тоже на ревматизм?

— Нет, на чудеса. Например, я только что убил человека.

— Бывает, — сказал Хмелик. — Садись, старик. Рассказывай.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ПАРАДОКС. ПОИСК В СЕВЕРНОМ МОРЕ

Озеров рассказал. Рассказчик он был плохой, то и дело путался, повторялся, мямлил и все время подозрительно и с опаской поглядывал на Хмелика: поверит ли? Он словно пристреливался к слушателю, повторяясь так часто, так упорно возвращался к совсем уже несущественным деталям, что даже железный Хмелик не выдержал и улыбнулся.

— Не веришь? — насторожился Озеров.

— Почему? — пожал плечами Хмелик. — Верю.

— А улыбаешься.

— Медлитель ты. Типичный. Открыл второстепенные свойства браслета и умиляешься. Главное же не в этом.

— Перехожу к главному. Между прочим, оно с тобой связано.

Если Озеров рассчитывал удивить Хмелика, то он опять ошибся.

— Знаю, — сказал Хмелик и бросил на стол злополучную нитку жемчуга. — С этого все и пошло?

— С этого?

— Где взял?

— Где-то в Лондоне. На витрине. Потом не мог вспомнить где. А тут ты подвернулся с Вале́й.

— В синей каемке?

— Потом в оранжевой.

— Понятно, — усмехнулся Хмелик, — нуль-переброска украденных ценностей.

— Почему же ты не загнал?

— Между прочим, красная цена этой цацке три рубля. Дешевле «Столичной».

— А как же золото?

— Оно той самой пробы, которую негде ставить. Валяй дальше.

Дальше пришлось рассказать о ящерице и о приключении в Рио. Хмелик поморщился. Зато конец дяди Мики вызвал у него поощрительное оживление.

— Неужели выстрелил? Врешь!

— Честное слово.

— И попал?

— Как будто. Я не дожидался... — Озеров не удержался от вздоха.

Хмелик захохотал:

— Неужто жалко?

— Ну, знаешь... все-таки убить человека!

— Во-первых, ты не знаешь, убил или только ранил. А во-вторых, это не человек. Клопов морят, гадюк давят, а таких вешают. А тут вместо петли пуля. Даже гуманно. В общем, не будем задерживаться на сей полезной для человечества акции. Закругляйся.

— Все.

— Что — все?

— Последний опыт. Кентервильское привидение в гостях у физика. Теперь ты знаешь не меньше меня.

— Но и не больше. — Хмелик оттолкнулся от кресла и зашагал по комнате.

— Чем дальше мы ушли от пресловутого Аладдина? У него лампа, у нас браслет. Он тер ее тряпочкой и получал, что заказывал. Ты крутишь браслет и получаешь примерно то же. Словом, в руках у тебя устройство, о конструкции и принципах работы которого мы знаем только то, что оно настроено на твои биотоки и создает в реальной действительности физически достоверный геометрический парадокс.

— Почему парадокс?

— А по-твоему, не парадоксально то, что пространство, которое ты считаешь плоским, искривляется настолько, что любые две его точки соединяются в одну, притом с полнейшей физической достоверностью.

— А почему браслет не снимается?

— Потому что соединилось несоединимое — синтетический материал браслета с живой тканью руки. У нас это уже делается: полубиологические протезы. Есть такая белковая ткань — коллаген. Она и приживает синтетику, рассасываясь в организме. Но как произошел сплав живого и неживого в твоём случае, гадать трудно. Приживание полное, даже с утратой видимости.

— А происхождение браслета? Откуда он? Ты же физик.

Хмелик воздел руки к небу.

— Падре, я верил в вас, как в бога! Нет, старик, я не Саваоф, а простой кибернетик, и двери в антимир мне не подчиняются. Не выпучивай глаза: антимир — к слову. В данном случае — просто сосуществующий мир с тем же знаком. Ну вот, должно быть, там и нашли способ сближения пространства, такого нуль-перехода в пределах планеты. И к нам такой переход ищут. Я бы в твою колдовскую рощу, — назидательно прибавил Хмелик, — научную экспедицию послал, встретились бы наши братья по разуму с понимающим товарищем. А то напоролись на полиглота-собственника.

— Кончай треп! — вскипел Озеров. — Я и не собираюсь скрывать от науки эту штуковину. Ты первый...

Хмелик измерил его насмешливым взглядом.

— Садись, благодетель человечества. Лингвист-филантроп. Блаженствовал с кругосветным билетом Кука без паспортов и виз, а теперь: «Хмелик, объясни!» Да за эту неделю мы бы доклад в Академию наук подготовили.

— Между прочим, из «Хмелик, объясни» ничего не вышло, — заметил Озеров.

— А что ты хочешь? Формулу? Да ее сам Колмогоров не выведет. Система сложная, что-то вроде «черного ящика», о конструкции которого мы ничего не знаем. Математическим языком ее не запишешь. Алгоритм неизвестен. Что же можно предположить? То, что у нее, как у всякого кибернетического устройства, есть «входы» и «выходы». На «входы» поступает географическое понятие или зрительное представление о нем, а с «выходов» — окно с синей каемочкой или дверь с оранжевой. Сиречь нуль-проход. Географию машина знает лучше нас с тобой, может найти любую точку на карте.

— Я все удивляюсь почему. Ведь это география нашего мира.

— А может быть, у них та же география. И Лондон на том же месте, и Париж. Вероятно, совсем другие, но место-то одно. На том же меридиане.

Оба умолкли, подавленные сложностью удивительной и едва ли объяснимой загадки.

— Будем ставить опыт, — сказал Хмелик. — Сначала положим на место этот фальшивый жемчуг. Туда, где ты его взял.

— Я не помню, где я его взял, — печально промолвил Озеров.

— Улицу не помнишь?

— Ни улицу, ни дом. Кто знает, сколько ювелирных магазинов в Лондоне. А браслет сам найти не может.

— Ты забываешь, что это, возможно, кибернетическое устройство. Следовательно, у него есть «память». Если он показал тебе эту витрину, значит, он ее запомнил. А что ты запомнил на этой витрине?

— Только подставку, на которой лежало ожерелье.

— Вот и представь себе эту подставку. Поотчетливей и покрупней.

Озеров задумчиво повернул браслет. И мгновенно перед ними в синем «окошке» материализовалась хрустальная подставка с точно такой же ниткой жемчуга, какая лежала у них на столе. Оба захохотали.

— Дай-ка я положу, — возбужденно сказал Хмелик.

Озеров превратил «окно» в «дверь», и Хмелик с каменным лицом осторожно-осторожно водрузил одно ожерелье на другое. Подставка с жемчугом растаяла в воздухе.

— Чудовищно интересно, — сказал Хмелик. Он уже не глядел на Озерова, о чем-то задумавшись.

Оба молчали. Один — с чувством гордости, как обладатель Аладдинова чуда, другой — сосредоточенно размышляя о каких-то неведомых партнеру перспективах. Хмелик молчал долго. Озеров уже два раза спрашивал его: «Ну, а теперь что?» Но Хмелик словно не слышал вопроса. Наконец он достал тоненькую папку бумаг, скрепленных в скоросшивателе, просмотрел их и сказал, словно подумал вслух, явно не обращаясь к Озерову:

— Они выехали в четверг, — он загнул два пальца, — значит, только к утру будут в Лондоне. Сейчас, должно быть, где-то в Северном море. У нас первый час; у них, очевидно, десятый. Самое время — никто не спит.

— Ты о чем? — спросил Озеров.

— Надо найти наш теплоход. Следует курсом Ленинград — Лондон, через Кильский канал и Северное море.

— Зачем тебе?

— Треба одного человечка повидать. Срочно. Едет в Лондон на симпозиум по вопросам машинного перевода.

— А ты при чем?

— Материалы к докладу вместе готовили. И тема общая: задачи дискретной экстраполяции. Да ты, гуманитарий, все равно не поймешь.

— Почему? — обиделся Озеров. — Как-никак имею некоторое отношение к языкам.

— Вот именно: некоторое. Не зная языка, не переведешь. А машина переводит. Когда Игорь уже уехал — этот самый хлопец и есть, — мы кое-что сделали в группе. Буквально позавчера. У нас было шестнадцать образцов перевода с грузинского на арабский. И ничего больше — ни грамматики, ни словарей. И представь себе: чисто формальными автоматными методами удалось правильно перевести кусок совсем нового текста. Ты соображаешь, что это для математики?

— Почему математики? — не понял Озеров.

— Чудак, суть-то ведь в алгоритмах, перерабатывающих буквенную информацию. Игорь с этого и начнет. А вот с такой тетрадкой, — Хмелик торжественно потряс скоросшивателем, — совсем другой вес получится. Как в боксе. Из полусреднего в полутяжелый.

Озеров задумался. Идея Хмелика казалась все более неосуществимой.

— А как искать теплоход? Телевизорным способом? Елозить по морю туда-сюда? Между прочим, это сотни тысяч квадратных километров. И в темноте. Это тебе не улица — фонарей нет.

— Там другой пояс времени. Еще не ночь.

— Сам по себе браслет не найдет, — продолжал сомневаться Озеров, — а я этот теплоход даже на фото не видел.

— Другие видел. А все пассажирские лайнеры примерно на одно лицо. Кроме того, я дам координаты. Это во-первых. Теплоход белый, однотрубный, над трубой, вероятно, витки дыма, на корме крупно название «Эстония» латинскими буквами. На носу тоже. Представить сможешь. А во-вторых, у нас есть карта с маршрутными рейсами. — Хмелик достал атлас, раскрыл его и ткнул карандашом в Кильский канал. — Пунктирчик видишь? Это и есть наш рейс. Заводи игрушку и веди карандашом по пунктирной линии прямо к берегам Англии. До конца не доводи: они еще в пути. Браслет — устройство умное: поймет.

Озеров посмотрел на карту, повернул браслет, провел карандашом требуемую линию и представил себе вечернее море без берегов, темную, почти черную пучину с завихряющимися барашками волн. Таким оно и предстало перед ними, обрезаю половину комнаты; возникло в кипучем, стремительном движении, как будто они с Хмеликом наблюдали его с низко летящего вертолета или с борта морского быстрого катера, Хмелик даже взвыл от восторга:

— Настоящее! Чудеса в решете!

— Все настоящее, — сухо сказал Озеров, — только теплохода нет.

— Найдем, — объявил Хмелик, — я в эту игрушку верю. Настраивай его на теплоход, настраивай! — закричал он. — Большой, высокий, широченная труба, дым клубится, на корме — «Эстония» латинскими буквами. Что такое латинский шрифт, браслет, конечно, не знает, ты представь зрительно. Подхлестни мозг, старик, воспроизведи картину. Ей-богу, не трудно.

Озеров вспомнил теплоходы в одесском порту и моментально представил себе круглую высокую корму с крупной латинской надписью. И она появилась перед ними, вырван-

ная невидимым джином из бескрайней водяной пучины, слитного свинца моря и неба.

— Нашли! — радостно прошептал Хмелик и толкнул Озерова. — Объезжай.

Озеров повиновался, и лайнер повернулся к ним боком; его высоченный борт уходил под потолок комнаты, обрезанный синей светящейся ленточкой. Казалось, можно было коснуться белой металлической обшивки. Хмелик так и сделал, но его рука вошла в борт, как в воздух.

— Понятно, — сказал он, — касание не полное. Следующий этап — нуль-проход. А какая каемочка?

— Оранжевая, я говорил уже. А почему они светятся?

— Откуда я знаю? Перед нами физически необъяснимое чудо. По крайней мере, законами нашей физики. Во всяком случае, это не аргон и неон. Можно предположить какие-то атмосферные явления на границах слоев воздуха различной плотности, но лучше подумать скопом. Тут много умов понадобится.

Белая стена борта растворилась в пустынной прогулочной палубе с покинутыми уже шезлонгами и закрытыми оконными жалюзи кают первого класса, — это Озеров подумал о населении теплохода. Невидимый объектив телевизора, как ножом, разрезал всю линию примыкающих к борту кают, но Игоря Хмелик не обнаружил. Звуки рояля, доносившиеся из открытых дверей, привели в голубой салон, где одиноко музицировала седая горбоносая дама. За мелькнувшей в коридоре белой курткой официанта проследовали в ресторан, светлый и шумный. Медленно маневрировали между столиков, разглядывая пассажиров. Озеров чувствовал, как пальцы Хмелика все сильнее впиваются в его руку, и наконец Хмелик вскрикнул:

— Стой! Он.

Озеров увидел близорукого блондина лет тридцати, с аппетитом обсасывающего куриную косточку. Его модный элегантный костюм радужно поблескивал в свете люстры, как нефтяная пленка на мокром асфальте.

— Где будем выходить? — спросил Озеров.

— погоди, не отключайся, — заторопился Хмелик, открыл шкаф и принес два пиджака. — Мы с тобой примерно одной комплекции, а то как-то неудобно в одних рубашках. Все-таки заграничный рейс.

Озеров поднял «окно» до шлюпочной палубы. Здесь в окружении огромных, затянутых брезентом шлюпок можно было высадить целый десант. В свете далекого фонаря виднелись надраенные доски палубы с просмоленно-черными стыками. Озеров, перешагнув оранжевую ленточку, постучал каблуком по этим доскам.

— Еще один парадокс — арифметический, — обернулся он к Хмелику. — Чему равен человеческий шаг? В данном случае тысяче километров. А может, и двум.

— Давай, давай, — подтолкнул его Хмелик, — пошли, — и прыгнул на палубу.

За ним Озеров. И сразу все, что осталось позади, — Москва, набережная, их восьмизэтажный дом, комната Хмелика — скрылось за сумеречной мглой моря и неба. В полете палубы гулял соленый морской ветер. Глубоко внизу пенились неразличимые в брызгах вороненые волны.

— Валька, наверно, уже пришла и потрясена: меня нет и записки нет. А как хорошо, Андрей! — проговорил Хмелик, впервые называя Озерова по имени. Глаза его искрились неподдельным восторгом. — Как жаль, что человечество еще не владеет этим открытием!

Они спустились по трапу двумя этажами ниже и вошли в ресторан. Хмелик решительно подошел к уже знакомому столику и, указав Озерову на свободное место, спросил не без лукавинки в голосе:

— Может быть, разрешите присесть?

Блондин в поблескивающем костюме, не узнавая, а может быть, просто не вглядываясь, кивнул.

— Недели не прошло, а он уже не узнает друзей и соратников. Ау, Игорь, ку-ку!

Игорь положил на стол обкусанный ломтик хлеба и надел очки.

— Севка! — воскликнул он. — Ты или не ты?

— «Кто знает, ты явь или призрак... ты будешь ли, есть ли, была ль?» — продекламировал Хмелик.

Зрачки Игоря за очками разлились до белков.

— Откуда вы? Каким образом? — И вдруг с ноткой испуга: — Что-нибудь случилось?

— Случилось. — Хмелик положил на стол свою папку. — Пока ты плыл, Лялька целый кусок выдала.

— Какая Лялька? — спросил Озеров.

— Наше кибернетическое сокровище. Не мешай, — отмахнулся Хмелик и продолжал, почти гипнотизируя Игоря. — Еще при тебе Мишка Поливанов над программой работал?

— При мне, — кивнул Игорь. — С грузинского на арабский. Не поет.

— Запела, — сказал Хмелик. — Данелия произвольный текст взял. Из курса статистической физики на грузинском. В основе программы те же образцы перевода. Мы даже букв не знаем, ни грузинских, ни арабских, — он обернулся к Озерову, — а она выдала.

— А верно? — усомнился Игорь. — Вдруг абракадабра?

— Сверяли. Вот погляди, — он подтолкнул папку к Игорю, — тут все данные.

Игорь медленно перелистал подшитые записи, потом начал читать. О чем-то спросил Хмелика, тот ответил. Еще вопрос и ответ, но для Озерова с таким же успехом разговор мог продолжаться и по-грузински и по-арабски.

— ...точнейшая обработка буквенной информации.

— ...дискретная экстраполяция отображения.

— ...а правила эквивалентных преобразований?

— ...а язык для сокращенных записей алгоритмов?

— А закусить здесь можно? — не выдержал Озеров: с подноса проходившего мимо официанта пахло чем-то невыносимо вкусным.

— Идея! — хохотнул, отвлекаясь от разговора, Хмелик и остановил официанта: — Сообразите нам что-нибудь из ужина. Только быстро.

— Шницель?

— Два и бутылку рижского. А ты, Игорь, рассчитайся и ступай к себе. Доклад дополнять придется: как-никак новый компонент!

Игорь нерешительно поднялся; что-то его смущало.

— А как вы догнали нас? На самолете?

— На вертолете. Иди.

— А с каютой как? Устроились?

— В салоне на рояле. Иди, иди!

— Мистика, — пробормотал Игорь, — ей-богу, мистика.

— Физика! — заорал Хмелик. — Чистая физика!

Игорь ушел с драгоценной папкой, а Хмелик с Озеровым молча доели принесенный официантом шницель и так же

молча поднялись на палубу. Из-за облака выглянула луна, разрезав черную гладь моря блестящим клинком. Хмелик сказал мечтательно:

— Теперь только я понимаю твои приключения, Андрейка. Это как магнит. Неплохо бы так скоротать ночь в каком-нибудь шезлонге, а утром в Лондон.

— Зачем ночь коротать? — равнодушно заметил Озеров. — Можно и прямо в Лондон. Хоть сейчас.

— Нет уж, не надо, — вздохнул Хмелик. — Давай в Москву.

ЧЕЛОВЕК-БРАСЛЕТ. ПО МАРШРУТАМ ЖЮЛЯ ВЕРНА

Озеров пришел к Хмелику обычным евклидовым путем, поднявшись на лифте вместе с высоким, тщательно одетым и похожим на англичанина человеком с проседью в коротко подстриженных волосах. Это был коллега Хмелика по университету, профессор с физфака Сошин. Следом пришел уже совсем седой, но значительно менее отутюженный профессор-геолог Гиллер. Их уже ожидали и бурно приветствовали хозяин и его ровесники — хирург Губин и океанолог Минченко.

Стол из комнаты был вынесен, хотя Озеров уверял, что он ничему не помешает. Вместо стола водрузили на тумбочке привезенный с электростанции прожектор.

— Это зачем? — удивился Озеров.

— Увидишь, — загадочно ответил Хмелик.

Он зашторил окно, и в полумраке браслет Озерова тотчас же приобрел видимость, освещенный изнутри слабым розоватым мерцанием. А в двух шагах сквозь щель между шторами властно пробивался воскресный солнечный день, и его пронизанные пляшущими пылинками лучики делили затемненную комнату на две зоны. В одной разместились хозяин и гости, в другой должно было открыться им непостижимое озеровское «окно».

— Леди и джентльмены, — с иронической торжественностью начал Хмелик, — коллеги! Наша авторитетная аудитория включает двух докторов и трех кандидатов наук по специальностям, непосредственно заинтересованным в эксперименте. Каждый о нем уже в общих чертах инфор-

мирован. Поэтому симпозиум по вопросам работы уникального кибернетического устройства под условным названием «человек-браслет» можно считать открытым.

— Нельзя ли серьезнее? — недовольно откликнулся Сошин. — Я вас не узнаю, Хмелик.

— Это совершенно сознательно, Павел Викторович. Эксперимент настолько необычен, настолько граничит с чудом, что какая-то доза юмора — просто средство самозащиты. Когда я увидел это в первый раз, сознание собственного бессилия, невозможности научно объяснить увиденное подавляло чуть ли не до отчаяния.

Хмелик воспользовался паузой, последовавшей за его репликой, и продолжал:

— Озеров уверяет, что нашел обыкновенный металлический или пластмассовый браслет. Правда, странно теплый для металла или пластика. После того как надел его на руку, браслет исчез. При дневном или электрическом свете он невидим. Почему? Только в темноте возникает это мерцающее розовое свечение. Опять почему? Каковы причины этой прозрачности и свечения? Какова их физическая природа? Мы не можем объяснить это ни умозрительно, ни экспериментально. А каким образом браслет стал частью организма человека, как произошло это сращение живого и неживого? Это твой департамент, Губин. Проверь.

Губин осторожно пощупал светящееся кольцо на руке Озерова.

— Это живая ткань, — сказал он. — Твердая и в то же время подвижная. Впечатление перемежающейся опухоли. Дичь какая-то. Медицина знает примеры приживления синтетических материалов. Есть даже средства специальные.

— Колларген? — спросил Хмелик.

— Не только. Здесь и вещества, препятствующие свертыванию крови. Полагаю, однако, — задумчиво прибавил Губин, — что вживление происходило другим путем, нам неизвестным. Может быть, это совсем не синтетика, а биоткань.

— Но ведь это же механизм, — заметил кто-то.

— Я назвал его микрокибернетическим устройством чисто условно, — сказал Хмелик. — Возможно, это еще

более сложная, неизвестная нам система. То, что удалось обнаружить экспериментально, — она, срачиваясь с человеческим организмом, настраивается на его биотоки и, как волшебная лампа Аладдина, выполняет мысленные приказы хозяина. Какие именно и как именно, вы сейчас увидите. Предпошло только маленькое введение. Помните старый пример с двумя точками на листе бумаги? Согнув этот лист, вы совмещаете их в одну. Браслет Озерова делает это с нашим трехмерным пространством в пределах планеты, причем ни расстояния, ни природные или искусственные препятствия не играют никакой роли. Видимо, в мире, откуда появился этот браслет, известны какие-то свойства пространства — времени, позволяющие регулировать положение двух точек на карте с максимальной точностью наводки. Парадокс неевклидовой геометрии приобретает физическую достоверность, сказка о сапогах-скороходах становится былью.

Хмелик понимал, что не объяснит и сотой доли того, что покажет демонстрация браслета в действии, но не мог отказать себе в удовольствии изложить уже продуманные и выношенные умозаключения.

— Загадочную для нас «работу» браслета, — торопливо продолжал он, словно боясь, что его прервут особенно нетерпеливые слушатели, — можно сравнить с нейронными процессами в мозгу: он принимает сигналы, поступающие на «входы», и выдает с «выходов» готовые решения. Есть в кибернетике устройство, реализованное Ньюэллом, Шоу и Саймэном. Оно последовательно преобразует исходную ситуацию, пока она не станет «конечной». Аналогично, по-моему, функционирует и браслет. К примеру, исходная ситуация — мысленный приказ Озерова: найти и показать набережную Ист-ривер в Нью-Йорке. Ситуация преобразуется так: на запрограммированной карте мира устройство находит Нью-Йорк, остров Манхэттен и набережную Восточной реки. Затем сближаются исходная и конечная точки. Границы касания очерчены синим светом. Видите?

В повисшем посреди комнаты широком озеровском «окне» возникло видение ночной набережной — черный каменный парапет, электрический фонарь и его отражение в черной воде. Проплыла мимо такая же черная спина по-

лицейского. Гроыхнул высоко нагруженный бочками грузовик. Где-то на реке загудел катер.

Все молчали, как бы соглашаясь, что словами тут ничего не выразишь. Только Валя спросила робко:

— А почему так темно?

— Потому что в Нью-Йорке ночь, — отрезал Хмелик и кивнул Озерову. — Отключайся, старик.

Видение вместе с «окном» растаяло в воздухе.

— Видите, как точно и безошибочно работает устройство, — возбужденно продолжал Хмелик. — Допустим теперь, что на «входы» поступает не географическое понятие, а конкретный зрительный образ. Андрей, давай нашу набережную.

В синей, светящейся каемке вновь появившегося «окна» зашумела в пламени июньского солнца знакомая всем набережная Москвы-реки возле их дома.

— Обратите внимание, наводка почти мгновенна. Воспроизводится образ, уже когда-то запечатленный браслетом в своей механической памяти. А емкость этой памяти колоссальна. Она вмещает, во-первых, всю карту мира, точнейший оттиск планеты, без масштабных приближений. Ни в одном генеральном штабе такой карты нет. Во-вторых, она хранит все, что воспроизводит. Все увиденное с ее помощью Озеровым в течение всей его жизни будет вложено в эту память. А я думаю, что время действия ее практически не ограничено каким-либо числом человеческих жизней. И мы не знаем, первым ли ее информатором стал Озеров или ему предшествовали его братья по разуму? И сколько их было? И какую информацию накопила машина? И почему мы тогда не можем поставить знак равенства между емкостью ее биомеханической памяти и вместимостью памяти современного человека? А эта вместимость достигает гигантской цифры, в десять в двадцатой степени условных единиц информации, что, в общем, равно всему информационному фонду любой из крупнейших мировых библиотек. Павел Викторович морщится: я не привожу источников этих подсчетов, кстати говоря, не моих, а математика Джона Неймана. Профессору они известны, а остальные могли прочитать об этом в одном из наших журналов.

Последовавшее молчание было долгим и почему-то неловким. Озеров с любопытством отметил, что все глядели на браслет — не на него. Для них он был только уникальным кибернетическим устройством. «Как в цирке, — подумал он, — человек-змея, человек-молния, человек-браслет. Смешно». А с каким удовольствием он снял бы этот проклятый браслет и подарил тому же Хмелику. Увы!

Гиллер первым нарушил молчание.

— Считаю себя не вправе участвовать в экспертизе. Я не физик и не географ и не вижу, возможности использовать эту штуку для нас, геологов. Разве только как средство транспорта или для спасательных работ. Не знаю.

Вместо ответа Хмелик подтолкнул Озерова:

— Режь вниз, Андрей.

— Куда? — не понял тот.

— Под землю. Вообрази, что ты бур и со скоростью автомашины врезаешься в недра. Крой насквозь. До Австралии...

— Вы с ума сошли, Хмелик, — оборвал его Гиллер, но продолжить не успел.

В синей каемке «окна» посреди комнаты поползло что-то мутное, ровное, то светлея, то темнея до черноты, то опять светлея и перемежаясь белеющими прожилками.

— Валя, прожектор! — крикнул Хмелик. — Вполсили. Не полный.

Включенный прожектор осветил светло-серые неровные массы.

— Граниты, — прошептал Гиллер, резко выдвинув стул вперед.

Сейчас он мог дотронуться до скользящей вверх гранитной стены.

Серая стена вдруг рассыпалась разноцветной мозаикой.

— Ого! — сказал кто-то.

Озеров по голосу не разобрал кто, но не оглянулся, боясь «отключиться».

— На сколько мы спустились? — спросил тот же голос.

— Наверно, на несколько километров, — откликнулся Хмелик. — Ведь спускаемся с автоскоростью. Что это?

— Кристаллы горного хрусталя, — пояснил Гиллер и тихо спросил Озерова:

— А можно глубже?

Пестрая, с отливами каменная стена помутнела, стала матово-черной, и вдруг чернота, сначала слабо, а потом все сильнее отсвечивающая, превратилась в сверкающий поток расплавленного металла.

— Магма, — сказал Гиллер. — Проектор не нужен.

— Какая глубина?

— Трудно сказать. Думаю, больше пятидесяти километров. Вы что, действительно собираетесь добраться к центру Земли?

— Хотите сию минуту?

— Никоим образом. Попрошу прекратить опыт.

— Озеров, не отключайся, — предупредил Хмелик. — Почему, профессор?

— Опыт должен быть поставлен научно. Мне потребуются киносъемочная аппаратура, звукозаписывающие приборы, другая сила освещения.

— Может быть, создать проходимость? — засмеялся Хмелик.

— Вам двойка по геологии, — сказал Гиллер. — Даже на этой глубине температура больше двух тысяч градусов.

— Я пошутил, профессор. Отбой, Андрей.

«Окно» исчезло.

— Твоя очередь, Минченко. Ставь задачу.

— Я тоже? — растерялся океанолог.

— Я тебя не в кино приглашал. Давай точку в океане, где поглубже.

— Может быть, Тускарору?

— Я там плавал, — вмешался Губин. — Скучные воды. А если Атлантический океан? Я где-то читал, что для глубоководных экспедиций Атлантика интереснее.

— Глупости вы читали, — поморщился Минченко. — Но можно и Атлантику. Там есть глубоководные впадины. Например, близ острова Мадейра. На параллели Северной Африки.

Хмелик опять подтолкнул Озерова.

— Может быть, Атлантиду найдем, — засмеялся он. — Давай, Андрюша. Океан синий-синий, густое индиго. Южное солнышко. Какая-нибудь мурена плещется. Следите, товарищи: на «входы» устройства поступает точка на карте плюс зрительный образ. Подождем «выходов». У меня секундомер. Засаекаю.

Озеров подумал: «А зачем спешить?» Браслет не им повинется, а ему. И в каких дьявольских ситуациях! По маршрутам Жюль Верна: путешествие к центру Земли и восемьдесят тысяч лье под водой. И почему она синяя? Скорее темно-зеленая. А на поверхности, наверно, стальная, как в Одессе. И ветер гонит волну с барашками. А где это? На параллели Северной Африки. Значит, южнее Гибралтара. Близ острова Мадейра. Ну что ж, браслет найдет.

И браслет нашел: океан возник в комнате в двух шагах от них, не синий и не зеленый, а перламутровый, расцвеченный солнцем и в то же время зловещий, с высоким кипеньем волн, как на полотнах Айвазовского. Редко кто видит такой океан так близко. Только смельчаки спортсмены, участники океанских регат. С берегов он не тот, а с борта лайнеров далек и не страшен. Здесь же, в комнате, шла волна высотой в три метра и таяла за синей горячей полоской. Даже привыкший к метаморфозам «окна» Озеров невольно поежился, а сидевшие рядом отодвигались все дальше и дальше — так пугающе близко вздымалась сверкающая водяная стена.

— А ведь красиво! — вздохнул Губин.

Шум волны заглушил его.

— А что, если создать проходимость?

— С ума сошел, захлестнет!

Озеров поднял «окно» повыше. Океан теперь шумел внизу. Из комнаты открывалась его бескрайняя сероголубая даль.

— Тут и дна нет.

— Дно есть, — сказал Минченко. — Шесть километров вниз.

— С автоскоростью? — спросил Озеров.

— Зачем? Как в лифте. Четверть часа — и песочек.

За «окном» встала темно-зеленая водяная толща. Солнечный свет еще пронизывал ее. Медленно скользнула наискосок большая, отливающая начищенной медью рыба. Засветились розовато-хрустальные колокола медуз. Вода почернела, что-то сверкнуло в темноте и потухло. Валя включила прожектор, но луч, ударивший в черно-бурую муть, растаял где-то далеко-далеко. Какая-то уродливая рыбка морда показалась в «окне» и пропала. Невидимый батискаф опускался все ниже и ниже, а видимая муть ухо-

дила вверх, не поражая никакими жюльверновскими видениями. Только один раз что-то большое заслонило «окно» бледно-розовым телом, и Озеров услышал, как Минченко громко шепнул соседу: «Кальмар!» А в «окне» уже появились слабо очерченные зубцы темно-красной скалистой поверхности.

— Вот вам и Атлантида, — усмехнулся Минченко. — Боюсь, что ее здесь днем с огнем не найдешь.

— Я подумал о проходимости, — сказал Губин. — С какой силой ударил бы водяной столб?

— Считайте. На дне давление свыше шестисот атмосфер. Более полутонны на каждый квадратный сантиметр.

— Боюсь, что нас размазало бы по стенам.

— А вместе с ними — по городу. И вместе с городом — по земле. Что могло бы остановить эту тысячетонную ударную силу? Где оказался бы Атлантический океан? Где была бы Европа?

Зловещая тишина наполнила комнату, отделенную только одним поворотом браслета от мировой катастрофы.

— Дети играют с термоядерной бомбой, — сказал до сих пор молчавший Сошин. — С чем-то страшнее термоядерной бомбы. Возвращайтесь на Землю, молодой человек.

Озеров устало протер глаза, и «окно» вместе с подводным царством ушло за пределы видимости. Кто-то громко и облегченно вздохнул.

— Предлагаю воздержаться от легкомысленных опытов, — сердито заметил Сошин. — Для докладной записки в Академию наук материала более чем достаточно.

Хмелик сухо возразил:

— У нас с профессором Сошиным, видимо, разный взгляд на понятия легкомысленного. У меня еще один опыт, для Губина. Возможность проникнуть за покровы человеческого тела. Меня не испугает, даже если именно я окажусь объектом опыта. Но, может быть, мы согласимся с профессором и оставим это для экспертизы академии?

Губин подумал и согласился. Озеров взглянул на Хмелика: у того был вид бомбардира, приготовившегося пробить одиннадцатиметровый удар.

— Ну что ж, — сказал он, — переходим к решающему эксперименту. Его нельзя отложить.

— Что значит «решающему»? — прозвучал резкий вопрос Сошина.

— Смысл, вам известный из научной практики, Павел Викторович. Ньютон в таких случаях прибегал к латинскому названию «экспериментум круцис».

EXPERIMENTUM CRUCIS. АЛАДДИН У КАЛИТКИ В СТЕНЕ

Отклика не последовало. Кто-то взглянул смущенно, кто-то быстро отвел глаза. «Испугались», — подумал Озоров.

Хмелик объявил, что ожидал этого и сейчас успокоит встревоженные умы.

— Мы еще не познакомились с главнейшей особенностью устройства — с его способностью превращать эффект присутствия в само присутствие. Со времен Дедала, первым преодолевшего закон тяготения, люди не знали подобного ощущения. Мы первые преодолеваем ложное или, скажем мягко, неточное представление о протяженности пространства, о незыблемости декартовых координат. Возьмите любую точку на карте, любой из европейских городов, и мы прямо из этой комнаты выйдем на его улицы, пройдемся по набережной По или Сены и вернемся сюда же, к этим обоям и стульям. Уверяю вас, это не страшнее, чем перешагнуть лужицу на тротуаре или вон тот порог.

— Париж — это соблазнительно, — сказала Валя.

Губин снисходительно усмехнулся.

— Без валюты? Глазеть на витрины и облизываться? Даже сигареты не купишь.

— Возьми свои. А может быть, в Лондон, профессор? — Хмелик обернулся к молчавшему Гиллеру. — Вы только что оттуда приехали. Будете нашим гидом.

— Пожалуй, — оживился Гиллер. — Скажем, в Сити. Любопытно. Переулки еще Скруджа помнят.

— В Сити по воскресеньям даже мухи со скукидохнут, — опять не утерпел Губин. — В Малаховке и то интереснее.

— Может быть, Гималаи? — робко вмешался Минченко. Он был альпинистом.

— Озеров, покажи ему Гималаи! — крикнул Хмелик.

В синем «окне» возникло облачное столпотворение. Облака пенились и громоздились на скатах снежных вершин и обледенелых утесов. Завыл почти физически ощутимый ветер.

— Это ты в твидовом пиджачке думаешь сюда выйти? — съязвил Хмелик и прибавил: — Ну, в общем, все: Гималаи отменяются. Арктика и Антарктика тоже. Присоединим сюда еще север Канады и юг Аргентины. Что остается?

— А если соединить прогулку со зрелищем, — предложил Губин. — Скажем, что-нибудь вроде «Медисон-сквергарден» в Нью-Йорке. Мировой зал!

— В Нью-Йорке ночь, невежда. Ты же видел.

— Ну, коррида в Мадриде.

— В Мадриде сиеста. Полдень. Все спят. До корриды шесть или семь часов.

— Где-нибудь дерби или регата...

— Где?

— Сегодня с утра в Монте-Карло автомобильные гонки, — неожиданно сказал Озеров.

До сих пор он молчал, стесняясь вдвойне: и как объект наблюдения, и как «лирик» среди «физиков». «Физиики» поглядели на него с любопытством.

— Откуда вы знаете? — спросил Губин.

— В «Советском спорте» читал.

— Ралли?

— Нет, скоростные. На сто кругов. От московского автоклуба участвуют двое наших — Туров и Афанасьев.

— Я, пожалуй, останусь, — заробела Валя. — Автогонки — это страшно.

Но никому страшно не было.

— Ты, старик, сначала Монте-Карло найди, — сказал Хмелик. — Город, конечно, а не казино, и где-нибудь у шоссе трибуны пошукай. Должны быть длинные высокие трибуны, как на скачках.

— Погодите, — повелительно вмешался Сошин.

Все обернулись к нему — на худощавом его лице читалось откровенное негодование. Так он держал себя на экзаменах с отважными, но плохо подготовленными студента-

ми. На чисто выбритых щеках багровела пятнами прилившая кровь.

— Я категорически против эксперимента.

— Почему, Павел Викторович? — сдерживая накопившее раздражение, спросил Хмелик.

— Жаль, что не понимаете. Студентом вы были более понятливым. Я не допущу никакого риска прежде всего для этого молодого человека. — Он кивком указал на Озерова.

— Мы не дети, Павел Викторович, и не играем водородной бомбой, как вы изволили заметить. — Хмелик взял тот же тон. — Эксперимент совершенно безопасен. Прежде чем ко мне обратиться, Озеров успел побывать во всех частях света, а позавчера вечером мы с ним высадились на борту теплохода в Северном море и в тот же час тем же путем вернулись вот в эту комнату. Ни малейшего риска не было. Даже давление не повысилось.

— Думаю, что классическое понимание легкомыслия с моим не расходится. Очень жаль, что молодой человек...

— У него, между прочим, есть имя и фамилия.

— Все равно молодой человек, как все студенты, — нетерпеливо отмахнулся Сошин и, поймав невысказанное возражение на лице Озерова, улыбнулся. — Уже не студент? Все равно юноша. И меня бы не заинтересовала судьба этого юноши, если бы он не стал обладателем открытия, которое перевернет всю нашу науку о пространстве — времени. Оно подчиняется его биотокам и действует, пока будет принимать эти биотоки. Так как по-вашему: при каких условиях можно будет снять с него этот браслет?

— Всем ясно при каких, Павел Викторович.

— Ага, всем ясно. Тем лучше. Во время ваших самодеятельных экскурсий ничего не случилось, но ведь могло случиться! Всегда можно предполагать худшее: человек смертен. А что тогда? Если браслет остается невидимым, открытие погибает навсегда для науки, для человечества. Если же нет, браслет снимет первый попавшийся санитар или полицейский. Вы можете предположить судьбу открытия, даже если он сам не наденет браслета, а продаст его старьевщику или ювелиру?

Хмелик молчал. «Растерялся, — подумал Озеров. — И что этот Сошин паникует. Без риска и улицу не перейдешь».

— Зачем предполагать худшее, профессор? — пришел на помощь Хмелику Губин. — Озеров не ребенок, да и мы будем рядом. Вы тоже, надеюсь?

— Не надейтесь, я остаюсь.

Лицо Сошина окаменело, глаза погасли. Ни на кого не глядя, он произнес:

— Жаль, что не убедил вас. Очень жаль.

— А мы вернемся самое большое через полчаса, — обрадовался Хмелик. — Живей, Андрей, поворачивайся.

Озеров не задержал очередного видения. Город возник на перекрестке двух не очень широких улиц. Южное солнце купалось в блистании магазинных стекол, в укатанном ши-нами асфальте. Полицейские в белых перчатках оттесняли прохожих, толпившихся на тротуарах. Уличное движение было перекрыто. И сейчас же по перекрестку в адской стрельбе моторов сверкнуло несколько разноцветных молний. Одна за другой — белая, зеленая, красная.

— Трасса, — сказал Хмелик. — Гонки уже идут. Поднимись над городом, старик. Над крышами.

Озеров мысленно повторил требование, и город упал вниз, закружился, обтекая высокий холм, возглавленный спесивого вида зданием с пальмовым парком и широкими автомобильными подъездами. Показалась гавань с расплавленной лазурью моря и белыми крыльями парусных яхт. Уличная трасса загибалась внизу двумя виражами к трибунам, похожим издали на палитру художника. Озеров спикировал на них и увидел сплошной карнавал цветов, вернее, женских платьев самых причудливых расцветок и форм. Белые и кремовые костюмы мужчин только подчеркивали это неистовое пиршество цвета.

— А мест-то нет, — сказал Губин.

— Найдем. Гони в самый край, старик. Там три ряда свободных.

Выбрали средний. Озеров превратил «окно» в «дверь» и кивнул Хмелику. Тот выскочил со словами: «За мной, не задерживайтесь. Озеров последний». Тут же вышел Губин небрежно и невозмутимо, как на прогулке. Неожиданно выпрыгнула Валя, до сих пор чего-то робевшая. Спокойно шагнул Минченко, и осторожно Гиллер, выбирая где ступить, как на размытом дождями проселке. Озеров оглянулся на хмуρο сидевшего Сошина и спросил:

— Вы остаетесь, профессор? Зря. Тогда не пугайтесь — сейчас все исчезнет.

Он шагнул на трибуны, где все уже уселись тесной группочкой на почему-то пустом островке в кипевшем море болельщиков. И тотчас же внизу, по шоссе, обгоняемые стрельбой моторов мелькнули теми же разноцветными молниями гоночные машины. И в том же порядке: белая, зеленая, красная. В репродукторе рядом торопливо грассировал диктор. Озеров перевел:

— Впереди по-прежнему Реньяк. За ним Козетти. Третьим упрямо идет, никого не пропуская вперед, советский гонщик Туров.

На ближайшем, хорошо видном с трибун вираже красная машина каким-то немыслимым змеиным маневром проскользнула у края шоссе, неожиданно обогнав зеленую. На трибунах ахнули. Диктор хрипло закричал:

— Москва обошла Милан! Туров вырвался на второе место. Он все больше и больше отрывается от Козетти. Следите за красной машиной!

Озеров переводил, а диктор продолжал, упоенно захлебываясь:

— Если Козетти не сумеет достать советского гонщика, шансы Италии на победу ничтожны. Вся борьба на финише развернется между французом и русским.

— Кажется, мы не увидим финиша, — сказал Хмелик.

Мимо свободной нижней скамьи к ним приближались юноша-контролер и пожилой крепыш с подстриженными седыми усами.

— Ваши билеты, мосье, — вежливо потребовал контролер.

— Они у нашего спутника, — мгновенно нашелся Озеров. — Он сейчас подойдет.

— А где он находится?

— В ресторане.

— В каком?

— Ну, в этом... внизу, — замялся Озеров.

— Внизу два ресторана, мосье.

— Поищите в обоих. Высокий блондин в светлом костюме. Зовут его мосье Турофф. Родной брат участника гонок.

Контролер вопросительно взглянул на стоявшего позади крепыша. Тот молча кивнул, и контролер удалился, а седоусый сочувственно, даже дружелюбно улыбнулся и присел в полуоборот к ним на нижней скамье.

— Брата вы сами придумали или он действительно существует? — спросил он по-русски. — Я что-то не слышал о нем. А уж газетчики обязательно пронюхали бы о его приезде.

— А почему мы, собственно, должны отвечать на ваши вопросы? — с вызовом спросил Губин.

Седоусый ответил не сразу. Он был не молод, должно быть, завершал свой шестой десяток. Белоснежный костюм и дорогая панاما довершали облик солидного, самоуверенного, знающего людей буржуа, «Власовец», — подумал Озеров.

— Ну что ж, давайте познакомимся, — все еще приветливо улыбнулся незнакомец. — Карачевский-Волк, сын свитского генерала, гимназистом пятого класса уехавший из России и все еще не забывший родной язык. Любопытно, слышится у меня акцент?

— Пожалуй, нет, — сказал Озеров.

— Приятно слышать. А вопросы я вам задаю, конечно, не по сомнительному праву соотечественника. Разные бывают соотечественники. Не со всяким приятно встретиться. Возможно, и для вас — со мной. Служу я в здешней полиции, господа. Нечто вроде частного пристава. Подчиняюсь только полицейскому комиссару, а потому, так сказать, облечен властью. Удовлетворены?

— Вполне, — засмеялся Хмелик. — Спрашивайте.

— Откуда вы появились, господа? Я сидел выше. Была пустая скамья, и вдруг ниоткуда, из воздуха, возникли вы. Прислушался: говорят по-русски. Я не марксист, но в привидения не верю. Отсюда мой первый вопрос: каким образом вы здесь? Никакого брата у господина Турова на трибунах нет. Это мне известно.

— Это ты выдумал брата? — спросил Хмелик у Озерова.

— Надо же было что-то придумать.

— Короче говоря, у нас нет билетов, господин полицейский.

— Как же вы прошли контроль?

— Вы же не верите в привидения.

— А есть ли у привидений документы? Скажем, паспорта, визы?

— Остались в отеле, — нашелся Хмелик.

— В каком?

Хмелик смущенно взглянул на Озерова: может быть, тот знает хоть один отель в Монте-Карло? Но сedoусый перебил:

— Не выдумывайте второго брата русского гонщика. Кстати, он имеет все шансы на гран-при. А вас, господа, попрошу проследовать за мной в управление.

— Что же делать? — испуганно зашептал Гиллер на ухо Хмелику. — Ведь это пахнет международным скандалом.

— Выкрутимся.

В полицейской дежурке, как это ни странно, было чисто и безлюдно. Только отполированная до блеска скамья перед деревянным загончиком свидетельствовала о том, что здесь сиживало великое множество клиентов полицейского комиссара. Стол за барьером с полудюжиной телефонных аппаратов и пухлых телефонных справочников тоже пустовал.

— Все на гонках, — пояснил Карачевский-Волк. — А вам, увy, придется подождать, — с деланным сожалением прибавил он. — Комиссар, видимо, не уйдет до финиша, хотя я и поспешу предупредить его. Надеюсь, вы не соскучитесь в своей компании, да и осталось до финиша каких-нибудь двадцать минут — не больше. О результатах узнаете, если откроете окно: отсюда все слышно. — Он поскучнел и присовокупил: — А бежать не советую: окно выходит во двор и все выходы охраняются. О ревуар, господа.

Он ушел. В наступившей тишине гулко отсчитывала минуты большая стрелка на круглых стенных часах. Валя сидела с видом наказанной школьницы. Губин с наигранным равнодушием разглядывал ногти. Остальные просто молчали: Только Гиллер, нервничая, то вскакивал к деревянному барьеру, словно пытался достать телефонную трубку, то садился опять.

— Да перестаньте же, профессор, — сказал Хмелик.

— А вы понимаете, что произошло? — гневно спросил геолог. — Сошин был прав, говоря о вашем легкомыслии. Полицейский участок в чужой стране — финал вашего экспериментум круцис! Что мы скажем комиссару?

— Ничего не скажем. Комиссар найдет только пустую скамейку. Озеров, давай!

И за деревянным барьером дежурки показался знакомый уголок комнаты Хмелика — наощенный паркет, стулья в беспорядке и диван у стены, на котором одиноко сидел озабоченный Сошин.

Полицейская дежурка исчезла. Все уселись с веселым недоумением, перебивая друг друга:

— Как будто ничего и не было.

— Мираж.

— Расскажешь кому — никто не поверит.

— Ничего вы никому уже не расскажете, — требовательно вмешался Сошин. — Это первое. О браслете забудьте — это второе. Кстати, ваша авантюра продолжалась не полчаса, а час десять минут.

— Произошло осложнение, — сказал Хмелик.

— Я это предвидел.

— У меня такое впечатление, — обиженно заметил Хмелик, — что вы расцениваете наши действия как нечто противозаконное.

Профессор ответил не сразу. Он прищурил один глаз и то ли с иронией, то ли всерьез сказал:

— Конечно, противозаконное. Переход границы без соответствующих документов. Ни один прокурор не помилует.

— Какой же это переход границы? Это нуль-переход.

— А чем он отличается от перелета на самолете без опознавательных знаков? Или на воздушном шаре? Или под водой с аквалангом? Во всех случаях использование техники для одной цели. — Увидев смущенные, даже растерянные лица, Сошин улыбнулся и прибавил: — Но нам, я думаю, это простят. Из-за техники. Очень уж она необыкновенна...

— Простите, профессор, — перебил Губин, — вы предложили забыть о браслете. Я не ослышался?

— Не ослышались. Я имел в виду, конечно, не нашу докладную записку в Академию наук, а обывательские пересуды о происшедшем. Предположите, друзья, что за границей узнают об этой штуковине? Какие средства будут ассигнованы, какие силы приложены, чтобы раздобыть ее!

С этой минуты жизнь Озерова будет в опасности величайшей:

ведь только она будет стоять между ним и браслетом. И наша задача с этой минуты оберегать ее, и наша удача в том, что находка Озерова досталась не какому-нибудь крупному или мелкому хищнику, не болвану, мнящему себя гением, а просто честному советскому человеку. Великий соблазн таит в себе эта лампа Аладдина. А владелец ее не соблазнился ничем, кроме нескольких туристских походов в майн-ридовском вкусе.

— Кстати, один туристский поход все-таки понадобится... — сказал Хмелик. — Вы о роще забыли.

— Верно, — согласился Сошин. — С нее-то мы и начнем. Кто знает, может, именно там и состоится встреча, о которой мы до сих пор и мечтать не могли.

Прошла только минута молчания, но в эту минуту в сознании Озерова промелькнула вся его жизнь. Где-то далеко — детство, ближе — институт, лекции и лингафон, Диккенс и Уэллс в подлинниках, первые шаги учителя и робкие мечты об аспирантуре. И вдруг как вспышка магния — дикий браслет, одинокие забавы глобтроттера и вмешательство Хмелика, поставившего последнюю точку. И потом вспышка гаснет — еще закрыт занавес, еще не засветился экран перед первыми кадрами нового фильма, еще не открылась калитка в стене. Она так и не открылась перед героем Уэллса, но Озеров знает, что нужно только толкнуть ее.

И знает, что за калиткой. Новое дело, новые обязанности, новая жизнь.

Может быть, риск, может быть, подвиг.

Можетбыть.



ТЕНЬ ИМПЕРАТОРА

Ты станешь
самой точною
наукою!
Ты станешь!
Ты должна!
Мы

так

ХОТИМ.

Роберт Рождественский, *«История»*

1

Крис был не кельтом и не англосаксом, а чистейшим русаком из-под Брянска. И само имя его было исконно

русское, правда, редкое, совсем забытое за последние полстолетия и даже не упомянутое в словаре русских имен, какой у нас обычно дарят молодоженам, — Хрисанф. Он так и объяснял, когда у него спрашивали, почему его зовут по-английски:

— А как же сократить? Хрис? Что-то вроде Христа получается. Ну и переделали дома на Крис. Так и пошло.

Обедал Крис на одиннадцатом этаже столовой Объединенных институтов истории. Одиннадцатый был прославлен Ситой, дегустатором мясной и рыбной синтетики. Уверяли, что ее вкусовая партитура острее и разнообразней, чем у самого шефа кулинарии с пятого этажа, где обедали только магистры и доктора наук. Вадим, работавший над кандидатской диссертацией в Институте истории театра, обедал на третьем, но, соблазненный слухами о волшебстве Ситы, перекочевал на одиннадцатый. Здесь он и познакомился с Крисом, присев как-то за его столик.

— Не берите камбалу в красном вине, — предупредил Крис. — Сита в командировке, а без нее здесь все жеваная вата. Закажите лучше овощи.

— Все одно химия, — сказал Вадим.

Крис обиженно замолчал. Потребовался пламенный панегирик искусству Ситы, чтобы заслужить его прощение. В конце концов Крис смиростивился и за сладким спросил у Вадима:

— У вас в институте нет грифонотеки. Куда же вы ходите послушать прошлое? В общий фонд? Там ни одной чистой записи нет — все захриплено.

— Кое-что есть у киношников, — робко заметил Вадим.

Крис усмехнулся: он знал, что есть у киношников.

— Мэри Пикфорд на приеме у старика Голдвина? Чаплин на банкете в лондонской «Олимпии»? Или что-нибудь попозже — скажем, ссора Софи Лорен с ее продюсером? Чепуха! Приходите ко мне. На прошлой неделе записал Рашель на гастролях в Москве. Куски из «Федры» очень чистые, почти без фона, а в антракте — песенку вполголоса подвыпившим баритоном. Должно быть, в буфете или у артистического подъезда. Что-то вроде: «Я видел, как богиню на небо вознесли... четыре офицера и пятый — гене-

рал...» И все это в середине девятнадцатого века, учтите. А запись как в консерватории — чистота ангельская!

— Кто декодировал? — спросил Вадим. Он не очень доверял грифонозаписи.

— Квятковский, — сказал Крис.

Квятковский считался лучшим знатоком голосов прошлого. Он почти безошибочно разгадывал труднейшие загадки записей, от которых давно отказались специалисты. Такой загадкой долго была записанная кем-то лет десять назад уничтожающая характеристика Александра Второго. Грифонологи терялись в догадках, кому принадлежали этот низкий басовитый голос и эти убийственные слова. Называли Герцена, народовольцев, Нечаева. Но только Квятковский, прослушав и сопоставив тысячи записей, сумел точно декодировать автора. Им оказался узник Алексеевского равелина гвардейский поручик Бейдеман.

Авторитет Квятковского рассеял все сомнения Вадима — он поверил в грифонотеку Криса. Она принадлежала Институту истории нравов, но Крису разрешалось записывать все, что он найдет интересным. В результате у него имелись такие уникалы, как речь Цезаря в сенате или полемика между Гладстоном и Дизраэли в английской палате общин. В семье Объединенных институтов репутация Криса была высока и устойчива, но сам он говорить о себе не любил, на голубых экранах не позировал, а в разговорах с незнакомыми и малознакомыми людьми выдавал себя за архивариуса. Таким его знала и Сита, пока познакомившийся с нею Вадим не раскрыл инкогнито друга.

— А вы, оказывается, знаменитость, — сказала она, подсев к их столу во время обеда, — только так и не знаю в чем. Какая-то грифонозапись, грифонотека... Ничего не понимаю. А кого ни спросишь, без математики не могут объяснить.

— Недостаток нашего образования, — философски заметил Вадим. — Поэты все дальше уходят от математики, а математики от поэзии. Ты же универсален, Крис, поэтому и объясняй.

С девушками Крис был застенчив и косноязычен, а с Ситой в особенности. И вообще он ничего не умел рассказывать толком — студенты бы его освистали. Так и сейчас, услышав вопрос Ситы, Крис беспомощно взглянул на Ва-

дима. Тот внутренне усмехнулся: «Влюблен мальчик или накануне влюбленности? Пусть сам и выкручивается».

Крис вздохнул и, не дождавшись поддержки, отважно ринулся в страшный для него водоворот объяснений:

— Ну как вам сказать... В общем-то, просто. Сначала Гришин, потом Фонда... — Он растерянно оглянулся, как лектор в поисках кнопки кинопроектора. — В целом это теория незатухающих звуковых волн... если, скажем, подтянуть их уровень до тридцати децибелов...

Крис скучно жевал слова, пытаясь по-своему объяснить суть величайшего открытия века. Вадим сострил про себя, что Крис сейчас напоминает Сизифа, уныло созерцающего свой камень, мерно сбегаящий под гору. «Но Сизиф Сизифом, — подумал он, — а Сита вот-вот уйдет. Надо спасать науку».

— Может быть, лучше математически, — промямлил Крис, — есть, понимаете ли, формула...

— Погоди, — перебил Вадим, — формула эта для Ситы все равно, что для нас ингредиенты вкусовой палитры. Ты отдохни, а я займусь переводом. В общем, все гораздо сложнее, чем пробурчал Крис. Слушайте и внимайте. Началось в конце прошлого века в заснеженных Альпах, в обвалившейся пещере, до тех пор неизвестной. Обнаружил ее спелеолог Бергонье, впопыхах спустился, ходил-бродил, умилялся сталактитам и вдруг увидел, что выхода нет.

— Как — нет? — заинтересовалась Сита.

— Вот так и нет. Завал. Тривиальный завал, Ситочка, гроза альпинистов и спелеологов. К счастью, у него был телесвязник и «луч» — портативный приборчик для определения толщины завала. Он включил его и услышал голоса. Очень слабые, едва различимые, они походили на шум зрительного зала в антракте. Пещера шушукалась и переговаривалась на сотни голосов мужских и женских. Сильно мешал фон — то гром, то выстрелы, то завывание автомобильной сирены, то колокольный звон, далекий и близкий. Пораженный спелеолог выключил прибор — и все смолкло. Снова включил, и голоса в пещере снова ответили. Бергонье не был мистиком, но материалистически объяснить этот феномен не мог. Забыв о телесвязи, о том, что его уже ищут, ученый начал экспериментировать. Через

полчаса он уже знал, что дело не в приборе, а в его дочерней части — амплифере, повышающем частоту волн. Это он извлекал из великого безмолвия пещеры все странные звуки и голоса, усиливал их, позволяя даже различать слова: то французские, то английские, то на неизвестных Бергонье языках. Когда его наконец нашли, обнаружилось, что амплифер работал в необычных условиях — в зоне повышенной радиоактивности. Вот тут и выступает на сцену советский физик Николай Гришин, теоретически обосновавший эффект Бергонье. Экспериментируя в пещере и в лаборатории, он открыл, что звуковые волны в атмосфере не затухают полностью, а движутся с постоянной амплитудой и частотой, приближающимися к нулю. Цепью обратной связи, поддерживающей жизнь этих звуковых колебаний, является сама атмосфера. Это как бы каша из звуков, как планктон в океане. Все есть. И первые архейские катастрофы, и голоса юрских джунглей, и все автомобильные гудки, когда-либо прогудевшие, и все телефонные звонки, когда-либо прозвеневшие, и звон всех мечей, и шпаг, и столовых ножей, и грохот всех войн с сотворения мира, и все звуки человеческой речи на всех языках и диалектах. Даже не триллионы и не квинтильоны, а какие-то немыслимые количества звуковых волн, не сливающихся друг с другом. Потому что ни один звук не умирает, Ситочка. Закричал на охоте пещерный человек — до сих пор кричит; сказал речь Цицерон — и бежит она вокруг света второе тысячелетие. Давно истлели в гробах все великие актеры прошлого и все великие трибуны прошлого, а все когда-либо ими сказанное еще звучит, и наша с вами болтовня не умрет, а останется в эфире и может быть записана и воспроизведена через тысячу лет. И все это открыл нам амплифер Бергонье, поднявший уровень «вечных звуков» до порога слышимости, до испугавших вас тридцати децибелов.

На этот раз децибелы не испугали Ситу. Крис же внимал с нескрываемой завистью: так свободно он мог разговаривать только у себя в студии записи, да и то разве так! А Вадим, немножко рисуясь — еще бы, ведь он уже был знаком с интонационным богатством великих актеров прошлого, — кратко закончил рассказ. Он упомянул об англичанине Фонда, сконструировавшем прибор для запи-

си неумирающих звуков, о том, как в поисках нового термина соединили два имени — Гришина и Фонда — и как это пополнило международный словарь. Раскройте его на букву «Г» и прочтите: грифон, грифонозапись, грифонограмма, грифонотека и даже грифонология. Так родилась наука, определяющая, кому принадлежит «пойманная» фраза, речь, обрывок разговора, совещания или спектакля.

— И учтите, — прибавил Вадим, — грифонотека — это не просто хранилище таких «пойманных» звуков. Это храм, где их извлекают из атмосферы и где священнодействует верховный жрец записи.

Крис поморщился: таких шуток он не любил.

— Не сердитесь, верховный жрец, — сказала Сита. — Я все поняла. И любопытство у меня не обывательское, а научное. Вы мне поможете.

— Как? — удивился Крис.

— Интересуюсь рецептами древних забытых блюд. Век семнадцатый или восемнадцатый. Кулинария французских монастырей в особенности. Рецептов тогда не записывали, они передавались изустно. А если звуки не умирают...

— Понятно, — сказал Крис.

— Можно конец девятнадцатого. Петербургский Донон или московский Эрмитаж. Или, допустим, любительские новации. Есть преинтересные, например «зубрик». Придумал его актер Малого театра Климов...

— Читал, — подтвердил Вадим. — В чьих-то мемуарах упоминается.

— А рецепт не упоминается. Попробуйте поймать. Трудно?

Крис задумался.

— Самое трудное угадать волну. Микрошкала допускает до двухсот проб в минуту. Можно и чаще, но надо прислушаться. А хотите, спросим у него самого? — прибавил он с непонятной многозначительностью. — Как вы сказали?..

— Климов?

Сита и Вадим переглянулись: может быть, Крис оговорился? Но он уже встал.

— Я не знаю, когда смогу выполнить вашу просьбу, Сита. Но я обязательно ее выполню.

И ушел.

— Что он хотел сказать? — спросила Сита Вадима.

— Может быть, он имел в виду подборку высказываний?

— Какую подборку?

— Многократные пробы на одной волне. Я у него спрошу вечером.

Но ни в этот, ни в следующие дни спросить Криса не удалось. Он был недосягаем. В столовую он не заходил — обеды и ужины доставлялись ему по термоканалам. Когда Вадим звонил ему, автомат, подключенный к телефону, вежливо отвечал, что старший экспериментатор на записи и беспокоить его нельзя. Вадим попробовал зайти сам, но над дверью святилища Криса горел сигнал: «Тихо! Идет запись». Да и дверь не открылась, хотя обычно она открывалась автоматически, как только Вадим подходил к ней вплотную: в ее электронной памяти была его фотокарточка. Дома у Криса повторилось то же самое, а на записку, посланную по пневмопочте, он ответил, что откликнется, как только освободится. Пришлось ждать.

Недели через две Крис появился в столовой еще более похудевший и взлохмаченный; по его словам, он даже ночевал у себя в студии.

— Зубрика не поймал, но кое-что все-таки выловил, — сказал он, передавая королеве дегустаторов перфорированную по краям продолговатую карточку. — Это уникальный рецепт гурьевской каши. Не тот, что есть в поваренных книгах, а первоизданный, изложенный самим автором на каком-то банкете. Кто сей Гурьев, вы, конечно, не знаете. Каша — это единственное, что спасло от забвения министра финансов императора Александра Первого.

Как выудил это Крис из многокилометровой толщи звукового океана, сколько тысяч проб сделал, чтобы найти ту единственную каплю, какая могла обрадовать Ситу? Этот вопрос все время задавал себе Вадим, но, когда Сита ушла, спросил совсем о другом:

— А поговорить с ним так и не удалось?

— С кем?

— Я просто вспомнил твое обещание Сите.

— Не удалось, — отрезал Крис и прибавил, ничего, в сущности, не объясняя: — Да и не стоило. Жалкая и ничтожная личность, как говорил Паниковский.

Объяснение Вадим услышал позже, когда зашел прослушать записанную Крисом Ермолову. Она играла вместе с Южиным и Лешковской в скрибовском «Стакане воды». Из театральных мемуаров Вадим знал, что спектакль этот шел в Малом театре почти сто лет и за эти годы в нем сменилось несколько сценических поколений. Записанный Крисом отрывок относился, по-видимому, к началу двадцатого века. То был поистине фейерверк актерского мастерства, блеск диалога, неподражаемых интонаций и пауз. Так уж давно не играли, и не только потому, что театр и кино сменили новые формы зрелищ, потребовавшие иной артистической техники, изменился самый язык, строй речи, ее компоненты и ее ритм. Но эти голоса из прошлого покоряли и силой звучания, и забытой красотой языка. Вадим слушал их как музыку.

— Интересная у тебя профессия, Крис, — сказал он без зависти.

Крис вздохнул:

— Кому как. Мне уже нет.

— Кокетничаешь.

— С какой стати? Все исчерпано. Я уже о другом думаю.

— О чем?

Крис ответил не сразу, словно сомневался, сказать или не говорить.

— Как ты относишься к спиритизму? — вдруг спросил он.

Вадим даже не понял, шутит ли Крис или нет, настолько неожиданным и нелепым показался ему этот вопрос.

— Не моргай, — насмешливо уточнил Крис. — Именно к спиритизму. Ты не ослышался.

— Как Энгельс, — пожал плечами Вадим. — Могу процитировать.

— Не надо. Самое дикое из всех суеверий, помню. И многое другое помню. Шарлатанство, жульнические комбинации медиумов, даже промышленность для обмана доверчивых дурачков — надувные гости из загробного мира и

вертящиеся блюда. «Плоды просвещения» я тоже читал. Но задавал ли ты себе вопрос, почему спиритизмом увлекались и кое-какие серьезные люди? Крукс, например. В свое время крупный ученый-физик.

— Мало ли было деистов и мистиков в тогдашней науке? Ты еще средневековые вспомни.

— Крукс не средневековые. И Конан-Дойл не средневековые. Не крупный, но довольно рациональный писатель. А столы вертел. Почему?

— А ты не переутомился? — осторожно спросил Вадим. — От навязчивых идей избавляются сейчас легко и быстро. Один сеанс энцефалогена.

Крис не ответил, вернее, ответил чуть позже и не по существу. Он поиграл пальцами на пульте хранилища, набрал нужный индекс, и где-то в соседнем зале искомый кристаллик записи автоматически подключился к звуковоспроизводящей сети.

— Прослушай внимательно, — сказал Крис, — это запись спиритического сеанса у князя Вадбольского в Санкт-Петербурге в 1901 году. Кстати говоря, запись отличная, чистота ноль девять. А тебе, наверно, будет особенно интересно то, что среди участников несколько артистов императорских театров. Да и медиум тоже корифей, хотя и не из крупных, — актер Александринки Фибих. У спиритов он, между прочим, знаменитость да и вообще личность по тем временам примечательная. Лет пять до этого убил из ревности свою жену и был оправдан судом присяжных. А жена — артистка того же театра Карелина-Бельская. О ней что-то в истории есть. Помнишь, наверно. Да ты не крикись, все проверено. Сам декодировал.

Он включил звук, и в комнату словно издалека донеслись голоса и смех. Сначала едва слышные, почти неразличимые, они звучали все ближе и громче, как будто вместе с ними входили люди, смеясь и переговариваясь. Не прошло и полминуты, как Вадим уже отчетливо различал в этой разноголосице:

— Пожалуйста, пожалуйста, господа, располагайтесь.

— Ой, как много свечей! Даже семисвечник.

— Как в церкви.

И укоризненный шепот:

— Не надо таких сравнений, Люба.

Люди, должно быть, расходились по комнате: голоса звучали уже отовсюду.

— За этот стол, господа. Прошу.

— Я не вижу блюдечка, ваше сиятельство.

— Сегодня без блюдечка.

— Значит, что-нибудь особенное, да?

— Неужели общение душ?

— Ой!

А из угла комнаты осторожным, откровенно насмешливым шепотком:

— Чудит его сиятельство. Ты веришь?

— Тес... все-таки меценат.

— А ужин будет?

Снова чей-то голос из-за стола:

— А где же Фибих? Аркадий Львович!

— Я здесь, господа.

— Вы остаетесь на том диване? Так далеко?

— Должна быть дистанция, господа. Между миром живым и миром загробным.

— Бархатный голос модулировал, играл интонациями.

— А можно не тушить свечи? Я боюсь.

— Ни в коем случае. Оставьте только одну свечу. И где-нибудь в углу, подальше.

Барственный, хозяйский голос из-за стола:

— Ваше слово — закон, Аркадий Львович. Я сейчас позвоню дворецкому.

— Зачем, ваше сиятельство? Мы сами. Мигом.

— Туши, Родион.

Шаги по комнате. Стук каблучков. Визг.

— Ай! Палец обожгла.

— Сядьте, шалунья.

И снова модулирующие интонации избалованного вниманием гостя:

— Руки на стол, господа. Цепь. Не разомкните ее, пока я в трансе. И тишина. Я засыпаю быстро... минуту, две... Когда почувствуете чье-то присутствие в комнате, можете спрашивать. И еще: попрошу не шутить. Неверие нарушает трансцендентальную связь. Так к делу, господа... Начинаем.

В наступившей тишине слышалось чье-то покашливание, поскрипывали стулья, кто-то астматически тяжело

дышал. С закрытыми глазами Вадим представлял себе хозяина с седой эспаньолкой и блудливым взглядом, его гостей — артистов со следами грима на лицах, не очень тщательно стертого после спектакля, и медиума с уже заметной синевой на впалых щеках и дергающимся ртом неврастеника. Он даже угадывал, где сидит этот великосветский плут и где стоит единственная непогашенная свеча.

— Не жмите так руку... больно, — услышал он подавленный женский шепот.

— Тише!

И вновь покашливающая, поскрипывающая тишина.

— Зачем тебе эта петрушка? — спросил Вадим.

— Погоди, — предупредил Крис. — Слушай.

И тотчас же вслед за ним как будто ничем не отделенная реплика князя:

— Я чувствую чье-то присутствие. Он среди нас.

— Кто, кто?

— Ой!

— Тише!

Сквозь тишину еще один голос, явно женский, но приглушенный, словно что-то его экранировало, тушило его:

— Где я?

— Вы у меня в гостях. Я князь Вадбольский.

Глуховатый женский голос отвечал в той же однотонной, мертвой манере:

— Мой князенька... такой добряк. Никогда не сердится... Прощает даже мое увлечение Зиги... А на рождение... подарил мне такой чудесный кулон... Агат с бриллиантами. И Аркадий даже не разгневался...

И сейчас же за столом чей-то взволнованный тихий шепот:

— Ей-богу, я ее знаю!

— Катрин!

— Она помнит вас, ваше сиятельство.

— Господи боже мой, как страшно...

— Екатерина Петровна, здесь все ваши друзья...

Снова глухой, однотонный голос:

— Разве у меня есть друзья? Меня все, все ненавидят... Все нашептывают Аркадию. Обо мне и о Зиги...

И опять шепот за столом:

— Кто это Зиги?

— Сигизмунд, не знаешь разве?
— Какой Сигизмунд?
— Корнет Вишневецкий, балда! Из-за него ее и зарезали.

— Кто, Аркадий?
— А кто же? Я, по-твоему?
— Тише! Она опять говорит. Слышите?
— ...вчера Аркадий нас видел на Невском. На лихаче. Зиги встал, чтобы поправить полость, и я узнала Аркадия... Он стоял у елисеевской витрины... Вы ему не говорите, о князе он не знает. И Зиги не знает... Он, глупенький, даже не догадывается, что мы с князем весной уезжаем в Виши...

Смятение за столом.

— Это неправда, господа.
— Души не лгут, ваше сиятельство.
— Мы вас не выдадим, князьенька.
— И потом, он спит.
— Но это неправда, ей-богу, неправда! Я никогда никому...

— Екатерина Петровна!

Тишина.

— Вы здесь, Катрин?

Тишина. Потом звук отодвигаемого стула.

— Доктор, вы разомкнули цепь.

— Сомкните ее без меня. Я иду к нему.

— Не делайте этого, доктор. Вы ее спугнете!

— Все равно. Я должен проверить. Он не спит. Не верю.

Шаги, минутная тишина и удивленный голос издалека:

— Представьте себе, господа, спит. Пульс замедленный.

Крис щелкнул тумблером.

— Дальше разрывы. Фон. Я выключил.

Вадим молчал.

— Ну, что скажешь?

— Ничего.

— А все-таки?

— Балаган.

— И медиум?

— Подумаешь, загадка! Плут и чревовещатель.

— А доктор?

— Одна шайка-лейка.

— Так... А ты обратил внимание на то, что Фибих не знал об ее отношениях с князем? Тем более о поездке в Виши?

— Кто поверит, — сказал Вадим. — Древняя история.

Крис улыбнулся загадочно и лукаво.

— Тогда спросим у него самого.

«О чем он?» — подумал Вадим. Но Крис уже пояснил:

— Устроим сейчас еще один спиритический сеанс. Я за медиума. А ты спрашивай.

— Кого?

— Сейчас услышишь. Я только выключу свет, как полагается на каждом порядочном спиритическом сеансе.

Вадим насмешливо пожал плечами, но Крис уже не видел его. Комната погрузилась во мрак, только горели зеленые и красные огоньки индикаторов на панелях Криса. «Сумасшедший, — подумал опять Вадим, — определенно сумасшедший. Тут уже никакой энцефалоген не поможет».

— Кто меня ждет, господа? — прозвучал из темноты знакомый голос.

Вадим только что слышал его — бархатный, интонационно играющий голос избалованного любимца сцены. Но каким образом? Новая запись?

— Отвечай, к тебе обращаются, — шепнул Крис.

— Медиумы не разговаривают, — огрызнулся Вадим.

Он обращался к Крису, но ответил тот же голос из темноты:

— Сейчас я не в трансе. Просто думаю. Я всегда думаю о ней, когда один.

Вадим даже отшатнулся: «Кто же из нас сошел с ума? А если я все-таки спрошу его? Ответит или нет?»

И спросил:

— За что вы убили ее?

— Лживая, — сказал голос со вздохом. — Измучила меня с этим корнетом.

Вадим подумал и спросил еще:

— А вы знали об ее отношениях с князем?

— О кулоне? Конечно.

— Не только о кулоне. Например, о поездке в Виши.

— О чем?

— Они же собирались ехать за границу. Во Францию.

— Болтовня.

— Но вы знали об этом?

— В первый раз слышу.

— Странно, — сказал Вадим, — вы же говорили об этом на спиритическом сеансе.

— Где?

— У князя Вадбольского.

Голос засмеялся совсем как человек, сидевший напротив.

— На сеансах я почти не разговариваю. Трансцендентальная связь требует молчаливой сосредоточенности перед трансом.

— А во время транса?

— Я, естественно, сплю.

«Удобно или неудобно сказать ему, что считаю его обманщиком? Черт с ним, скажу. К тому же это, наверное, какой-нибудь фокус Криса», — подумал Вадим и сказал вслух:

— О поездке в Виши говорил якобы дух вашей жены, но, уж извините, я в духов не верю.

— Многие не верят, — равнодушно отозвался голос. — «Биржевка» даже статейку тиснула. Почему это я на сеансах вызываю только дух своей бывшей жены? Потому, мол, что меня до сих пор мучает совесть. И дух, дескать, не дух, а я сам с собой разговариваю. Только все это неправда: я никого не обманываю. О Кате я действительно думаю: имел ли я право ее убить? У меня бессонница, не сплю по ночам... Лежу и думаю, думаю... И разговариваю с ней. Не с духом, конечно, а с воображаемым собеседником. А на сеансах сплю. И когда мне говорят потом, что слышали голос покойницы, даже говорили с ней о том-то и о том-то, я только плечами пожимаю: спал, не слышал, не помню. И действительно, не помню. Я пробовал подражать голосу Кати, но только наедине и, по-моему, неудачно. А на сеансах — зачем? Я не чревоушатель да и денег за это не беру...

Крис в темноте подтолкнул Вадима:

— Ну что?

— Врет, наверно. Или ты врешь. Или кто-то еще врет! — Давно накопившееся раздражение прорвалось у Вадима.

— Я устал, господа, — сказал голос.

Что-то щелкнуло в темноте: вероятно, Крис выключил звук. Потом вспыхнул свет.

— Все, — сказал Крис, — сеанс окончен. Дух покинул земные пределы.

Вадим в первый момент даже не нашел что ответить — так он был ошеломлен происшедшим. Да и в освещенной теперь комнате ничто не свидетельствовало о материальном происхождении голоса. Он тщетно искал глазами что-нибудь новое, ранее здесь не присутствовавшее, — какой-нибудь новый аппарат, экран, пульт или динамик. Может быть, говорящий робот? Нет, все оставалось по-прежнему: ничего не прибавилось, ничто не переменило места. Видимо, передача из хранилища. Но в хранилище только кристаллы грифонозаписи. Где же тогда звучал голос, — в записи? Странная запись. Монтаж разговорных фраз со специально рассчитанными паузами, с подстроенными ответами на заранее подготовленные вопросы? Но ведь вопросы Вадим задавал по своему выбору! В нем уже нарастал нетерпеливый протест человека, не признающего необъяснимых явлений.

— Что это было? — спросил он.

— Общение душ.

— Не валяй дурака. Новая запись?

— С записью не разговаривают. Ее прослушивают.

— Все равно не верю. Это какой-то механический фокус.

— Робот-чревовещатель, — засмеялся Крис.

— Не остри. Это ты говорил, да?

— А вдруг? Допусти, что я медиум. Ведь это был настоящий спиритический сеанс.

— Спиритический розыгрыш! — закричал Вадим. — Мистифицируй лаборанток, а я уже стар для этого.

Он встал, злой и обиженный. Объяснить происшедшее ему так и не удалось.

— Садись. — Крис дружески подтолкнул его в кресло. — Из всего, что ты тут набурчал, верно только одно слово — механический. Но это не фокус и не жульничество. Это наука. Не грифонология — другая. Мы стоим у порога новой науки, старик.

Вадим молча открыл и закрыл рот. Он уже понимал, что Крис не шутит.

— Может быть, я сошел с ума или просто кретин, — наконец проговорил он, — но, каюсь, я ничего не понял.

— Ты не сошел с ума, и, скорее всего, ты не кретин. — Крис говорил без улыбки. — У этой науки еще нет названия, и состоявшаяся здесь беседа с твоим участием — ее первый публичный эксперимент. До сих пор я экспериментировал в одиночку.

— Как?

— Вызывал духов. Не злись, это просто разрядка перенапряжения. У этой науки еще и названия нет — не придумал. А в основе ее — спиритизм. Не делай больших глаз — я не шучу. Не спиритизм как явление, с которым связаны сто лет дури, обмана и мошенничества, а, если хочешь, как толчок к идее, вроде ньютонова яблока. Ты только не перебивай меня, а то я собьюсь с фарватера и запутаюсь в отступлениях. Так вот, по роду занятий я часто сам декодирую записи, роюсь в старых архивах. Набрел как-то на «Рибус», журнал не то московских, не то петербургских спиритов, потом из любопытства перелистал английский «Спиритуалистик джернал». И обратил внимание на одно обстоятельство. Оказывается, не все, а только немногие медиумы пытались связывать своих клиентов с загробным миром, и были случаи, когда так называемые духи великих покойников вещали на сеансах довольно грамотно и толково с учетом примет их профессии, звания и времени. Никого, кроме адептов спиритизма, эти сообщения не заинтересовали: наука закономерно прошла мимо. Но я задал себе вопрос: «А что, если в этих сообщениях есть хоть крупинка правды, когда медиумы никого не обманывали, а находились, скажем, в телепатическом трансе, принимая своеобразные психосылки из прошлого?»

— Ну и допущеньице, — сказал Вадим, — совсем для папы римского.

— Неважно для кого, но я его сделал. До сих пор, Горацио, не устарела реплика Гамлета насчет неведомого науке. До сих пор наука не реабилитировала ни Сен-Жермена, ни Калиостро, а кое-что в их деятельности никак не объяснишь только гипнозом и шарлатанством. Если в бездонной реке Времени не гаснут звуки человеческой речи, может быть, не гаснут и мысли? Ведь и звук — волна, и мысль — волна. Одну создают механические колебания, другую — импуль-

сы наших мозговых клеток. И если закон Гришина о неза-
тухающих звуковых волнах применим к телепатии, значит,
можно создать прибор для записи таких пси-посылок из
прошлого.

— Но ведь человек мыслит и образами, — усомнился
Вадим. — Как же их запишешь?

— Никак. Но мысль, выраженную в словах, записать
можно. И представь себе, не так уж гигантски сложно: тот
же принцип амплифера. При этом прибор оказался особен-
но чувствительным к перенапряженной мозговой деятель-
ности, создающей порой огромные скопления мыслей — ну
как бы тебе сказать? — какие-то своеобразные психогалак-
тики. Не улыбайся, я не поэт. Это понятие из другого ряда
здесь очень уместно. Именно галактики, звездные системы
в мире информации, которой пользовалось и обменивалось
человечество на протяжении всей его сознательной жизни.
Такие «галактики» образуются в процессах интенсивной
творческой деятельности, в периоды одиночества, заклю-
чения или болезни, обрекающей человека на длительную изо-
ляцию. Представь себе мысленную «галактику» слепого
Мильтона или глухого Бетховена, гениев вынужденного
одиночества. Я не нащупал их: еще ненадежен для записи
сам прибор, еще сложнее настройка. Но все же мне удалось
записать какого-то безвестного узника в римском замке
Святого Ангела, потом я открыл Фибиха и последние пол-
года — Наполеона. Вот послушай...

Вадим всегда любовался столом Криса с перемежающи-
мися панелями из металла и пластика разных цветов и
форм. Каких только знаков не было на этих панелях —
римские и арабские цифры, латинский и греческий алфавит,
математические символы! На этот раз выдвинулась мини-
атюрная панель с золотистым отливом и дисковой системой
набора.

— Не удивляйся смысловой бессвязности записи, —
сказал Крис. — Это еще не речь. Мысль часто хаотична,
ассоциативна, причем ассоциации подчас понятны только
мыслящему. И обрати внимание на паузы: это зрительный
образ вторгается в ассоциативную цепь.

Он включил запись.

— ...конечно же, виноват Груши... не сумел догнать
пруссак... одного Веллингтона я бы раздавил, как козяв-

ку... на правом фланге замок Угумон... слева Сен Жан, чем левее — тем выше, а в тылу лес Суаньи — вообще отступать некуда... и Ней так удачно начал атаку... а Груши ждал приказа... идиот... это писец из префектуры кланяется приказам, а военачальник думает... только дурак не мог сообразить, что повторяется ситуация при Маренго... ему бы дерзость Дезе, тот сообразил, пришел вовремя... а Бурмон просто падал... почему так больно в желудке... Что я ел?... Да-да, Бурмон... под Неем убивают пятую лошадь, а этот шакал продает императора... а потом смеялись, что я мог спать под канонаду... а меня неудержимо клонило ко сну, как вчера у камней... спать, спать — а тут принимай исторические решения...

— Явная гипотония, — сказал Крис, воспользовавшись паузой. — Одна таблетка ксеногина, и кто знает, чем бы окончилась битва при Ватерлоо. Выключить? — спросил он и, не дожидаясь ответа, нажал кнопку. — Дальше муть, все перепутано.

— А при чем здесь битва при Ватерлоо? — спросил Вадим.

— Он же о ней вспоминает. Генерал Дезе выручил его при Маренго: подоспел вовремя. А Груши при Ватерлоо не спешил. Ждал приказа. Тактический просчет. А Наполеон был уже болен и не может забыть об этом. Таких записей у меня тысячи. Вру: десятки тысяч. А это миллионы импульсов нервных клеток. Одного лишь Бонапарта. — Крис вздохнул. — Только зачем? Чтобы помочь какому-то чудачу уточнить биографию великого императора?

Что-то в тоне Криса насторожило Вадима. «Он и сам, кажется, не понимает, как это гениально. Даже одна только запись мышления. А Фибих? — вдруг вспомнил он. — Как же можно разговаривать с записью?»

Он повторил это вслух.

— Нельзя, конечно, — согласился Крис. — Общения не было да и не могло быть.

— А у медиумов?

— Тоже не было. Даже у самых честных. Мозг работал односторонне, как амплифер. Принимал телепатические послышки и переводил на речевой механизм. Вот и все! Остальное домысливалось, по-актерски доигрывалось. Сочетание самовнушения с жульничеством.

— Пример: Фибих, — усмехнулся Вадим. — Только я все-таки не понимаю, как ты заставил его разговаривать. Ведь это же не запись.

— Конечно, нет. Просто следующий шаг. Моделирование психологии мышления. Записав миллионы нейроимпульсов и проанализировав на их основании исследуемую психологию мышления, не так уж трудно было найти принципы устройства, ее моделирующего. Ты говорил не с духом, а с электронным агрегатом типа «Нил» из серии вероятностных машин, изготавливаемых каирским комбинатом. Я не слишком доволен: Фибих малость ограничен — не хватило записей. Но с императором получилось удачнее. Это почти уникальная модель искомого мышления. Удалось передать даже эмоции, правда, определенной окраски — все записи относятся к последним шести годам его жизни на острове Святой Елены. Ты можешь разговаривать с ним, как с человеком, только беседа будет носить, как мы говорим, когитационный характер. Живой человек может быть с тобой искренним или неискренним, откровенным или неоткровенным, может о чем-то умалчивать, что-то недоговаривать или просто лгать, говорить не то, что думает. Здесь же тебе отвечает чистая мысль, не отягощенная никакими изменяющими ее побуждениями. И еще: обладая какими-то заложенными в ней эмоциями, модель лишена способности удивляться. Ты можешь говорить с ней, как человек из будущего, не маскируясь под современника. Только не забывай, что узник Святой Елены, хотя и бывший, но все-таки император.

— Он уже здесь? — спросил Вадим.

— Конечно, — сказал Крис.

3

Прошла минута или две, а может быть, больше — ни один из них не глядел на часы. Ничто не изменилось в комнате. Не скрипнула таинственно дверь, не погас свет, не переместилась ни одна панель, и не мигнул ни один световой индикатор. Все было, как и минуту назад, — тихо, пусто, обыкновенно. Крис сидел рядом и загадочно улыбался.

— Что же ты молчишь? — спросил он. — Начинай.

Вадим еще раз неуверенно оглядел комнату.

— Не вертись. Модель в аппаратной. Звук включен. Говори.

— Не знаю, с чего начать, — замялся Вадим.

— Представь себе, что ты в императорском дворце в Тюильри. Или, нет-нет, на острове Святой Елены на вилле Лонгвуд. Это его резиденция в ссылке... Тыходишь в кабинет и у камина в кресле видишь великого человека в лосянах и треуголке.

— Тоже мне историк — в треуголке! Это у камина? И в кресле?

— Ну, без треуголки. Ты робко кланяешься и почтительнейше произносишь что-нибудь, добавляя при этом «ваше величество».

— Обязательно?

— Обязательно: этикет.

— А где этот чертов камин локально?

— Перед вами, шевадье.

Перед Вадимом ничего не было. Но он невольно приподнялся с кресла и, буквально выдавливая из себя слова, спросил по-французски:

— Мы вам не помешали, ваше величество?

В ответ послышался властный мужской голос, не ослабленный и не усиленный механической записью, — живой голос человека, находившегося в двух шагах от вас. Он говорил не спеша, без неприязни, но и без особой симпатии к собеседнику, однотонно, скорее задумчиво, чем равнодушно, как говорят обычно пожилые, много видевшие и усталые люди.

— Кто может мне помешать здесь, когда я один и берег впереди пуст, а на рейде три английских фрегата? Да еще справа за пиком береговые артиллерийские батареи, а слева в лесу лагерь шотландской пехоты... Нет, я не принимаю здесь, господа. Обратитесь к гофмаршалу Бертрану.

— Вы у себя в кабинете, ваше величество, и мы уже говорили с гофмаршалом, — без тени улыбки произнес Крис.

Все это показалось бы Вадиму смешной детской игрой, если бы не этот голос, продолжавший в той же задумчивой интонации:

— Это моя единственная привилегия, господа. Двадцать лет воевать со всей Европой и добиться в конце концов только права не принимать без доклада...

— Кого?

Это спрашивал опять Крис, а Вадим все еще молчал, — только сейчас дошла до него угнетающая особенность этого разговора, в котором им отвечала пустая комната, ярко освещенное ничто, воздух, игра света и тени на мерцающих стенах.

— Кого, ваше величество? — поправился Крис.

— Не люблю, когда забывают об этикете, — сказал голос, — и совершенно не выношу узаконенного здесь обращения «мой генерал».

— Кем узаконенного, ваше величество?

— Шефом моих тюремщиков, сэром Гудзоном Лоу. Был у Веллингтона болван с графским титулом, для которого не нашлось места в свите. Чтобы унижить меня, его и прислали сюда комиссаром. Что же мне остается, господа? Выдерживать его по часу в приемной и забывать, что он «сэр Гудзон», если он забывает, что я «его величество». «Хотя вы и кавалерийский полковник, мосье Лоу, — сказал я ему, — но у меня в кавалерии Мюрат разжаловал бы вас в конюшие». Он раздулся, как пудинг: «Вы оскорбляете меня, мой генерал». — «Разве? — удивился я. — Так это не я, а Мюрат. Я бы попросту вас не заметил». В отместку он запретил мне ездить верхом по берегу. На это я предложил ему к трем фрегатам на рейде добавить еще один. Он затребовал два и убавил мой двор на одного человека...

— У вас здесь свой двор, ваше величество? — спросил наконец Вадим.

— Двор из пяти глупцов, поехавших со мной в ссылку. И дворян. К сожалению, у богов нет друзей. Так было и в Тюильри. Хочешь управлять людьми — ищи пороки, а не добродетели.

— Но вас выдвинула революция, ваше величество, — осуждающе сказал Крис.

В ответ послышался совсем человеческий смешок.

— Я участвовал в шестидесяти великих сражениях, Какое вы считаете моей самой большой победой?

— Аустерлиц... — назвал Вадим и прибавил не очень уверенно: — Маренго? Итальянский поход?

— Восемнадцатое брюмера! — торжественно отчеканил голос. — День, когда я сломал хребет революции.

— Вы бы могли ее возглавить, ваше величество.

— Зачем? — последовал равнодушный ответ. — Я ее ненавидел. Даже после Ватерлоо я мог бы опять подняться на ее гребне. Любой нищий Жак охотно пойдет с топором на богатых. Но я не хотел быть королем жакерии...

Вадим внутренне усмехнулся абсурдной необычайности ситуации. Он задает давно истлевшему узнику Святой Елены тот же вопрос, который когда-то был задан ему самому на экзамене по истории: почему Наполеон не возглавил революционные силы Франции?

— А если это была ошибка, ваше величество?

— Нет. Были ошибки — другие. Непоправимые.

— Россия?

Послышался вздох и тут же шепот Криса:

— Ты слышишь оттенки? Ирония, горечь... и этот вздох? Между прочим, звук синтетический.

Вадим не ответил — он ждал.

— Россия? — повторил голос. — Я мог бы спасти империю и после катастрофы в России. Бросить пол-Европы союзникам, примириться с границей на Рейне. Для реванша мне нужна была диктатура, деспотия, цезаризм — называйте как хотите, только не повторяйте вслед за Фуше: я не разделяю вашего мнения, сир.

Снова звякнул смешок, и голос прибавил с досадой:

— Вот моя роковая ошибка: Талейран и Фуше. Почему я не расстрелял обоих, когда вернулся из Испании? В особенности Фуше.

Вадим слушал с закрытыми глазами — так было легче. Когда он подымал веки, в комнату вместе с голосом входило повернутое вспять время. Оно казалось дном колодца, налитого тьмой, которую из высокого-высокого далека пронзал тоненький лучик света. Он освещал не эпоху, не события, даже не тайну последних дней императора, а его душу.

— А ведь Фуше был полезен вам, ваше величество, — сказал Крис. — Ведь это не вы, а он заложил основы полицейского государства.

Голос засмеялся опять тихо и коротко.

— Я уже обучился этой науке — создал свою полицию против министра полиции. Если б не тяжкое бремя полководца, я связал бы ею народы... Через головы королей и парламентов. Как-то я сказал Меттерниху: «Такому человеку, как я, наплевать на миллионы жизней». Смешно! Я не моргнув глазом уничтожил бы десять миллионов, если бы шла речь о судьбе династии. А оставшиеся в живых кричали бы: «Да здравствует император!»

— Не прошло и полутораста лет, как у вашего величества объявился последователь, — снова оборвал паузу Крис. — Он тоже душил Европу и плевал на миллионы жизней.

— Кто-нибудь из королей Франции? Неужели Бурбон?

— Немецкий ефрейтор, ваше величество.

Снова смешок.

— Мельчают великие...

— Выключай, — рванулся Вадим. — Довольно!

4

Они долго молчали, медля начать разговор.

— Злишься? — спросил Крис.

— Злюсь. Гений в предбаннике. Скинул все до рубахи, а под ней горилла.

— Поправка к истории, — сказал Крис.

Но Вадим уже думал о другом: «А вдруг в открытии Криса окажется соблазнительным само моделирование? Что получится?»

— Ерунда получится, — ответил он сам себе. — Электронный пантеон или загробный паноптикум. Командированные и школьники задают вопросы вне очереди: «Что вы сделали с яблоком, сэр Исаак?» — «С каким яблоком?» — «А которое вам помогло открыть закон тяготения».

— Не оstri. Не будет такого паноптикума. Гении умирают вместе с веком. И спрашивать у них некому и не о чем. Сейчас любой грамотный физик-лаборант знает больше Резерфорда... А в общем, ты прав, — вздохнул Крис, — ерунда получается. Хочется взять молоток и разнести вдребезги эту модель!..

— Ты тоже умрешь вместе с веком, а модель, мой милый, останется, — зло оборвал Вадим: его уже начинала раздражать стратегическая глухота Криса, упрямо не слышавшего победной поступи своего открытия. — Оно для истории, глухарь! С его помощью мы как лазером осветим все ее глубины, самые далекие, самые сокровенные... Может быть, еще при жизни мы узнаем наконец тайну Железной маски, секрет Дмитрия Самозванца и убийцу Кеннеди. Чуешь? История станет самой точной наукой. — Вадим говорил уже с привычной увлеченностью лектора. — Мы очистим ее от всех искажений и выдумок, исправим все заблуждения и домыслы, оправдаем оклеветанных и заклеим виноватых...

— Погоди, — остановил его Крис.

Он набрал индекс на панели хранилища.

— Только запись некачественная, — предупредил он, — и кто — не знаю. Не декодировал. Поэт, должно быть.

Сквозь оглушительный скрежет и визг в комнату провалился низкий, чуть заикающийся, глуховатый голос:

— ...как ты зависела от вкусов мелочных... от суеты, от тупости души... Как ты боялась властелинов, меряющих... тебя на свой, придуманный аршин... Тобой клянясь, народы одурманивали... Тобою прикрываясь, земли грабили... Тебя подпудривали и поддурманивали... и перекрашивали... и перекраивали... Ты наполнялась криками истошными... и в великаны возводила хилых... История! Гулящая история! К чему тогда... вся пыль твоих архивов?! Довольно врать!! Сожми сухие пальцы...

И снова фон, как вой глушителя, смазал слова. Крис выключил звук.

А Вадиму вдруг показалось, что по белой блестящей дверной панели скользнула к выходу какая-то тень. Он понимал, что это только шутка света, отраженно играющего на полированных поверхностях комнаты, но тень определенно походила на человека в старинной треуголке и длинном, до икр, сюртуке.



КОМНАТА ДЛЯ ГОСТЕЙ

Во всех наших рассказах о встречах с привидениями очень много общего, но это, уж конечно, не наша вина, а вина самих привидений...

Д ж е р о м К. Д ж е р о м

— Я бы не советовал вам ехать: дорога плохая да и машина у вас барахлит — застрянете.

Стюарт Грейвс зябко повел плечами и подвинулся ближе к огню. За окном темнело. Комната медленно тонула во мраке, едва освещаемая зыбким пламенем камина.

— Пустяки, — отмахнулся я, — всего какая-нибудь сотня миль.

— По прямой, — уточнил Грейвс.

— Ну, сто двадцать, — согласился я. — Не уговаривайте, Стюарт, все равно не останусь. Только вечер потеряем. По-едем лучше вместе.

— Спасибо за приглашение... — Грейвс поудобнее устроился в кресле. Лучше потерять вечер, чем рисковать ночью. Я уж как-нибудь обойдусь. Глазго хороший город, а «Красный петух» отличная гостиница. Утром же Гартман обязательно пришлет автобус. Он по-немецки точен, хоть и живет в Шотландии. Так что, мистер Торопыга, завтра увидимся... если с вами, конечно, ничего не случится по дороге.

— А что со мной может случиться?

Грейвс долго молчал, задумчиво попыхивая сигарой.

— Мало ли что, — уклончиво заметил он, — шотландская ночь полна странных вещей.

Он так и сказал: «странных вещей». Типично по-английски, даже с ударением. Но я не внял.

— Бред! На вас, Стюарт, коньяк плохо действует: вы склоняетесь к мистике, а я марксист и в «странные вещи» не верю.

Но, уже сев за руль старенького «воксхолла», я понял, что поторопился. Грейвс, наверное, был прав. Не в предсказании «странных вещей», а в своем английском благоразумии. Ночь сразу же навалилась на меня безлунной дождливой тьмой. Робингудовский черный лес казался непроницаемым. Фары освещали грязные, засыпанные хворостом рытвины — точь-в-точь как на знакомых российских проселках. Шотландская грунтовка в лесу оказалась не лучше, и моя дряхлая «автостарушка» только поскрипывала, наезжая на обнаженные корни дубов или вязов — я не различал их в темноте. В общем, как говорится, не хвались отъездом, а хвались приездом. Но отступать было поздно: позади ждал Грейвс, набитый дурацкими остротами.

Я давно мечтал проехаться по дорогам Шотландии: почему-то казалось, что в шотландской «глубинке» все сохранилось, как в романах Вальтера Скотта, и скалистые горные склоны, и малахитовые луга, и овечьи стада с пастухами в классических юбочках, и родовые замки в запущенных охотничьих парках. Когда в Глазго открылся симпозиум физиков — «нулевики», на котором я присутствовал в качестве единственного советского делегата, меня все время томило

невысказанное желание удрать в «глубинку» к вальтерскоттовской старине.

И случай представился, когда профессор Гартман, круглолицый розовощекий директор экспериментальной лаборатории по изучению дискретности пространства, пригласил Грейвса и меня к себе в лабораторию и даже весьма любезно пообещал прислать за нами автобус.

По каким-то неведомым мне причинам для изучения дискретности пространства англичане не нашли лучшего места, чем старый Ардеонейг, захудалый городишко в ста с лишним милях от Глазго, на берегу длинного, похожего на интеграл озера Лох-Тей. Но это и была вальтерскоттовская Шотландия, и потому я, пренебрегая благоразумными советами Грейвса, так храбро ринулся по бездорожью в дождливую шотландскую ночь, полную «странных вещей». Я уже слышал в лесу рог, возвещавший о начале рыцарского турнира, и предвкушал встречу с самим Роб Роем, ожидавшим меня за кружкой пива в деревенском кабачке у дороги. Но время шло, а кабачок так и не возник в темноте, и рог уже не звучал, и Роб Рой, должно быть, устал ждать и ушел к себе в горы, а дорога тянулась все в том же густом и черном лесу, двигатель моей «старушки» чихал и кашлял, и к часу ночи, должно быть, я проскочил поворот на Лох-Тей.

Нехорошо помянув английских дорожников, я развернул машину и включил дальний свет: фары выхватили из ночи матово-серые стволы дубов и узкую ленту грунтовки, падающую где-то впереди в бездонной синеве леса. Машину трясло и бросало из стороны в сторону. Невольно напрашивалось фантастическое сравнение с космонавтом-пионером, пробивающимся на супервездеходе в джунглях Венеры, но «старушка» тут же вернула меня от фантастики к действительности, тряхнув так, что я едва не разбил лоб о ветровое стекло. А дорога то исчезала, то снова возникала в танцующем свете фар, извивалась перед машиной, вставала на дыбы, пытаясь перевернуть и накрыть меня. Вдруг она дернулась и затихла. Я понял, что дальше придется идти пешком: мой «супервездеход» не выдержал тряски.

Чертыхаясь и проклиная ни в чем не повинного Грейвса, розовощекого Гартмана и собственную бесшабашность, я вылез из машины и открыл капот. Зачем — непонятно: двигатель я знал плохо и тусклая лампочка под капотом ничего

не объяснила, кроме моей беспомощности. Что делать? Я осторожно потянул какой-то проводок, и лампочка, издевательски вспыхнув, погасла. Мой нервный смех в темноте ничего не изменил, его попросту никто не услышал. Где-то в чемодане у меня валялся карманный фонарик. Я кое-как нашел его, щелкнул выключателем и, развернув карту, начал изучать обстановку. По-видимому, мой «воксхолл» застрял в шести милях от Лох-Тея, маленького городка на берегу озера. Шесть миль — это полтора часа хорошей ходьбы. Не торчать же мне всю ночь посреди леса! «Дойду до Лох-Тея, подумал я, — а там до Ардеонейга наверняка ходит автобус». Словом, я запер машину, подхватил чемодан и зашагал по грунтовке.

Пройдя сотню метров, я чуть не вскрикнул: где-то впереди мерцал огонек. Я побежал к нему, спотыкаясь о корни и сучья, роняя поминутно то фонарь, то чемодан. А огонек то пропадал за лесом, то появлялся вновь и, наконец, распался на несколько огней, которые показали мне, что стоял я у ворот самого настоящего старинного замка.

То был типичный вальтер-скоттовский замок — трехэтажный, с непременно башней на правом крыле. Длинная узкая терраса опоясывала стены и скрывалась в густом плюще; издали он казался мохом.

Я вспомнил о грейсовском предсказании и закрыл глаза: не исчезнет ли наваждение? Но замок стоял по-прежнему громоздкий и мрачный, освещенный лишь фонарем у ворот и светом из окон. Однако даже этот слабый, рассеянный свет позволял различить и силуэты подстриженных кустов и деревьев, желтый песок дорожек и даже цветочные клумбы под узкими готическими окнами. «Кажется, спасен», — подумал я и потянул ручку звонка. Послышался далекий металлический звон колокольчика. Грейвс был прав: «странные вещи» прогрессировали.

Не помню уже, сколько я прождал, переминаясь с ноги на ногу и зябко вздрагивая от ночной сырости. Где-то в глубине сада залаяла собака лениво и привычно. Впереди осветился четко очерченный прямоугольник двери, и по песку зашуршали чьи-то частые, поспешные шаги. Собака тявкнула еще раз и умолкла. Шаги приблизились, кто-то встал у калитки, и дрожащий старческий голос спросил:

— Кто здесь?

Я помолчал, подыскивая объяснение своего ночного визита.

— Кто? — повторил голос. Он уже не спрашивал, он требовал ответа, в нем звучала угроза. — Кто?

Я вышел в полосу света, чтобы страж у калитки мог разглядеть своего ночного гостя.

— Простите меня... простите бога ради, но у меня... — я подыскивал английское слово, — несчастный случай, автомобильная авария... Оставил машину в лесу и дошел пешком...

Слова чужого языка сопротивлялись, пропадали в глубинах памяти, и я с трудом извлекал их, склеивая в неуклюжие фразы:

— Ехал в Ардеонейг, и вот — машина... Недалеко отсюда... Миля, должно быть... Вы позволите мне где-нибудь у вас подождать до рассвета?

— В Ардеонейг? — В спрашивающем голосе послышалось удивление и недоверие. — По этой дороге вы не попадете в Ардеонейг.

— Как же не попаду? — смутился я, сознавая весь идиотизм ситуации: мало того что вломился к людям ночью, но еще и солгал при этом! — Что же делать? — взмолился я, вглядываясь в черный силуэт за узорной чугунной оградой.

Силуэт вздохнул и, зазвенев ключами, проговорил:

— Входите.

Калитка открылась с древним, пронзительным скрипом, таинственно прозвучавшим в сонной тишине ночи. Пес снова залаял и уже не умолкал, пока мы пробирались среди мокрых кустов по узенькой садовой дорожке. Я шел позади открывшего мне стража и наспех придумывал, как правдоподобнее объяснить в замке свое ночное вторжение. Так мы добрались до входа, поднялись по неровным ступенькам на каменную террасу и увидели дверь, вернее, открытый пролом в стене.

— Прошу. — Мой спутник жестом пригласил меня войти.

Я машинально перешагнул порог и тут же зацепился за что-то ногой. Уже падая, я услышал крик:

— Осторожней! Храни вас бог!

Нечто темное и тяжелое пролетело мимо и глухо шмякнулось об пол. Не вставая, я разглядел огромный, искусно

отлитый из чугуна кулак. От широкого кольца у запястья уходила вверх ржавая массивная цепь. «Странные вещи» уж очень настойчиво следовали одна за другой.

— Он не ушиб вас? Не больно?

Я поднялся и наконец разглядел при свете своего спутника. Он оказался старушкой, подвижной и маленькой, с проворными руками, которые заботливо отряхивали меня.

— Это от грабителей, еще покойный сэра Джон придумал, а мистер Родгейм не успел снять. Надеюсь, вы не ушиблись? Слава богу, нет — вижу!

Ее доброе морщинистое лицо улыбалось. Зловещая тень в полутьме сада превратилась здесь в диккенсовскую бабушку, что-то вроде похудевшей и постаревшей Пеготти, когда Копперфильд уже вырос и мог бы стать хозяином точь-в-точь такого же замка в Шотландии. Впрочем, нет, не такого! Чем-то далеким, средневековым веяло от окружавшего меня зала с земляным полом. Потолка не было, высоко наверху черные деревянные балки поддерживали ветхую крышу. Два газовых фонаря освещали длинный дубовый стол с массивными ножками, а позади на возвышении у незажженного камина, где могли бы пылать целые бревна, стояли два кресла с высокими резными спинками. Я легко представил себе свору пьяных рыцарей за столом, а у камина в кресле какого-нибудь сэра Ланселота с чугунными плечами и рыжими космами. Вот он встанет сейчас во весь свой огромный рост и привычно провозгласит...

— Что случилось, Маргарет? Что происходит в этом доме?

Я вздрогнул от неожиданности. Голос, который вполне мог принадлежать воображаемому Ланселоту, доносился из-за стены.

— Чертова дыра! Средневековый идиотизм! Где эта проклятая дверь, никак не могу ее нащупать.

В стене открылась незаметная раньше дверь, и в проеме показался не рыцарь и не латник, а вполне современный и респектабельный англичанин в халате и туфлях, с электрическим фонариком в руке.

— Что происходит, Маргарет? — повторил он. — Кто звонил? Кто гремел? Мне осточертела вся эта таинственность.

Тут он заметил меня и замолчал, видимо удивленный появлением незнакомого человека, да еще в не совсем обычный для визитов час. Но благовоспитанность и гостеприимство тотчас же подавили невежливое любопытство.

— Оказывается, у нас гость? Ну что ж, располагайтесь как дома, сэр. — Он широко улыбнулся и пошел ко мне навстречу, протягивая руку. — Что занесло вас в эту проклятую богом глушь?

Я пожал плечами.

— Автомобильная авария.

Услышав акцент, он чуть повел бровью.

— Иностранец? Впрочем, простите. Я еще не представился. Сайрус Родгейм, к вашим услугам.

— Андрей Зотов, — назвал я себя, — и тоже к вашим услугам.

— Зотофф, Зотофф... — повторил он, прищурившись. — Югослав, поляк?

— Русский.

Он захохотал сочно и оглушительно, обнажая идеально ровные и, по-видимому, фальшивые зубы. Впрочем, может быть, и настоящие: очень уж молодожаво выглядел этот атлетически сложенный крепыш.

— Зотофф? — опять повторил он. — Конечно, русский. Я же читал недавно. У вас историческое имя, сэр. Зотофф! Премьер-министр Екатерины Второй.

Я улыбнулся.

— Вы ошибаетесь, мистер Родгейм. Был такой временщик. Только Зубов, а не Зотов.

— Какая разница! У русских труднейшие имена. Кстати, какой русский? Из Москвы или перемещенный? Погодите, не отвечайте. — Он оглядел мой промокший и забрызганный грязью костюм. — Безбожный акцент и неевропейский крой. Москва, угадал? — И в ответ на мой утвердительный кивок, явно довольный, продолжил: — Попробую дальше. Торговый представитель? Может быть, интересуетесь консервированным беконом? У меня в Йоркшире завод и ферма...

— В Йоркшире? — удивился я. — Почему же вы здесь, в этом макбетовском замке?

Ему понравилось сравнение; он опять захохотал.

— А ведь родовой замок Родгеймов в самом деле может поспорить с макбетовским. Здесь даже дух Банко есть... —

Он вдруг замолчал, словно сказал что-то лишнее, и спросил уже совсем другим тоном: — А как вы, русский из Москвы, попали в этот макбетовский замок?

Я кратко описал свое путешествие и попросил разрешения воспользоваться его гостеприимством до утра. Он согласился охотно и дружелюбно:

— Пройдемте в родовую опочивальню, сэр. Единственный цивилизованный уголок в этом средневековье. Правда, электричества нет, только газ и свечи. Зато тепло и удобно — уютные кресла, книжки, медвежья шкура под ногами, приличный камин. Вы голодны? — Не дожидаясь ответа, он обернулся к стоявшей позади Маргарет. — Сандвичи, Маргарет. Пусть попробует отборный родгеймовский бекон. И еще виски. Или русские предпочитают бренди! Не упадите! — крикнул он, когда я храбро шагнул за ним в темный проем в стене. — Здесь лестница.

Он пошел впереди, освещая карманным фонариком каменные ступени, которые привели нас в довольно большую комнату с тяжелыми портъерами на окнах. Здесь были и кресла, и медвежья шкура, и горевший камин. И повсюду мерцали свечи в стенных и настольных подсвечниках — множество свечей, должно быть, два или три десятка.

— Я их уже целую тонну сжег, — сказал мой хозяин.

— А почему вы не проведете электричество?

— Потому что я меньше месяца владею этой макбетовской рухлядью. Это наследство, мистер Зотов. — Он впервые попытался произнести мою фамилию правильно, не искажая ее на английский манер, — еще один признак вежливой внимательности к гостю. — Да, да, наследство! Мой дядя, сэр Джон Родгейм, скончался месяц назад, оставив мне в наследство все родовые воспоминания и это древнее капище. Здесь все пахнет средневековьем, заметили?

— Заметил, — сказал я, вспомнив чугунный кулак на цепи.

Вспомнился он без обиды и раздражения, мне было тепло и уютно, камин трещал, родгеймовский бекон был превосходен, а подогретое Маргарет виски согревало и убаюкивало. И само диковинное наследство Родгейма уже не казалось мне ни смешным, ни обременительным. Но Родгейм свирепствовал.



— Не упадите! — крикнул он, когда я храбро шагнул за ним в темный проем в стене. — Здесь лестница.

— А на что мне, йоркширскому сквайру и бизнесмену, эта каменная мышеловка? Я уже двадцать дней торчу здесь, а еще не знаю толком всех ходов и выходов. Даже на слом это старье продать не могу. Написал Беккету и сыновьям — есть такая коммиссионная фирма, — так агент даже сюда не поднялся. Заглянул в тронный зал — ну тот, с земляным полом, — и ретировался. Модернизация, мол, не окупится.

— Говорят, такие замки покупают на вывоз в Америку.

— Кто? Где? Рекомендуйте, если знаете. Очаровательный древний замок времен короля Дункана Шотландского. Все есть — и тайники, и мыши, и привидения!

— Даже привидения? — засмеялся я, вспомнив о «духе Банко». — Фамильные?

Родгейм внезапно помрачнел и ответил не очень охотно:

— Мне бы не хотелось говорить об этом в таком тоне. Но сам виноват сболтнул. А фамильные или нет, не знаю. Они появились совсем недавно, но уже успели причинить зло. Вы думаете, почему мой дядя переселился в семейный склеп?

Я промолчал: не хотелось обижать хозяина.

— Не верите? Я тоже не верил. Но послушайте свидетельские показания и тогда уже судите. Сначала мое: дядю я почти не знал. Он был чудаковатым, суровым и нелюдимым стариком, не встречавшимся даже с соседями. Только Маргарет и Себастьян, ездивший в город за продуктами, прислуживали ему. Другие не уживались, не выдерживая неудобств здешнего средневекового быта. Теперь второе показание — Себастьяна. Он вызвал меня телеграммой после смерти дяди, рассказал обо всем, что произошло, и тотчас же попросил расчета, не согласившись даже дня провести под этой крышей. А произошло вот что. Примерно месяц назад Себастьян заметил что-то неладное в комнате для гостей — есть такая в каждом приличном замке. Ее убирали редко гостей никогда не было, но раз в месяц Себастьян выбивал ковры, менял постельное белье и выметал пыль. Делал он это по вечерам, порой даже ночью — заедала старика бессонница, да днем и некогда было. И в ту самую ночь он пришел туда, когда Маргарет и дядюшка уже спали. Подошел к двери и обмер за дверью

свет. Хотел бежать, да любопытство пересилило. Приоткрыл дверь и видит: не фонарь, не свеча, а какое-то странное оранжевое сияние около камина. И все ширилось оно, как пламя костра, сопровождаясь каким-то монотонным жужжанием. А когда в комнате стало светло как днем, Себастьян, по его словам, совершенно отчетливо увидел в этом оранжевом ореоле двух человек. Это я говорю — «человек», а Себастьян сказал — «чертей, только голых и белых». Один из них будто бы повернулся к нему и сказал что-то вроде «спасибо». Себастьян охнул и грохнулся на пол. Там его и нашел в глубоком обмороке услышавший шум дядя.

— Бывает, — сказал я, щелкнув по бутылке виски, стоявшей на столике, если вот этим лечишься от бессонницы.

— Я тоже так подумал сначала. Но слушайте дальше. Дядя Джон пуританин, ни виски, ни пива в рот не брал да и слугу-пьяницу не стал бы держать. А уж в расстроенном воображении его никак не обвинишь — спросите кого угодно в округе, хоть судью, хоть каноника. Но он в точности дублировал опыт Себастьяна. Кажется, на следующую же ночь. И все повторилось.

— Что именно?

— Все. Не похожее на огонь сияние и голые черти. Себастьян клялся мне, что дядя так именно ему и сказал. Дядя Джон даже разговаривал с ними, вернее, слышал их разговор. Один из них шагнул к нему, направил на него какую-то штуку — Себастьян так и не понял из слов дяди какую — и раздельно произнес: «Ты... кто?» Старый Джон, человек не робкого десятка, обомлел и молчит, только губы дрожат. Тогда другой черт или призрак говорит первому: «Отключайся... он нас боится». И все исчезло — и привидения и свет. А дядя, еле живой, добрался до постели. Когда Себастьян на другой день привез врача, старику было совсем плохо. Инфаркт миокарда.

— И вы поверили Себастьяну?

— Дядя рассказал не только ему. И врачу.

— Любопытно. Что же говорит врач?

— Что может сказать врач? — пожал плечами Родгейм. — Девяносто девять из ста скажут то же самое. Расстроенные нервы, самовнушение, галлюцинация. Дублированная галлюцинация? Чушь, конечно.

— Значит, привидения? — засмеялся я.

Но Родгейм даже не улыбнулся.

— Не знаю, — искренне сказал он. — Хочу узнать. Потому и торчу здесь, в каменной мышеловке. Уже три раза ночевал в этой проклятой комнате. И ничего. Но я не сдаюсь, у меня йоркширское упрямство — жду. Даже литературу подобрал по этой части.

Он с шумом отодвинул кресло и пнул ногой стопку древних книг в пожелтевших кожаных переплетах.

Я поднял одну из них. Старый, пропахший сыростью том инкварто. На пергаментном титульном листе затейливой черной вязью надпись: «Двести сорок возможных способов избавления от привидений, а также домашних духов, пенатов и ларов, собранные магистром богословских наук преподобным Стивенем Хоуардом». Открыв наугад страницу, прочел: «...а также зажечь в тигле черную смолу и, положив правую руку на библию, выплеснуть содержимое тигля в лицо призрака». Я захлопнул книгу.

— Полезная книжечка. Остальные такие же?

— Такие же, — засмеялся Родгейм. — Только время зря потерял.

— Ну ладно. — Я встал и возбужденно потер руки. — Сегодня же я ночую в комнате для гостей!

— Э-э... как же так? — неуверенно произнес Родгейм. — Ведь вы гость все-таки.

— Вот именно, — подтвердил я. — Священное право гостя — ночевать в комнатах с привидениями. Разве не об этом говорится в ваших книгах?

Родгейм все еще колебался: любопытный шотландец боролся в нем с осторожным хозяином.

— Ну хорошо, действуйте. — Он решительно поднялся. — В случае опасности стучите по полу. Моя комната под вашей.

— Принято, — сказал я. — Ведите.

Место моего будущего ночлега оказалось небольшой комнатой с красными шелковыми обоями. Узкая кровать, покрытая клетчатым пледом, находилась в глубокой нише, а напротив, рядом с камином, возвышалось большое прямоугольное зеркало без рамы; в нем отражалась пышная стать хозяина со свечой, моя улыбающаяся физиономия и

за нами — вся комната, темная и страшноватая в неверном свете свечи.

— С богом, — сказал Родгейм. — Я вам свечу оставлю. Все-таки веселее. Значит, если что — стучите.

Он поставил подсвечник на каминную доску рядом с зеркалом, пожал мне руку и вышел. Я остался один.

Сначала огляделся, потрогал зачем-то кровать, подошел к зеркалу. Непонятная неуверенность возникала во мне, я уже готов был сожалеть, что отважился на этот идиотский эксперимент.

— Кретин, — сказал я вслух.

И тут же понял, что боюсь. А затем рассердился: мне ли, посланцу самой антирелигиозной науки, трепетать перед привидениями.

— Глупости, — громко продолжал я и насильственно улыбнулся. Улыбка в зеркале получилась кривая и болезненная.

«Плохо раньше зеркала делали, — подумал я. — Ложусь спать и плюю на всех призраков, хоть голых, хоть одетых».

С проворством солдата третьего года службы я разделся и юркнул в постель. Дрожащий огонь свечи отражался в зеркале и, падая на красную стену, вызывал на ней причудливую игру теней. Вспомнились строки: «Как ложен свет! На стенах тают тени. Тропические жаркие цветы, престранные забавные виденья — капризы уязвленной темноты». Кажется, я сам когда-то написал их. А может, не я? Веки сонливо смыкались, мысли расплывались, как тени; надвигался сон.

Проснулся я от странного металлического стука, как будто неопровержимый метроном четко отсчитывал секунды. Я открыл глаза. Блеклый оранжевый свет исходил из зеркала. С каждой секундой он становился ярче, и в нем появились серебристые искорки. Они загорались и гасли, вспыхивая на пределе. Звук метронома участился, превращаясь в монотонное гудение: казалось, огромный мохнатый шмель, заблудившись, влетел в комнату и бился о зеркало, пытаясь найти спасительный выход. Искорки вспыхивали все чаще и чаще, сливаясь в сплошную серебряную завесу, и вдруг в ней, как на экране на месте зеркала, на фоне незнакомых приборов возник голый, улыбавшийся

человек. Нет, нет, не голый — в туго обтянутом по телу белом трико. Широкий красный ремень сильно оттягивала какая-то машинка, похожая на игрушечный кольт. Заметив, что я выжидающе смотрю на него, он отстегнул «кольт» и направил дуло мне в грудь.

Я ожидал закономерного «Руки вверх», но услышал:

— Не бойся.

Вернее, это не было произнесено. Слова возникли в моем мозгу сами, голоса я не услышал. «Телепатия», — подумал я. В трубке у «призрака» опять что-то щелкнуло.

— Не совсем телепатия, но, в общем, ты прав. Мы давно отказались от звуковой передачи понятий. Это сенсорная связь.

— Кто это «мы»? — Я не без страха взглянул на привидение, знакомое с телепатией.

— Меня зовут Лен. — Слова его доходили отдельно, отчетливо, с большими паузами. — Мы из другого мира. Он касается вашего или пересекает его.

Я осознал наконец невероятность происходящего.

— Антимир?

В трубке опять что-то щелкнуло.

— Пока не знаю. Мы еще не определили, однозначны или нет наши миры. И не ставим задачи проникнуть к вам материально. Пока это только визуальная встреча.

Я вспомнил о серебристо-оранжевой завесе и спросил:

— Барьер?

— Ты спрашиваешь об экране? Это лишь оптическая иллюзия. Магнитная защита плюс энергетическое поле, обеспечивающее связь. Ты меня понимаешь?

Я прочел тревогу в его лице и сказал:

— Я физик.

Снова щелчок и радостная улыбка гостя.

— Нам повезло: мы коллеги.

— Неизвестно, кому повезло больше, — усмехнулся я. — Даже научный поиск у нас один. Я лично занимаюсь проблемой дискретности пространства, проще говоря — пробиваем окошечко в антимир. Только нам еще далеко до результатов, ох как далеко! — Я вздохнул.

— Не огорчайся, мы же сможем работать вместе.

Его лицо отразило обуревавшие его чувства — уверенность поиска, радость удачи, дружеское внимание к братьям по разуму.

«Как эмоциональны эти антимиряне», — подумал я и тут же смутился, боясь, что он поймает мою мысль. Так и случилось.

— Ты прав, у нас очень развиты эмоциональные центры. Да и у вас тоже! Двое твоих предшественников... — Мысль его оборвалась.

Но я уже понял.

— Они не были подготовлены к встрече с вами. И ничего не поняли, считая вас привидениями...

— Привидениями? — услышал я его мысль. — Понимаю. Ты подразумеваешь души умерших?

— Вы верите в души умерших? — удивился я.

— Нет, конечно. Но у вас кто-то верит?

— Старики, — сказал я. — Жертвы религиозного мировоззрения. Вы имеете представление, что такое религия? — Я поймал непонимание в его лице. Идея бога, как творца мира.

Мой «призрак» пощелкал «кольтом» и засмеялся.

— Древняя идея. Мы уже забыли о ней.

«Как мы отстали от них, — подумал я, — и как непохожи, должно быть, наши миры!»

— Сходство — необязательное условие взаимопонимания, — услышал я ответ, — и ты очень похож на нас, только одет иначе.

Я оглядел себя и ужаснулся. Я был никак не одет, — в одних трусах, как вскочил с постели. Сказать, что спал? Неловко. Может быть, у них спят в каких-нибудь особых пижамах?

— Это костюм для спортивных упражнений, для физической зарядки, сказал я и густо покраснел, поняв, что он уже прочел все мои мысли и потому улыбается.

Только почему он при этом все время щелкает «кольтом»?

— Что это за трубка у тебя? — не выдержал я.

— Ретранслятор понятий, — пояснил Лен. — Дает эквиваленты непонятных нам слов.

Я вспомнил таинственные щелчки, сопровождавшие нашу беседу.

— Антимир, привидения, зарядка?

— Да, я не понимал этих слов. Теперь понимаю.

Я попытался собрать воедино разбегавшиеся мысли. До сих пор наш разговор напоминал бег с барьерами. Преодолев барьер страха, я наткнулся на барьер удивления. Встреча с неведомым ошеломяла, а вряд ли ошеломленный человек способен задавать разумные вопросы. Опрос надо вести планомерно.

— Почему вы избрали для проникновения в наш мир именно эту комнату? спросил я.

— Мы ничего не выбирали. Просто наша лаборатория геометрически совпадает с ней. Вероятно, из соседнего зала мы попали бы в другое место.

— В лес бы вы попали, — сказал я. — Тебе не кажется, что вероятность нашей встречи была более чем сомнительна?

— Конечно, — согласился Лен. — Мы можем проникать к вам только статически. Минус-поле не предполагает динамических переходов. Вопрос транспозиции еще в стадии разработки.

— Минус-поле?

— Ну, если хочешь, переходное поле. Его впервые применил к нуль-переходу Дан Лоер. А разве вы идете другим путем?

Я кратко объяснил ему суть наших поисков. Когда я упомянул о высоком вакууме, он перебил:

— Вакуум Аллая? Понятно. Но ведь он совсем не исключает минус-поля. Как же вы подойдете к транспозиции?

Мне показалось, что я глохну. Лен продолжал говорить, а мой мозг не воспринимал понятий. В чем смысл транспозиции? Какова природа минус-поля? Что такое квазистатус? Мне оставалось только хлопать ушами — ведь у меня не было ретранслятора.

Должно быть, Лен понял это и умолк.

— Не смущайся, — добавил он утешающе. — Непреодолимых трудностей нет.

Я вздохнул.

— А почему вы появляетесь только по ночам? — спросил я только для того, чтобы не молчать дальше.

— Почему по ночам? — удивился Лен. — У нас день.

— Стало быть, встречное время предполагает такую несовместимость, вслух подумал я.

— Безусловно. Ваш мир не полностью зеркален нашему.

— Значит, ваша лаборатория...

— Находится совсем не там, где у вас эта комната. И наше время, и наша география отличны от ваших.

— Вы знаете нашу географию?

— Узнаем в конце концов. Как и все о вашем мире. А вы — о нашем.

Мне не хотелось ждать новых встреч, я торопился узнать побольше:

— Подожди. Хотя бы вкратце: ваша планета тоже Земля?

— Разве дело в названии?

— Что значит иная география? Другие материки и моря?

— У нас три больших материка, которые занимают примерно треть планеты, остальные две трети — океан, теплый у экватора и холодный к полюсам. Вероятно, как и у вас.

— И на трех материках разные государства?

— У нас нет понятия «государства». Человечество управляется советом лучших людей планеты. — Лен помолчал и неожиданно спросил: — А почему у вас в комнате нет никаких приборов?

Я мысленно перенес свою лабораторию в этот средневековый замок. Стало смешно.

— Это не моя комната, — сказал я. — И все здесь очень далеко от науки. Даже этот единственный прибор. — Я указал на забытый кем-то на камине прибор для бритья.

— Как же мы будем... работать? — впервые испугался Лен.

— Не беспокойся. Уже завтра к вечеру здесь будет столько не верящих в привидения физиков, что не забудь ретранслятор.

— О, это самое легкое, — счастливо улыбнулся Лен. — А теперь мне пора. Слышишь?

Где-то за его спиной вспыхнул радужный глазок и загудел зуммер. Звук не был похож на то шмелиное жужжа-

ние, которым сопровождалось появление «призрака». То было тревожное гудение, напоминавшее об опасности.

— Что это?

— Энергия на пределе. Нужно отключить поле. Кстати, я так и не знаю твоего имени.

— Андрей, — сказал я.

— Андрей, — медленно повторил он. — Трудное имя. Но я запомню. До завтра, Андрей.

Светящаяся завеса между нами стала темнеть. Снова появились серебристые искорки, сплетавшиеся в какой-то замысловатый узор. Гудение нарастало, заполняя комнату, и неожиданно смолкло. А из невесть откуда вновь возникшего зеркала на меня взглянули мой курносый нос и глаза, затаившие чудо открытия. Не моего открытия, не мной подготовленного, но я увидел то, что не видел ни один человек на земле.

Я подошел к окну. Где-то за лесом уже всходило солнце, размывая сырую шотландскую ночь, полную «странных вещей».

Наконец мой «воксхолл» выбрался на асфальт шоссе, оставив далеко позади макбетовский замок. Исправить машину оказалось не так уж трудно, и Родгейм отлично справился с этим.

Любопытно началась и окончилась наша встреча. Я не поверил его рассказу о привидениях, он не поверил моей истории о встрече с ними. Выслушал он меня, ни разу не перебив и все более мрачней. Когда я закончил, он долго молчал, пожевывая сигарету и стараясь не глядеть на меня.

— Не верите?

— Не люблю мистификаций.

— А когда к вам обратятся по этому поводу английские физики, вы тоже сочтете это мистификацией?

— Не обратятся ко мне английские физики. Вы просто посмеетесь с ними над глупым шотландцем, поверившим в привидения.

— Послушайте, Родгейм, — рассердился я. — Вы способны разговаривать серьезно или нет?

Он все еще недоверчиво пожевал губами и не ответил.

— Вы можете верить в привидения и не верить в антимир, это в конце концов ваше дело. Но у вас в замке в комнате для гостей необходимо поставить самый сенсационный научный эксперимент нашего века. Подумайте не только об интересах науки, но и о ваших собственных интересах, о будущей мировой славе вашего родового поместья! Завтра к вам явятся первые гости из гартмановской лаборатории. Они, вероятно, тоже не поверят в привидения, пока лично с ними не встретятся. Но эту встречу вам надлежит устроить и всячески ей способствовать.

Так я убедил Родгейма. И когда он, измазанный в масле, вылез из-под машины, оставленной мною в лесу, он все еще бормотал, пожевывая давно потухшую сигарету:

— Антимир? Я и не знал, что это такое. А родгеймовский бекон? Вы представляете теперь, как пойдет родгеймовский бекон?!

Таким я и запомнил его: грязный, счастливый, он махал мне гаечным ключом и кричал: «Возвращайтесь скорее! И везите всю вашу ученую братию!»

Я представил себе саркастическую физиономию Грейвса, немое изумление толстяка Гартмана, ледяное недоверие Эмили Кроуфорд — единственной женщины, занимающейся дискретным пространством. Ничего-ничего, я силком притащу их к Родгейму — пусть сами встретятся с Леном. Зато потом их оттуда не выманишь. Я представил себе газетный бум, пресс-конференции, встречу с соотечественниками в Москве. Я представил себе макбетовский замок, отремонтированный и модернизированный, с медной доской у калитки: «Замок Родгейм. Лаборатория по исследованию дискретности пространства. СССР — Великобритания». Я представил себе...

Нет, здесь я поставлю точку. Говорят, Архимед, открыв свой закон, с криком «Эврика!» бегал по улицам Сиракуз. Я тоже кричу: «Эврика!» — и выжимаю предельную скорость моей «старушки». Мечты так дерзки, что кружится голова и ветровое стекло застилает мираж. Он начинается дорожным жестяным указателем с надписью: «Ардеонеиг, 10 миль» — и ведет к трем далеким материкам за светящейся завесой в комнате для гостей.



СПОКОЙНОЙ НОЧИ!

«Внимание: тот, кто выходит из рамок
всеобщего каталога снов,—
уже потенциальный враг!»

Из речи шефа Системы Всеобщего Контроля

Красный глазок над дверью мигнул и погас. Ли подвинул кресло к пульту и включил микрофон внешней связи.

— Младший блок-инспектор Ли Джексон к смене готов.

На светящихся экранах над пультом появились расплывающиеся зеленые полосы. Ли подкрутил верньер настройки. Полосы исчезли, и четкий металлический голос произнес:

— Блок номер триста семнадцать. Двадцать часов ноль минут по меридиальному времени. Восемьсот шестьдесят каналов под контролем блока. Дополнительные подключения регистрируются.

Ли довольно откинулся в кресле. Вот и началось его первое самостоятельное дежурство. В Особом отделе Системы с новичками долго не церемонятся. Краткий курс теории механического контроля сна, два сеанса гипнопедии, отведенных на заучивание библии спящего человека или Всеобщего Каталога снов, и час практической демонстрации аппаратуры. Только вчера старший инспектор Бигль показал ему весь подконтрольный им механизм аппаратной, а уже сегодня Ли сам сидит перед пультом. Конечно, обязанности блок-инспектора не так уж сложны: просматривай сны, отобранные автоконтролем как отклонения от каталогических норм, и сообщай о них по начальству. А уж кто прав и кто виноват, без него разберутся.

За спиной Ли почти бесшумно открылась дверь, но он все же услышал и обернулся.

— Привыкаешь, сынок? — спросил вошедший Бигль.

Он был высок, грузен и не очень подвижен, как бросивший спорт тяжеловес. Ему было явно жарко в его черном инспекторском мундире: он то и дело вытирал вспотевший лоб и шею большим клетчатым платком, — прогресс техники ничем не оснастил этот вид туалетного сервиса.

— Я посижу у тебя немного, ладно? — прибавил он.

Ли согласно кивнул. Ему нравился Бигль, его ободряющая улыбка и добродушная интонация в обращении. Но было чуточку обидно, что инспектор все-таки не доверяет ему. Ну что ж, пусть лишний раз убедится, что на Ли можно положиться в любую минуту дежурства.

Впрочем, Бигль как будто и не заметил этой маленькой обиды своего подчиненного. Он лениво расстегнул мундир и развязал галстук.

— Ну и жара, — сказал он, отдуваясь.

Ли, все еще обиженный, сидел, склонившись над пультом. Бигль посмотрел на его стриженный затылок и подумал с отеческой теплотой: «Мальчишка. Чертовски хороший мальчишка. И ничто его не тревожит, — ни шеф, ни

сонники. А ты крутишься тут как белка в колесе: Бигль — туда, Бигль — сюда. И вдобавок тебе подсовывают эту темную историю с доктором. Поди разберись, когда сам шеф разобраться не может. «Бигль, проследи». А тут не следить, а кончать надо. Привезти и допросить».

— И чего это людям не хватает? — вздохнул он. — Ложишься спать — загляни в каталог. Выбери что-нибудь по вкусу и спи на здоровье. Тебе хорошо, и нам спокойно. Хочешь из классики что-нибудь про ковбоев или про гангстеров, хочешь про супермена или про наших парней с Юпитера — пожалуйста! Хочешь стриптиз какой-нибудь или спортивную драку для полировки крови — тоже не возражаем. Хочешь музыки — только выбирай: в каталоге снов все джазы с сотворения мира подобраны. Набери индекс на сомнифере и смотри до утра. Так нет — им обязательно запретное подай!

Бигль замолчал, обмахиваясь, как веером, своим огромным платком. Ли слушал, не поворачиваясь и все время краснея: он не знал, как воспринять неожиданную откровенность начальника. А Бигль словно и не замечал смущения юноши.

— Один мой приятель всех кинозвезд во сне пересмотрел, — продолжал он, вспоминая и улыбаясь, — самые сенсационные боевики выбирал. Как сейчас, помню его коронный сон: Марджори Кинг на съемках фильма «Марс, Марс, черт его побери!» Мировой боевик. Ты уже парнишкой был, небось видел.

— Это тот, где она все время цвет меняет? — спросил Ли.

— Вог-вот, — радостно подтвердил Бигль. — Совсем идиотская чепуха, а ему нравился. Ну и пожалуйста — каталог не запрещает. «Кинозвезды во время съемок. Индекс эс-ка-эс, восемнадцать «А» прописное», — процитировал он параграф Всеобщего Каталога снов.

— А где этот ваш приятель?

— В сумасшедшем доме, сынок. Насмотрелся до чертиков. — Бигль помолчал и прибавил грустно: — Тоже меру знать нужно. Головы не терять.

— Бывает, — равнодушно заметил Ли.

Бигль неожиданно рассердился

— Что ты понимаешь? «Бывает»! — передразнил он. — Знал бы ты все, что бывает, поседел бы, как я!

Он тяжело вздохнул; злость прошла, и он уже досадовал на себя за эту ненужную вспышку: сказывалось напряжение последних дней. «Проклятый док! — поморщился он. — Опять следить и ждать, когда, в сущности, все уже ясно. А посоветоваться не с кем». Он критически посмотрел на Ли, обиженно нахохлившегося у пульта.

— На что обиделся? Непонятно? Старику Биглю самому еще многое непонятно. — Его передернуло от одной мысли о досье доктора. — Сомниферы, видите ли, им не нравятся. Природу им подавай!

— Скажите, сэр... — В наступившей тишине вопрос Ли прозвучал неожиданно громко. Юноша испуганно замолчал и прибавил почти шепотом: — Как появились эти сомниферы? Откуда? Нам в школе о них не говорили. И в учебниках ничего не было.

— «В учебниках»! — насмешливо повторил Бигль. — Какой дурак будет писать об этом в учебниках? У нас не любят подробностей о прошлом. А зря... — Он помолчал, глядя куда-то поверх Ли, и спросил: — Ты что же думаешь, Система Всеобщего Контроля существовала всегда?

Ли так не думал. Его вообще не волновал этот вопрос. Он вырос в обыкновенной семье, учился в обыкновенной школе, по обыкновенным учебникам, у обыкновенных учителей. Прошрое он знал, как галерею великих людей: фараоны, Ксеркс, Александр Македонский, Тимур, Наполеон, Гитлер. В Штатах были свои герои: Морган, Рокфеллер, Форд, Маккарти, Голдуотер. Свободный мир удалось отстоять от красной лавины, залившей большую половину планеты только потому, что власть вовремя взяли в свои руки творцы Системы Всеобщего Контроля. Она казалась Ли незыблемой, как солнце днем или звезды ночью. Она просвещала, воспитывала, учила, вела. Она обеспечивала работу и отдых. И сомниферы были такой же неотъемлемой ее частью, как и вытеснившие автомобили спиды, телеинформация и юниэкраны — универсальные зрелища, пришедшие на смену таким древним увеселениям, как театр, телевидение и кино. И сомневаться в полезности сомниферов было столь же бессмысленно, как не признавать реле искусственного климата.

— Ах, сынок, сынок, — ласково проговорил Бигль, — мало и плохо тебя учили! — Он, кряхтя, полез в задний карман брюк и вытащил оттуда засаленную синюю книжку в твердом пластиковом переплете. — Посмотри на букву «С» — «сомниферы». — И он перебросил книжку Ли.

Тот взглянул на обложку. Выцветшее золото букв общало: «Инструкция для старшего персонала блоков СВК». И чуть ниже, помельче: «Секретные материалы». Ли почти с благоговением открыл ее, медленно перелистывая страницы.

— Зачем листаешь? — нетерпеливо остановил его Бигль. — Я же сказал: смотри на «С».

Ли открыл страницу на указанной букве: саванна, селектор... Ага, вот и «сомнифер». Он вопросительно взглянул на инспектора.

— Читай, читай, — кивнул тот.

— «Сомнифер, — прочел Ли, — прибор — транслятор снов. На входы прибора поступает программа, откорректированная по Всеобщему Каталогу снов (см.). Сомнифер дает направленное излучение, действующее на кору головного мозга. Рассчитан на непрерывное восьмичасовое действие. Изобретен в конце прошлого века Джакомо Секки, впоследствии основавшим и возглавившим фирму «Сны на заказ». В политической борьбе сомниферизация стала программным лозунгом победившей и находящейся ныне у власти партии. Платформа парламентской оппозиции «сонников», возражавших против сомниферизации, была объявлена антигосударственной. Фирма Секки со всеми ее гипностанциями переходит в собственность государства, превращаясь в один из важнейших рычагов Системы Всеобщего Контроля. В коммунистическом секторе запрещена».

Ли молча дочитал до конца. Почему он не знал об этом? Почему даже этот чисто информационный параграф инструкции относится к секретным материалам? Почему так тщательно скрывается, что мир не так еще давно прекрасно обходился без сомниферов, а в коммунистическом секторе планеты они вообще запрещены? В какой это политической борьбе победила находящаяся ныне у власти партия? О каком парламенте идет речь, когда в стране уже давно нет никакого парламента и подобные ему демокра-

тические институты даже не упоминаются в школьных учебниках. Обо всем этом Ли хотелось спросить у Бигля, но он подумал и, возвращая инспектору книжку, задал только один несущественный и, как ему казалось, невинный вопрос:

— А кого, собственно, мы называем «сонниками»? И почему их так называют?

Бигль поморщился, вызывая в памяти когда-то слышанные им комментарии к инструкции, и неохотно пояснил:

— В древности хаос был. Каждый видел во сне то, что виделось. Всякую всячину. А сонники — как бы это тебе объяснить? — толковали ее по-своему. По косточкам разбирали. А косточки разные бывают. Иную проглотишь — подавишься. — Бигль по выражению лица своего подчиненного понял, что запутался, и сердито оборвал: — Вот мы и называем сонником всякого, кто свои сны смотрит не по каталогу.

— Занятно, — сказал Ли, не сумев сдержать улыбки.

— «Занятно»?! — неожиданно вспыхнул Бигль. — Тебе занятно, а я эти двадцать жеваных строк своей шкурой писал. Годы и годы. Жизнь. Таким вот, как ты, начинал, самым молодым шерифом на побережье. Бил, стрелял, жег, вешал. Ну и заметили. И отметили. Произвели. Подняли. — Инспектор рванул полу расстегнутого мундира. — Думаешь, дешево обошлась мне эта курточка? А ты ее сразу надел. Со школьной скамьи.

Ли с восхищением смотрел на сидевшего перед ним рыхлого человека в черном мундире. Какую грозную жизнь прожил он, чтобы стать в конце концов хозяином спящего города. Как ангел-хранитель обходит он блок за блоком, благословляя верных и поражая лукавых. Спящие не обманут. Еще днем они могут укрыться за лживыми заверениями в преданности, а ночью сон когда-нибудь выдаст их. Аппарат регистрирует опасную мысль, затаенную в сновидении. Ли занесет ее в контрольную сводку, и сонник отмечен. Что происходит с ними в дальнейшем, Ли не знал, и спрашивать об этом не полагалось. Судьбу их вершил Георгий-победоносец в мундире старшего блок-инспектора.

Бигль, казалось, понимал, что творилось в душе юноши. Его самого воспитывали, и он воспитывал. И знал, как воспитывать. Немножко истории, немножко патетики, несколько устрашающих намеков — и мальчишка готов! Зря их не учат как следует в школах. Мямли, плясуны! Им бы только сарт танцевать или завывать под гипнотическую музыку. Нет, Бигль сам отшлифует этого парня. До блеска. Будет сонников, как орехи, колоть.

— Разные сны бывают, — сказал он поучающе, — можно и по каталогу заказать, а потом повернуть по своему. Скажем, президентские выборы. Порядок! А они закажут выборы Рузвельта или Кеннеди. Тут аппарат не поможет: ты соображать должен. Или, возьмем, полет на луну. Можно заказать сон по книгам — их в каталоге сотни три. А они героев подменяют: вместо Джона — Иван. Или такое придумают: закажут полет в космос по замкнутой орбите. Все правильно. По каталогу? По каталогу. А в кабине кто? Гагарин!

— Кто? — не понял Ли.

— Не знаешь? Понятно. Берегут вас, не учат. А тут волков надо растить...

Бигль не кончил. Осветился экран внешней связи, и молодой женский голос произнес:

— Шеф вызывает старшего блок-инспектора Бигля.

Бигль метнулся к пульту, включил микрофон.

— Бигль слушает.

На экране появилось огромное одутловатое лицо шефа, до каждой черточки знакомое Ли по всем каналам информации на юниэкранах.

— Как с двадцать третьим, Бигль? — Шеф говорил быстро и резко.

— По-прежнему, шеф. Опять не включил сомнифер. Блок триста семь контролирует сон. Так как сновидение естественное, передача не очень четкая. Картины детства, старая женщина, ребятишки в вишневом саду... Какие будут приказания, шеф?

— Включите в список. Как его?

— Доктор Стоун, сэр.

— Зайдите ко мне.

Экран погас. Бигль торопливо застегнул мундир и пошел к выходу. У двери он обернулся.

— Включи контрольный обзор, сынок. Сны сейчас в самом разгаре. Нужен глаз да глаз... — Он хотел что-то добавить, но передумал и вышел.

Дверь бесшумно закрылась. Ли остался один. Честно говоря, он так и не понял, о чем шел разговор, видимо очень важный, если проявляет свою заинтересованность сам шеф. Доктор Стоун? Ли никогда не слышал этой фамилии.

Вопрос: Вы кому-нибудь рассказывали о своих снах?

Ответ: Нет. В наши дни люди не доверяют друг другу.

Из стенограммы допроса Иоганна Фебера в Особой комиссии

Неоновая девица над входом в бар, периодически загораюсь, сбрасывала с себя остатки одежды. Огненные буквы вспыхивали на черном стекле и фейерверком осыпались на горячий от зноя асфальт. Ли долго пытался понять этот оптический фокус, но, так и не разгадав его, подошел к двери и заглянул в ее большое чистое и прозрачное, как воздух, стекло. Ему очень хотелось войти в зал, протолкаться сквозь вибрирующую в сарте толпу к тому пустому столику около эстрады, который он заприметил, стоя у двери, но он боялся. То был слишком фешенебельный для него ресторан: сюда приходили вернувшиеся из рейса космонавты, забывшие запах земли шахтеры Марса, суровые лоцманы венерианских морей. Он был не похож на пестрые и крикливые кабаки Главной авеню и на дешевые забегаловки ее переулков. Сюда Ли, наверное, не пустили бы — не стоило и пытаться.

— Что задумались? Входите. — Чья-то рука легла ему на плечо.

Ли обернулся: на него ласково смотрел высокий рыжеволосый мужчина в черном селеновом свитере. Он ободряюще усмехнулся и подтолкнул Ли к двери:

— Пошли.

— Меня не пустят, наверно... — неуверенно проговорил Ли.

Вместо ответа незнакомец взял его под руку и открыл дверь. Эскалаторная пластиковая дорожка подвела их ковхо-

ду в зал. Танец только что кончился, и возбужденные гипно-музыкой люди спешили к своим покинутым спутникам, недопитым коктейлям и прерванным разговорам.

— Хотите получить свои семь футов под килем? — весело спросил незнакомец.

— Семь футов? — не понял Ли.

— Это же название ресторана. Разве не слышали?

— Странное название, — удивился Ли.

— Старое напутствие морякам, отправлявшимся в плавание. Семь футов под килем — достаточно, чтобы не сесть на мель.

— Разве сейчас есть такие суда?

Незнакомец засмеялся: мальчик был глуповат или наивен; вероятно, только что вышел из школы, где ничему не учат, кроме умения пользоваться современной техникой.

— Мы любим вспоминать прошлое только для рекламы, — сказал он. — Или вспоминаем о былых неудобствах только для того, чтобы сказать: «Как хороша жизнь!»

— А разве она не хороша? — спросил Ли.

Незнакомец молча повел его по залу как раз к тому столу, возле перламутровой раковины эстрады, который Ли увидел сквозь дверное стекло. Неизвестно откуда возникший метр услужливо подвинул стулья.

— Как всегда, док? — спросил он с заботливой фамильярностью слуги, прочно усвоившего привычки хозяина.

— Конечно, Рид, за столом я консерватор. А молодому человеку — семифутовый. Самое безвредное пойло из всех ваших коктейлей, кроме чистой воды. К тому же молодой человек у вас впервые.

Ли слышалась явная ирония в реплике незнакомца, но юноша не ответил. Радости жизни, о которых намекнул его спутник, уже начинались. С музыки, неизвестно откуда звучавшей и наполнявшей все его существо. С мигания мерцающих огней в воздухе, то вспыхивающих, то погасающих, то внезапно сменяющих цвет прямо над головой, перед глазами. С пения невидимого хора, доносившегося с пустой эстрады. Звуки томили, будили, звали, спрашивали. О чем-то волнующем и сладостно непонятном. Ли хотелось петь, танцевать, прыгать, кружиться с кем-нибудь в бесконечном, смеющемся хороводе, хотелось кричать что-нибудь очень веселое, объясняться в любви и хохотать, хохотать — он еле

сдерживался, стиснув зубы и сжимая руками прыгающие колени.

— Вы что-нибудь чувствуете? — спросил незнакомец.

Голос его прозвучал глухо, словно из-за стены. Ли тупо посмотрел на него:

— Вы о чем?

— По-моему, вы что-то чувствуете. Радость, да? Приступ веселья?

— Откуда вы знаете? — спросил Ли. Ему было трудно оторваться от охватившего его настроения, как от нахлынувшей теплой морской волны.

— Нетрудно догадаться: в этом кабаке хорошая гипноустановка.

— Вот оно что! — протянул Ли. — А я и не подумал.

Он постепенно приходил в себя. Как и все волевые люди, Ли хорошо сопротивлялся массовому гипнозу, особенно рассеянному, когда поле, модулируемое пси-установкой, не имеет четкого направления.

— Обидно. — Ли смущенно посмотрел на своего визави. — Влип, как мальчишка. Не люблю, когда мне навязывают чужую волю.

— Сэ ля ви, говорили когда-то французы. Такова жизнь, — невозмутимо заметил док, смакуя принесенный метром изумрудный напиток в бокале, таком чистом, что казалось, он был соткан из воздуха. — Не принимайте все это так близко к сердцу: таких «мальчишек», которые здесь «влипают» и, главное, стремятся к этому, в одном только нашем городе десяток миллионов, а сколько их в стране, ошастливленной Всеобщим Контролем!

Ли опять послышалась ирония в голосе незнакомца, настолько откровенная, что он спросил:

— Что вы подразумеваете? Я вас не понимаю.

— Неужели? — засмеялся незнакомец и нарочито гнуса-во пропел знакомые каждому пошловатые строки: — «Столько наслаждения свыше всяких мер... вам, как PROVIDENCE, дарит сомнифер!» Этот оплаченный государством рифмач, по-моему, очень точно сформулировал отпущенные нам радости жизни.

Ли все еще не понимал: при чем здесь сомниферы? Неужели этот чудак, ставит их рядом со здешней пси-установкой. Он даже улыбнулся столь очевидной нелепости.

— Чему вы улыбаетесь? — спросил незнакомец.

— Простите, сэр... — начал было Ли.

Но тот перебил его:

— Зовите меня док. Так меня все называют. И здесь... и в других местах, — загадочно прибавил он.

— Хорошо, док, — согласился Ли. — Я только хотел сказать, что сомниферы и гипноустановки совершенно разные вещи.

— Технически, — улыбнулся док.

— Не только технически, — с горячностью возразил Ли. — Гипноустановки одурачивают людей, а сомниферы действительно украшают жизнь, делают ее более интересной и, если хотите, насыщенной.

Рыжий человек в селеновом свитере, сидевший напротив, отставил бокал с таинственной смесью и пристально смотрел на Ли. В его взгляде сквозили любопытство и жалость. Так смотрят на первого ученика в классе, пытающегося объяснить жизнь по школьным программам.

— Милый мальчик, — грустно сказал незнакомец, — вы нелогичны, но это по молодости. Если жизнь недостаточно хороша, то зачем же улучшать ее только во сне?

Ли подумал немного и не согласился. Док что-то упрощает или усложняет.

— Это же развлечения, как и юниэкраны! — воскликнул он.

— Кстати, наши универсальные юниэкраны рассчитаны на собачью неприхотливость. Думающий человек только разучится думать. Но он, по крайней мере, может встать и уйти, — сказал док. — А сомнифер не выключишь и во сне не уйдешь. Так и смотри до утра навязанный тебе сон. Или чужую волю — ваше выражение, юноша.

Ли закипел от негодования: ведь он имел в виду только гипноустановки.

— Ну и что? — Док словно читал его мысли. — В одном случае вам навязывают чужую радость, в другом — чужие сны. А разницы никакой: и тут и там — чужое.

Ли задумался в поисках возражения. Нет, док в чем-то неправ.

— Почему чужое? Ведь я сам выбираю сон по каталогу. Мне только подсказывают образы, мой мозг сам воспроизводит их. Один и тот же сон два человека видят по-разному.

— Но по одной подсказке.

— Почему? Я могу выбрать одно, вы — другое.

— По одному каталогу.

— В конце концов, я сам могу придумать сон.

— И станете сонником.

— Да нет же! — Голос Ли даже зазвенел от обиды. — Кто-кто, а я-то знаю! Сонники смотрят запрещенные каталогом сны.

— А какие сны запрещены? — лукаво спросил док.

Ли вспомнил свой разговор с Биглем, но почему-то все ухищрения сонников, описанные инспектором, показались ему неубедительными. Сейчас док их высмеет.

— Каталог разрешает президентские выборы, а они заказывают выборы Рузвельта или Кеннеди, — робко повторил он слова Бигля.

— А кто такой Рузвельт? — спросил Док.

— Президент, — неуверенно сказал Ли.

— Какой?

— Нас не учили.

— А Кеннеди?

— Его убили, — вспомнил Ли.

— За что?

— Не знаю.

— В том-то и дело, что вы не знаете, — сказал док. — И никто из вас не знает. А если знает, молчит. Запрещено все, что не имеет индекса, указанного в каталоге. Как по-вашему, можно посмотреть во сне сказку о Красной Шапочке?

— Конечно, — улыбнулся Ли. Глупый вопрос. Впрочем, сказочку он не помнил.

— Один мой знакомый, по имени Иоганн Фебер, — задумчиво произнес док, — попробовал рассказать ее во сне по-своему. Там все было — и Красная Шапочка, и волк, и бабушка, только в их словах и делах был особый смысл. Вот и все.

— Что — все? — поинтересовался Ли.

— Дело Фебера разбиралось в Особой комиссии...

— Где он сейчас?

— Не знаю. И никто не знает... Кроме... — грустно усмехнулся док. — Впрочем, оставим это.

Ли был оглушен услышанным. Что такое сонники, он узнал в школе. Что они смотрят запрещенные сны, он услышал

от Бигля. Рузвельт и Кеннеди не убедили, а лишь насторожили его. Но Красная Шапочка... Какой же новый смысл можно вложить в детскую сказку?

— Пока есть только одна возможность почувствовать себя человеком, — негромко продолжал док. — Начать с оглупляющих снов...

— Как?

— Не включать сомнифер.

— Я бы не заснул без него, — усомнился Ли.

— Конечно. Это как наркотик. И так же раздражает нервную систему. Сначала просто любопытно, потом втягиваешься. Круговорот развлечений — наяву и во сне. Вечером — гипномюзика, ночью — гипносон. И уже не можешь без сомнифера, как без снотворного. Но я, слава богу, не наркоман.

— Сомниферы же не обязательны, — не совсем уверенно сказал Ли. — Смотрите естественные сны. Это же не запрещается.

— Кто знает? — горько сказал док. — Странное у нас время.

Он поднялся и подозвал метра. Расплатившись, он наклонился к Ли и спросил:

— Надеюсь, я не сделал вас сонником?

Он рассмеялся не без горечи и, не оглядываясь, пошел к выходу. Ли недоуменно посмотрел ему вслед.

— Кто это? — спросил он у метра.

— Доктор психологии Роберт Стоун, — почтительно сказал тот. — Хороший человек, только со странностями.

К показательному допросу можно прибегать лишь в том случае, когда вина подсудимого не вызывает сомнений.

Инструкция для старшего персонала блоков СВК

Ли посмотрел на часы: хорошо, что дежурство кончается.

Он устало потянулся в кресле, закрыл глаза.

И снова, в который раз, будто из затемнения, перед ним возникло грустное лицо доктора. «Кто знает? — сказал он. — Странное у нас время». Почему странное? Ли мучительно искал разрешения неожиданно возникших сомнений. Не то

чтобы доктор поколебал его веру в систему, нет: Ли по-прежнему был убежден в ее великой целесообразности. Просто Стоун, сам того не ведая, приоткрыл ему дверцу в вечный мир вопросов «как?» и «почему?», тревоживших человечество с первой попытки мыслить.

Ли машинально повернул верньер настройки экрана координационного центра. Изображение еще не возникло, но звук уже был, вернее, гуденье, слабое и неровное. И вдруг в привычной тишине блока раздался негромкий, так хорошо знакомый Ли голос:

— Як вашим услугам, сэр. Спрашивайте.

Изображение прояснилось, и сквозь розоватую дымку экрана Ли увидел огромный кабинет шефа и его самого за старинным, нелепым в этом царстве модерна столом, а напротив в овальном кресле высокого рыжеволосого человека, который так внезапно и так тревожно ворвался в жизнь младшего блок-инспектора. Почему он возник в кабинете шефа? Что случилось? Ошибка диспетчера, забывшего выключить внешнюю связь, или заранее продуманный акт? Показательный допрос, — Ли слышал и об этом. Но при чем здесь доктор Стоун? Ли недоумевал, а док почему-то казался даже довольным, только чуть-чуть возбужденным.

— Спрашивайте. — Голос его звучал вежливо, но иронически, — Я постараюсь удовлетворить вашу любознательность.

— Этого я и хочу. — Шеф встал, обошел свой гигантский стол и сел в соседнее с доктором кресло.

«Играет в демократичность», — почему-то неприязненно подумал Ли.

— Вы, конечно, догадываетесь, зачем сюда вас пригласили, — начал шеф.

— Привели, — поправил Стоун.

Шеф поморщился: он не любил резких определений.

— Допустим, — сказал он. — Назовем это так. Сами бы вы наверное не пришли.

— Не пришел бы, — усмехнулся доктор. — Но я понимаю причину вашего «приглашения».

— Отлично, — обрадовался шеф. — Люблю говорить с умным человеком.

Ли в глубине души испугался. Даже кончики пальцев похолодели от напряжения. Чего добивается шеф? В чем он подозревает доктора? «Кто знает?» — вспомнил

Ли последние слова Стоуна там, в ресторане. Неужели он был прав?

А Стоун на экране не разделял опасений Ли. Он поудобнее устроился в кресле, даже ноги вытянул, как будто отдыхал у себя в кабинете, а не сидел перед лицом самого грозного судьи в государстве.

— Почему вы не включаете сомнифер, док? — вдруг спросил шеф.

— Не хочу. Он вреден для здоровья.

— Чушь! — грубо оборвал шеф, — Действие прибора неоднократно проверяли специалисты-медики.

— И тем не менее, — вежливо заметил Стоун, — частое пользование сомнифером приводит к расстройству гипногенных систем. Вы не интересовались причиной роста психических заболеваний за последние годы?

— Кому, по-вашему, я должен верить: светилам современной медицины или заштатному эскулапу, возомнившему себя спасителем человечества?

— Я бы поверил заштатному эскулапу, — засмеялся Стоун. — Хотя бы потому, что он вас не боится.

— Действие сомнифера проверялось электронной машиной. По-вашему, она тоже боялась? — Шеф с трудом сдерживался: простеганные, как ватное одеяло, щеки его покрылись красными пятнами.

Вместо ответа Стоун протянул ему красную коробочку с выпуклой крышкой.

— Это витаген, — сказал он. — Моментально успокаивает. Поверьте заштатному эскулапу.

Шеф молча встал, обошел свой письменный саркофаг и уселся напротив доктора.

— Вы не ответили на мой вопрос.

— Боялись программисты. Нужный ответ машины всегда можно обусловить заранее.

— Кокетничаете смелостью? Зря.

— Это не смелость. Это уверенность в своей правоте.

— И эта уверенность оказалась настолько сильной, — засмеялся шеф, — что вы даже перестали включать «Спон».

— Включать что? — переспросил доктор.—Я не понимаю вашей терминологии.

— Поясню, — с язвительной вежливостью ответил шеф, — «Спон» — это электронный мозг модели «эс-печетыре». Биополе спящего мозга переключается на «Спон», и тот видит сны вместо человека. Очень удобно для сонников. Улыбаетесь?

— Улыбаюсь. Я называл его «соней».

— Почему же вы так быстро от него отказались?

— Потому что узнал, что частота волн, характерных для так называемых «машинных» снов, ниже частоты альфаритма, свойственного сну человеческому.

— От кого вы узнали?

— У меня много друзей.

— За последнее время вы ни с кем не встречаетесь.

— Есть разные формы общения.

— Аппаратура? Мы ее не нашли, — устало сказал шеф. — По вы с кем-то связаны, у вас есть единомышленники.

— О, Система Всеобщего Контроля! — воскликнул доктор с такой откровенной издевкой, что Ли даже содрогнулся у пульта: так разговаривать с шефом, и о чем — о Системе! Но доктор разговаривал именно так, и о Системе! — Всесильное божество, промывающее наши мозги и днем и ночью, — издевался он, — почему же ты не можешь промыть их ничтожному заштатному эскулапу? И требуется так немного! Только узнать, кто его друзья, сколько их и о чем они думают. Я бы сказал вам, да вы не поймете... — Он отвернулся и замолчал.

— Я жду, — насторожился шеф.

— Один поэт сказал... — задумчиво начал доктор.

— Кто, кто? — перебил шеф.

— Лорка. Федерико Гарсиа. Вы никогда не слышали о нем, невежда? Так услышьте хотя бы его слова.

Доктор поднялся с кресла, почти заполнив собой экран.

— «Я обвиняю всех... — услышал Ли, — кто забыл о другой половине мира... неискупимой и неискупленной, воздвигающей цементные громады мышцами своих сердец... биение которых пробьет стены в час последнего суда...»

— Выключить! — закричал шеф. Рука его нервно шарила по столу.

— «Я плюю вам в лицо, и та половина мира слышит меня!» — Доктор успел закончить строфу.

Но рука шефа уже нащупала тумблер, а может быть.

призыв его был наконец услышан дежурным диспетчером связи, только экран вдруг вспыхнул зеленым светом и погас.

— Передача прекращается по техническим причинам... по техническим причинам, — повторял диспетчер, словно убеждая себя в правдивости официального сообщения.

Ли тупо смотрел на потухший экран. Мыслей не было. Был смутный поток воспоминаний, рвущихся из глубины бездонного колодца памяти. Какая-то фраза знакомо мелькнула в нем. Ли попытался схватить ее, как бабочку за крыло, но она ускользала, оставляя на ладони мягкий след пылицы. И вдруг он поймал ее, такую непонятную тогда на фоне ресторанной гипнотомузыки: «Странное у нас время».

Теперь она стала почти понятной.

Уходящим из ночи,
убивающим тьму,
факелам рассвета —
песня моя!

*Из посмертных стихов
казненного поэта-сонника*

Бигль был явно в хорошем настроении. Он весело насвистывал что-то, искоса наблюдая за Ли, молча сидевшим у пульта. Ему не нравилось состояние Ли: похоже, что мальчишка не выспался. Проболтался, наверно, с девчонкой, а сейчас зевает.

— Включаю информационную запись блока, — сказал Ли.

На экране появилась диспетчерская космического корабля, и знаменитый космонавигатор Нэд Гарроу что-то прокричал в микрофон. Изображение на экране мелко затряслось, и металлический голос произнес:

— Канал номер шестьсот семьдесят три. Первая экспедиция на Марс. Космический корабль «Реджинальд» попал в метеоритный поток. Добавочная информация к шифру АЮ-восемнадцать — сорок два.

— Конец прошлого века, — сказал Бигль. — Гарроу тогда бы не выбрался, если б не русские. Какой дурак это смотрит?

Ли нажал клавишу на пульте. Металлический голос снова заговорил:

— Номер шестьсот семьдесят три. Айвен Лоу, студент Харперс-колледжа.

— Студент... — удовлетворенно протянул Бигль. — Я так и думал. Возьму-ка его на заметку.

Ли неприязненно посмотрел на Бигля и выключил экран. Откинувшись в кресле, закрыл глаза: мучительно хотелось спать.

— Что с тобой, малыш? Заболел? — услышал он встревоженный голос Бигля.

— Просто не выспался, — неохотно процедил Ли.

— Поменьше надо гулять, — наставительно заметил Бигль. — Я в твои годы всегда знал меру.

Ли передернулся.

— Я не гулял. Просто не мог заснуть, потому что не включал сомнифера.

— Вот тебе и раз, — присвистнул Бигль.

Он поднялся и медленно подошел к пульту.

— А что тебе помешало включить его? — Голос Бигля показался Ли плоским и бесцветным, как изображение на черно-белом экране блока.

— Я слушал вчерашний допрос, — сказал Ли. — И я знаком с доктором Стоуном.

— Плохо, — задумчиво произнес Бигль, — совсем плохо.

— Почему?

Вместо ответа Бигль только вздохнул.

— Что с ним сделают? — спросил Ли. Он с трудом сдерживался, чтобы не разрыдаться.

— Что надо, то и сделают, — сурово сказал Бигль и, заметив состояние Ли, прибавил с былой ласковостью: — Иди-ка, малыш, отдохни. А я покараулю твоих подопечных.

Ли встал, растерянно оглядываясь по сторонам. Он не знал, как ему говорить с Биглем и что он должен сделать.

— Иди, иди, — подтолкнул его Бигль.

Оставшись один, он долго смотрел на дверь, словно пытаясь увидеть за ней Ли, медленно бредущего к выходу.

— Да-а, — протянул Бигль, — жаль парня.

Он грузно уселся в кресло юноши, подумал и недругнувшей рукой включил микрофон.

— Старший блок-инспектор Бигль вызывает шефа.

На экране возникло желтое, измятое лицо начальника Главного управления Системы.

— Что случилось, Бигль?

— Довожу до вашего сведения, шеф, о нелояльном поведении младшего блок-инспектора Джексона.

— Из новеньких?

— Да. Недоглядели. Встречался с доктором Стоуном, шеф.

— Параграф? — быстро спросил шеф.

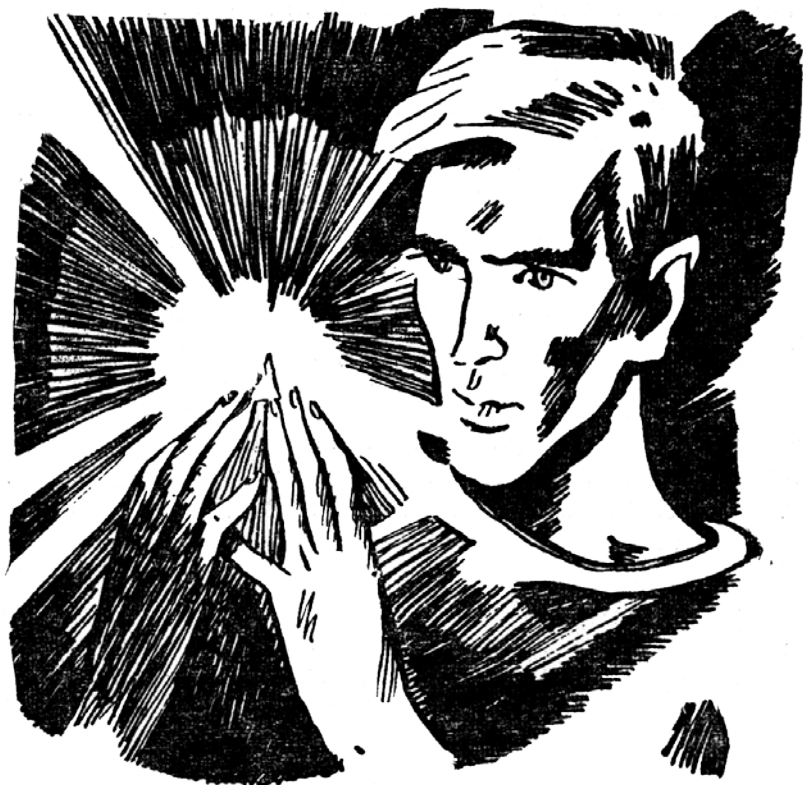
— Тридцать пятый.

— Значит, сомневается, — засмеялся шеф. — Что ж, действуйте согласно тридцать пятому.

Его лицо начало расплываться, бледнеть и наконец совсем исчезло.

Бигль выключил микрофон и подошел к окну. Далеко внизу под ним маленькая фигурка Ли пересекала дорогу. Вот она уже скрылась за поворотом.

— Да-а, — опять протянул Бигль, — жаль парня.



ПРИНЦ ИЗ СЕДЬМОЙ ФОРМАЦИИ

Было около одиннадцати часов утра. Я просматривал у себя дома расчеты ребят из нашего проектно-конструкторского бюро. Вдруг что-то мелькнуло у меня позади. Я заметил это в зеркале для бритья и оглянулся. На тахте у стены возникло нечто призрачное и прозрачное, напоминавшее огромный мыльный пузырь.

Оно мерцало и вытягивалось, приобретая формы сидевшего на тахте человека. Он был мутный снаружи и пустой внутри, как куклы на выставке чехословацкого стекла. Узорный рисунок ковра на стене проступал сквозь него, металлически поблескивая на месте уплотнявшегося лица.

Я разинул рот и застыл.

Стекловидный человек на тахте уплотнялся и темнел, окрашиваясь почему-то в защитный цвет. Лицо и руки обретали оттенки человеческой кожи. Рыжевато блеснули волосы. Только ноги по-прежнему оставались прозрачными.

В этот момент заглянувшая в комнату черная кошка Клякса буквально прошла сквозь них и остановилась, так и не выйдя из заколдованной зоны. Человек на тахте, не двигаясь, с ужасом посмотрел на меня. Именно ужас и мольбу прочитал я в его еще не живом, не человеческом взоре. Но я понял или меня принудили понять.

— Пшла! — взвизгнул я.

Клякса шарахнулась, вспрыгнув на подоконник. Человек вздохнул. Я явственно услышал вздох облегчения и радости, словно вздыхающий только что избежал смертельной опасности. Это был уже не призрак, не стеклянный фантом, а реальный человек, живой с головы до ног, полностью утративший свою диковинную прозрачность. Он выглядел тридцатилетним, моим ровесником, атлетическим красивым парнем с очень правильными чертами лица, какие встречаешь обычно на рекламных рисунках в американских журналах. Только одет он был очень странно: в нелепую, травянистого цвета куртку и штаны, сужающиеся у колен и обтягивающие икры. Вероятно, так одели бы красноармейца в каком-нибудь голливудском боевике из жизни советских комиссаров.

— Если бы ты не прогнал это животное, — сказал он, — могла произойти катастрофа. Распад материи.

Он говорил по-русски чисто и правильно, тщательно выговаривая слова, как знающий язык иностранец. На лбу у него поблескивал такой же странный, как и его костюм, сетчатый металлический обруч. Он то исчезал, то появлялся снова, отражая перебегавшие по нему искорки света.

— Трудно предвидеть подобные случаи даже при абсолютной точности наводки, — продолжал он, как бы разгова-

ривая сам с собой. — Воздушное пространство казалось совершенно свободным.

Я молчал, пытаюсь сообразить, что же, в сущности, произошло. Галлюцинация? Но я был психически здоров, никогда не страдал галлюцинациями, да и в человеке напротив не было ничего иллюзорного. Может быть, сон? Но я не спал и не дремал, и все вокруг не походило на сон. Материализация человека из ничего, из света, из воздуха? Невозможно. Навяждение? Мистика. Чушь!

На секунду мне стало страшно.

— Ты боишься меня? — спросил гость.

Я только пожевал губами: голоса не было.

— Столкновение с непознаваемым, удивление, страх, — задумчиво продолжал он, — все это мешает общению. Я снимаю лишнее.

Он медленно провел рукой в воздухе, и мой страх исчез. Удивление тоже. Я смотрел на него только с пытливым любопытством.

— Кто вы? — наконец вырвалось у меня. — Каким образом вы возникли?

— Почему «вы»? Ведь я один. У нас так не говорят.

— Где это «у вас»? Ты откуда?

— Из седьмой формации. — Он улыбнулся. — Непонятно?

— Непонятно.

— Хочешь проще? Изволь: из будущего. Из будущего этой планеты.

Я молча поискал глазами вокруг него.

— Что ты ищешь?

— Машину времени.

Он засмеялся. Звонко, по-детски, как смеются у нас на земле.

— Нет никакой машины. Все осталось там. Огромный комплекс аппаратуры. Очень сложной. Даже громоздкой, излишне громоздкой, как говорят наши ученые. Но мы только начинаем преодолевать время. Только первые шаги и гигантские трудности. Мне пришлось преодолеть четыреста танов. Думаешь, это легко?

— А что такое тан? — спросил я робко.

— Единица сопротивления времени.

Я все еще плохо понимал его. Необычность случившегося подавляла. Мне хотелось задать тысячу вопросов, но я не мог задать ни одного. Они буквально толпились в сознании, создавая суматоху и давку. Наконец вырвался один, далеко не самый нужный.

— У вас по-русски говорят?

— Нет. Я изучил ваш язык перед опытом.

— В каком веке?

Он улыбнулся моему нетерпению и не без лукавства даже помедлил с ответом. Он знал, чем поразить меня, этот молодой человек из неведомых временных далей.

— По-вашему? В двадцать четвертом.

— А по-вашему? — чуть не закричал я, вспомнив заинтриговавшую меня «седьмую формацию».

— У нас другая система отсчета, — сказал он.

— Формации?

— Да. Мы считаем формации в развитии коммунистического общества. По тому основному, самому главному, что отличает их. Единый язык, новая психика, отмирание государства, переделка планеты...

— А седьмая? — перебил я.

— Время. Мы учимся управлять временем, как одной из форм движения материи.

Я с трудом проглотил слюну, слова застревали в горле. Только мысль тупо долбила мозг: «Неужели все это возможно?» Реальность с трудом постижимого чуда требовала ясности размышлений. А ясности не было. Я машинально скользнул взглядом по комнате: все было на своих местах. Все, как прежде. Только у меня на диване сидело Чудо.

Вот оно встало, потянулось, присело, выбросило и опустило руки, точь-в-точь как я, делающий разминку под радиомызуку; зевнуло совсем по-человечески и подошло к окну. Испуганная Клякса фыркнула и скрылась под столом.

— Смешной зверек, — сказал человек из будущего, — никогда таких не видел. Даже в зоариях.

— Разве у вас нет кошек? — удивился я.

— У нас вообще нет домашних животных.

— И собак?

Он промолчал, глядя на улицу, а его далекий мир вдруг показался мне чуточку обедненным. Ни пушистой Кляксы,

ни разговорчивого попугая Мишки, ни барбоса Тимура у меня в том мире бы не было. Малость скучновато.

— Почему дома напротив стоят рядом, как стена? — вдруг спросил он.

— Улица, — сказал я.

— А за домами?

— Тоже улица.

— У нас дома в лесу... — проговорил он задумчиво. — Есть города, плавающие в океане. Есть летающие... Но улиц нет.

Он все еще смотрел в окно.

— Маленькие — это автомобили, а большие — автобусы? — спросил он, не оборачиваясь. — Я знаю о них. И движение одноярусное, — усмехнулся он.

— А у вас многоярусное?

— Мы отказались от него лет двести тому назад. Передвигаемся в каплях.

Я не понял.

— Их прозвали так из-за капельной формы. Впрочем, она меняется в зависимости от движения, горизонтального или вертикального. Их очень много. Они висят в воздухе в ожидании седоков. Правильно я говорю?

Теперь я улыбнулся снисходительно и тут же представил себе лес, полный цветных воздушных шаров. Красиво? Не знаю. Что-то вроде парка культуры или ярмарки в пригороде.

Он улыбнулся, видимо уловив мою мысль.

— Они прозрачны, почти невидимы, — пояснил он. — Подзываются и управляются мысленным приказанием. Гравитация, — прибавил он, обернувшись. — А у вас еще не освоили воздуха?

— Почему? — обиделся я за свой век. — У нас и самолеты есть и вертолеты.

— Самолеты... — о чем-то вспомнив, повторил он, — знаю. Они прилетают звеньями. По ночам. А как вы затемняетесь?

Я опять ничего не понял.

— Зачем?

— Освещенное окно может быть ориентиром для воздушных бомбардировщиков.

— Ты перепутал время, — засмеялся я. — Война окончилась двадцать лет назад.

Он побледнел, именно побледнел, как чем-то очень напуганный человек.

— Окончилась... — пробормотал он. — Значит, у вас послевоенный период?

— Именно.

Мне показалось, что он даже зашатался от горя. Оно было написано у него на лице, видимо не умевшем скрывать эмоций. Потом я услышал шепот:

— Ошибка в наводке... Я так боялся этого. Какие-нибудь пять-шесть танов — и катастрофа!

— Почему катастрофа? — удивился я. — Ты жив и можешь еще вернуться. Да разве так важны в этих масштабах какие-нибудь двадцать лет?

— Ты не знаешь, кто я. Я ресурректор.

Для меня это прозвучало столь же бессмысленно, как если бы он сказал: ретактор, ремиттер или релектор.

— Я воскрешаю образы прошлого. Звуковые совмещаются со зрительными. Разновидность историографии. — В его голосе звучало почти отчаяние. — Для этого мне и нужна была ваша последняя война.

— Разве последняя? — обрадовался я.

— К сожалению, последняя. Иначе не пришлось бы лезть в такую историческую глубь.

Он рассуждал явно эгоистически. Но мне было жаль его, перебравшего или недобравшего нескольких танов и напрасно проделавшего свой магеллановский пробег по истории.

Напрасно ли?

Мне пришла в голову одна идея.

— Не огорчайся, — сказал я утешительно, — ты увидишь войну. Ту самую. Полностью и сейчас. В трех остановках от нас идет двухсерийная кинохроника «Великая Отечественная война».

Теперь уже он спрашивал робко и уважительно:

— Что значит «в трех остановках»?

— Ну, на автобусе.

— А что такое двухсерийная?

— На три часа удовольствия.

— А кинохроника?

— Тоже воскрешение образов прошлого. И звуковые тоже совмещаются со зрительными.

Мой век брал реванш.

— Только костюмчик некондиционный, — сказал я, критически осматривая его «голливудское» одеяние. — Для маскарада разве.

— Что, что? — не понял он.

— Вот что, — уточнил я, доставая из шкафа свои старые сандалии и джинсы.

— Мы старались в точности воспроизвести вашу военную форму, — пояснил он, но, встретив мой смеющийся взгляд, понял, что «ресуррекция» не удалась.

Надо отдать ему справедливость: он не канителился. Свой нелепый костюм он стянул почти мгновенно, и тот буквально растаял у него между пальцами. Без костюма он выглядел загорелым штангистом-перворазрядником, облаченным в загадочную комбинацию из плавок и майки чересчур выразительных, на мой взгляд, тонов. Ее мы решили оставить: упрятанная до половины в джинсы, она превращалась в импортную вестсайдку вполне европейской расцветки. Обруч на голове, с которым он не захотел расстаться, прикрыли вышитой тибетейкой.

Мой гость из будущего радовался от души, разглядывая себя в зеркале. Я радовался меньше: эмоции нашего века сдержаннее. Парень, однако, легко мог сойти за иностранца, побывавшего в магазине сувениров. Оставалось лишь узнать его имя. Произнесенное с каким-то немыслимым придыханием, гортанно, оно звучало, как Прэнс или Принс. Я искал подходящее по созвучию и сказал:

— Ну, будешь Принцем. А я Олег. Пошли.

Первую трудность удалось преодолеть не без риска: он не умел переходить улицу. У них, оказывается, не бывает несчастных случаев: все движущееся обходит и пропускает пешеходов, а правил уличного движения совсем нет. У нас же его пришлось легонько переводить за руку, как слепого.

К счастью, в автобусе оказалось много свободных мест. Я пропустил его к окну и сел рядом. Он тут же прильнул к стеклу, чуть не выдавив его: они не знали стекол — повсюду стекло заменял уплотненный воздух, не пропускавший пыли и мягко пружинивший, когда вы с ним соприкасались. Не

знали они и денег: мои два пяточка, опущенные в кассу у двери, вызвали у него усмешку. С такой же усмешкой оглядывал он и пассажиров на остановках, и обгонявшие нас автомобили.

— Какова максимальная скорость такой машины на открытой дороге? — вдруг спросил он.

— В час? — переспросил я. — Километров сто двадцать.

Он засмеялся так громко, что впереди оглянулись. Я обиделся.

— А пятьсот лет назад ездили на дровнях и розвальнях, — процедил я сквозь зубы.

Он принял это как факт, не заметив моего раздражения, и дружелюбно продолжил:

— Мы говорим о скорости только в локальных поездках — на каплях. На спидах ее практически не ощущаешь — так она велика.

Я не успел спросить его о «спидах» — меня перебил парень, проходивший к выходу. Должно быть, он слышал наш разговор и тихо спросил:

— Вы о фантастике? Говорят, журнал такой будет. Не знаете когда?

— Не о фантастике, — сказал я так же тихо, — мы о действительности. Вот этот товарищ у окна прибыл к нам из будущего. Из двадцать четвертого века.

Парень ошалело посмотрел на меня, потом на Принца и рассердился:

— Я вас по правде спрашиваю, а вы разыгрываете. Дурачков ищешь.

— Почему он не поверил? — спросил Принц.

Я вздохнул.

— Боюсь, что никто не поверит.

Второй опыт мы проделали в фойе кинотеатра. Принц не привлекал особого внимания. Подумаешь, спортсмен в тюбетейке! Ну, красивый парень, и все. Только необыкновенная рубашка его вызвала зависть у ребят помоложе.

Здесь же в фойе я нашел знакомых девушек с физфака — синеглазую сибирячку Галю и ее неизменного адъютанта Риту. У Гали откровенно припухли веки — плакала.

— Какими судьбами?! — демонстративно обрадовался я.

— Нечего радоваться, — отрезала Рита. — Галка статистику завалила. Пузаков сегодня не в духе.

— На чем засыпалась?

— Фотоны, — всхлипнула Галка, — распределение Бозе — Эйнштейна.

— Что значит «засыпалась»? — спросил Принц.

Все шло как по рельсам. Он начинал не сговариваясь, и я без улыбки наставительно пояснил:

— Не сдала экзамена, провалилась. Очень трудная тема.

— Пожалуй, — неожиданно согласился Принц, — для вашего уровня, конечно. Одни выводы Мак-Лоя о гравитонах — это третья степень запоминаемости.

Только тут его заметили девушки. Не экстравагантная рубашка с тубетейкой привлекли их внимание — серьезность тона. А смысла никто не понял.

— Какой век? — спросил я невинно.

— Лет триста назад, — подумал вслух Принц, — может быть, немного позже. Мак-Лой работал с Гримальди. Двадцать первый, должно быть.

Я лукаво взглянул на девушек.

— Вы больны? — холодно осведомилась Рита. — Бредите?

— Что значит «бредить»?.. У меня бедный словарь.

— Вы иностранец?

— Ты ошиблась, Риточка, — бесстрастно вмешался я, — это человек из двадцать четвертого века. Гость из грядущего.

В глазах Риты я не прочел ничего, кроме злости. В словах тоже.

— Я всегда думала, что ты трепло, Олег. Только мы не та аудитория. Охмуряйте первокурсниц.

— Но ведь это правда, — сказал Принц. — Почему вы не верите? Я могу рассказать многое о нашем мире.

Он произнес это так душевно и просто, что Галя, до сих пор почти не слушавшая, подарила ему долгий и внимательный взгляд. Но Рита похолодела еще больше.

— Я не интересуюсь детскими сказками. И фантастики не люблю. Играйте с мальчишками.

В этот момент открыли двери в зрительный зал. Рита, не оглядываясь, увлекла Галю вперед. Принц кинулся было за ними, но я задержал его:

— Сядем отдельно. Они будут нам мешать, а тебе надо сосредоточиться. Будет много впечатлений.

Принц с ироническим любопытством разглядывал зал, кресла, экран, но с первых же кадров фильма замер, чуть сдвинув свой обруч на лбу.

— Мешает? — посочувствовал я.

— Нет, я включил запоминающее устройство. Оно воспроизведет потом все увиденное.

Мы почти не разговаривали. Он смотрел молча, но так взволнованно и тревожно, словно происходившее на экране было частью его дела и его жизни. Он, не стесняясь, вытирал слезы, вскрикивал, радовался и хмурился. Это был идеальный зритель, о каком только могли мечтать наши кинематографисты. Зверства гитлеровских убийц вызвали у него приступ удушья; я поддержал его, испугавшись, что он упадет в обморок, но он слабо улыбнулся и прошептал:

— Не беспокойся. Сейчас пройдет.

Я то и дело отрывался от экрана, стараясь подстеречь любую его реакцию. Лицо его искажалось при виде выжженных деревень и разрушенных городов и словно светилось изнутри, когда на экране возникали счастливые толпы людей, встречающих советских танкистов. Он три раза коснулся лба: когда говорил Гитлер, сдавался Паулюс и подписывался акт о безоговорочной капитуляции Германии. Три раза он что-то повернул или поправил в обруче.

— Зачем? — поинтересовался я.

— Вторичное воспроизведение. Я хочу показать это во всех ракурсах.

Когда кончился фильм, Принц долго сидел, закрыв глаза, и я не утерпел, чтобы не спросить:

— Ну как, понравилось?

Он вздрогнул.

— Не то слово. Я не каннибал. Но я удовлетворен: я видел последнюю войну человечества. Я не увидел бы ее так, даже если бы они не ошиблись в наводке. Что можно увидеть за несколько часов? Какой-нибудь эпизод, не больше.

Я вспомнил его нелепый костюм и усмехнулся про себя. Он мог ничего не увидеть, кроме комендантской гауптвахты, куда бы отвел его первый встречный патруль.

— Теперь я покажу все это у нас, — мечтательно прибавил он.

— Восстановишь фильм?

— Не понимаю.

— Покажешь все это так, как видел на экране.

— Неизмеримо лучше, — улыбнулся он. — Я покажу это так, как оно было в действительности.

Он опять поднялся надо мной, как джинн из волшебной сказки. Я ощутил пафос дистанции в четыреста лет. Пропала всякая охота смеяться и шутить.

Выходившая толпа разделила нас. Я потерял его и, уже беспокоясь, сновал между выходящими, то и дело оглядываясь. Принца не было.

— Разыскиваешь? — Кто-то тронул меня за рукав. — Сбежала твоя тюбетейка.

Я оглянулся и чуть не сшиб Риту.

— Ты его видела?

— Он с Галкой ушел.

— Как — ушел?

— Как уходят? Рядышком. Я и моргнуть не успела, как они убежали.

Я обомлел.

— Да ты понимаешь, что произошло?! — почти закричал я. — Он же пропадет! Он же улицу переходить не умеет. Его надо найти, пока не случилось чего-нибудь.

— Псих! — фыркнула Рита. — Подобрал младенца. У него плечики, кстати, пошире твоих.

Я даже сплюнул в сердцах. Какой смысл было что-либо объяснять этой бескрылой девице?

— Куда они могли поехать?

— А я знаю? Куда-нибудь на природу, соловьев слушать. В Нескучный или на выставку.

Но я уже мчался к автобусу. Два битых часа я колесил по Москве от парка к парку, расспрашивал десятки гуляющих парочек, но никто не мог сообщить мне что-либо утешительное о радужной вестсайдке на чугунных плечах. Я звонил поочередно во все отделения милиции, справлялся у дежурного по городу — и всюду безрезультатно. Принц исчез, буквально растворился в сиреновой московской дымке, похищенный сибирячкой с заплаканными глазами, а может быть, и пропал в непостижимых глубинах времени.

...Оказалось, что не пропал.

Я стоял на знакомом углу и раздумывал, не пойти ли мне пообедать. В этот момент я и услышал знакомый шепот:

— Подожди меня. Пообедаем вместе.

Я даже оглянулся, убежденный, впрочем, что никого не увижу. Так и оказалось. Шепот звучал где-то во мне, а я мысленно отвечал:

— Где ты пропадал? Я по всей Москве за тобой гонялся.

— Гуляли.

— Она поверила?

— Не знаю.

— Как ты нашел меня?

— По настройке. Биолокация.

— А где находишься?

— У Курского вокзала. Только я не знаю, что такое вокзал.

— Станция, откуда идут поезда.

— Поезда?

— Ну, спиды. Что-то вроде. В разные города, в разные страны. Понял?

— Почти.

— Тогда спроси, где останавливаются троллейбусы «Б» или «10». Я буду тебя ждать на площади Маяковского. Найдешь?

— Конечно, по настройке найду. Жди.

Он вышел из троллейбуса, почти не отличимый от других пассажиров, даже рубашка его словно потускнела и слилась с пейзажем.

— Хорошая девочка, — сказал он без предисловий. — Совсем как наши. Очень похожа.

Он произнес это печально и тихо, словно вспомнил уже что-то утраченное.

— О чем ты говорил с ней?

— О разном. О городах над морем, о каплях в полете, об утренних зорях на Венере.

— Ты был на Венере?

— Где я только не был!

— Она смеялась, конечно?

— Нет. Она называла меня сказочником, даже поэтом.

— Значит, все-таки не поверила?

Он не ответил.

В столовой пахло щами и шашлыком. Мест не было. Над столами клубился дым.

— Странный запах, — сказал Принц, втягивая носом воздух.

— Придется преодолеть, — посочувствовал я. — Впереди еще более трудное испытание: зеленые щи и биточки показавки. Недолгое счастье путешественника во времени.

Мы пробирались между столиков, как на базаре. Никто не обращал на нас никакого внимания. Принц сиял. Я знал, что он уже включил запоминающее устройство, и знал почему. Столовая его покорила.

За столиком Красницкого, моего коллеги из проектного бюро, освободилось два места. Мы приземлились. Красницкий не проявил при этом ни удивления, ни радости. Он молча доедал остатки котлет.

— Что это? — спросил Принц, рассматривая его тарелку.

— Почки миньер, соус пикан, — сказал Красницкий. — Фирменное блюдо.

— Я ни одного слова не понял, — признался Принц.

— А что, — осведомился Красницкий, — в Средней Азии это называют иначе?

— Он не из Средней Азии, — сказал я. — Он из двадцать четвертого века.

Красницкий даже не пошевелинулся.

— Визит к питекантропам! — хмыкнул он. — Стоило ли ехать в такую даль, чтобы полакомиться биточками?

— А что такое биточки? — спросил Принц.

— Натуральный эквивалент олимпийской амброзии. У вас что-нибудь знают об Олимпе?

— Нет, — сказал Принц.

— Что же вы знаете? — Красницкий спросил с иронией, но Принц сделал вид, что ее не заметил.

— Многое, — улыбнулся он. — Например, как приготовить напиток, который заменит мне ваш обед.

Он протянул над бокалом Пальцы, чуть тронул что-то похожее на ручные часы, и бокал наполнился мутной бесцветной жидкостью. На наших глазах она загустела и вспенилась.

— Химия или фокус? — спросил Красницкий.

— Пожалуй, химия, — подумав, ответил Принц. — Молекулы агалии и воздух-катализатор.

— Занятно, — сказал Красницкий и встал. — Может быть, вы умеете и недуги исцелять? У меня, например, чертовски болит голова.

— Прими пирамидон, — сказал я.

— Не надо, — опять улыбнулся Принц, — у него уже не болит голова.

Красницкий, шагнувший к выходу, остановился.

— Кажется, и вправду не болит. — Он поморгал глазами. — Откуда сие чудо, Олег?

— Ты знаешь.

— Я знаю только, что у Кио появился соперник.

Принц грустно допивал свою розовую пену.

— И этот не поверил, — вздохнул он.

Я молча пожал плечами.

— Только теперь я понял, — продолжал он, — как легкомысленна была эта затея... И как мало еще знают о прошлом у нас, в седьмой формации! И как многим я обязан тебе за этот чудесный день! У меня щемит сердце, когда я вспоминаю о Гале. Мне было нелегко расстаться с ней, но еще труднее с тобой. Я надеюсь, что мне позволят вернуться к вам, поэтому вот, возьми... — Он протянул мне что-то сверкнувшее на свету.

Это был крохотный синий кристалл странной формы, чистый и теплый. Может быть, его согрело тепло Принца, а может быть, это была его собственная, скрытая в нем теплота. От этого он казался почти мягким, живым.

— Разве уже пора расставаться. Принц?

— Пора. Я ведь не хозяин своего времени. Меня зовут... Отодвинься, прибавил он и странно напрягся, словно уже слышал и ощущал что-то неслышное и неосязаемое для меня.

Я отодвинулся. На миг мне показалось, что его окутал синеватый туман. Лицо потускнело и стало бесцветным, словно туман растворил и смыл все краски с кожи, бровей и губ. Только глаза еще светились, и я услышал уже совсем далекий шепот:

— Жди.

Он стал снова похож на стеклянную куклу и с каждой секундой становился прозрачнее. Сквозь него уже ясно виднелись герань на подоконнике и коричневая обивка стула. Столики кругом были пусты, и я не знаю, кто видел все это, но кто-то определенно видел.

— Мамочки! — взвизгнула подошедшая сзади официантка. — Что это с ним?

У нее дрожали губы.

— Трюк, — сказал я сквозь зубы. — Элементарный эстрадный фокус, — и прошел мимо растаявшего в воздухе Принца, от которого не осталось даже тубетейки.

Мой месячный календарь подходит к концу. Чудес больше нет. О встрече с Принцем я никому не рассказываю — опыт показал, что так лучше.

А синий кристалл лежит у меня в ящике письменного стола в дерматиновой коробочке от часов. Он по-прежнему незамутненно чист и сохраняет ту же знакомую теплоту. Я показывал его многим специалистам — кристаллографам, оптикам, химикам, но никто не смог определить его вещество и происхождение. Источник внутренней его теплоты также оставался загадкой. Мне предлагали лабораторные исследования его физических свойств и химического состава, но я не рискнул. Кристалл был не мой, а его ориентир.

Иногда я вынимаю его и долго держу в руке, ощущая привычную теплоту, и порой мне даже кажется, что я вижу самого Принца.

Но я знаю, что это только игра воображения.



ГАММА ВРЕМЕНИ

— Что такое гамма, маэстро?

— Это лесенка, по которой взбирается звук-хамелеон, на каждой ступени меняя свою окраску.

— Разве только звук?

ДО

Мы возвращались с вечернего заседания Совета Безопасности вместе с моим московским коллегой Ордынским, которого, должно быть, из-за его фамилии, как и меня, все в

пресс-центре ООН считали поляком: Ордынский — Глинский не столь уж большая разница для американского уха. По дороге домой я предложил ему провести где-нибудь оставшиеся до ночи часы, но он был занят, и мне пришлось удовлетвориться ужином в одиночестве. Я остановил такси у третьесортного бара «Олимпия» и вышел. До моей гостиницы было всего несколько кварталов, и в любом случае отсюда я мог добраться пешком.

В баре меня уже знали, и обычно неторопливый бармен Энтони, ни о чем не спрашивая, молниеносно подал мне пиво и горячие сосиски с какой-то острой приправой. Вокруг было пусто или почти пусто, только в углу за портьерой ужинали две незнакомые девушки да у самой стойки лениво потягивал виски сухощавый старик в коротком дождевике. Он мельком взглянул на меня, о чем-то спросил у Энтони и снова оглянулся с нескрываемым любопытством. А когда я покончил с сосисками, он, не спрашивая разрешения, подсел к моему столику. Я поморщился.

— Непринужденно и откровенно, — засмеялся он. — Не любите случайных знакомств?

— Честно говоря, не очень.

Он и тут не ушел, а перенес ко мне свое виски.

— Довольно странно для журналиста, — сказал он. — Любое знакомство может оказаться источником информации.

— Предпочитаю для информации другие источники.

— Знаю от Энтони. Толчетесь в кулуарах ООН и воображаете, что это журналистика?

Я молча пожал плечами: не спорить же с чудачком, а может быть, с чужаком.

— Ведь вы поляк, — заговорил он по-польски, с той элегантно небрежной манерой, присущей лишь варшавянину. — К сожалению, не могу оценить ваших корреспонденции: не знаю нынешних польских газет. «Глос порáнны» помню. «Курьер цодзéнны» тоже. А с сорок четвертого вообще ничего не читаю по-польски.

— В сорок четвертом мне было четыре года, — сказал я.

— А мне сорок. Чтобы не было недоразумений, определюсь политически. Он поклонился сухо, по-военному. — Бывший майор Армии крайовой Лещицкий Казимир-Анджей. Здесь любят два имени, а тогда в Польше мне бы-

ло достаточно и прозвища. Какого? Неважно. Важно было только долбить: вольность, рывность и неподгледность. И мы долбили, пока не послали все это к чертям собачьим. И я послал, когда меня в сорок четвертом англичане вывезли в Лондон и тут же... продали в Штаты.

Я не понял.

— Как — продали?

— Ну, скажем мягче: переуступили. Подбросили кое-что мне и моему шефу, доктору Холдингу, погрузили в подводную лодку и перевезли через океан. Теперь могу представиться уже как бывший сотрудник Эйнштейна, бывший профессор Принстонского университета и бывший автор отвергнутой наукой теории дискретного времени. Печальный итог множества множеств.

— А сейчас? — спросил я осторожно. — Что же вы делаете сейчас?

— Пью.

Он пригладил свои седые, подстриженные ежиком волосы над высоким лбом и носом с горбинкой. Не то Шерлок Холмс, постаревший лет на двадцать, не то Дон-Кихот, сбивший усы и бородку.

— Не думайте: не опустился и не спился. Просто реакция на десятилетнюю изоляцию. Нигде не бывал, никого не видал, ничего не читал. Только работал до тридцать седьмого пота над одной рискованной научной проблемой. Вот так.

— Неудача? — посочувствовал я.

— Бывают удачи обиднее неудач. От обиды и рассеиваюсь. Тянет, как Горького, на дно большого города. А на дне — к соотечественникам.

— Не так уж их здесь много, — сказал я.

Он скривился, даже щека дернулась.

— А что вы видите из коридоров ООН? Или из окна гостиницы? Сядьте на автобус и поезжайте куда глаза глядят. А потом сверните на какую-нибудь вонючую улицу. Поищите не драг-соду, а кавиарню с домашним тестом. Кого только не встретите — от бывших андерсовцев до вчерашних бандеровцев.

Я опять поморщился: разговор принимал не интересное меня направление. Но Лешицкий этого не заметил,

на него или действовал алкоголь, или просто желание выговориться перед благоприобретенным слушателем.

— Они многое умеют, — продолжал он, — плакать о прошлом и проклинать настоящее, метать банк до утра и стрелять не хуже итальянцев из Коза ностра. Одного только не знают: как нажить капитал или вернуться к пенатам за Вислу. Их не волнует встреча Гомулки с Яношем Кадаром, но о письмах моего однофамильца Лешицкого проговорят всю ночь или убьют вас только за то, что вы знаете, где эти письма спрятаны.

— Что за письма? — поинтересовался я.

— Не знаю. Лешицкий был агентом каких-то подпольных боссов. Говорят, что его письма могут отправить одних на родину, а других — на электрический стул. Кажется, в городе нет ни одного поляка, который бы не мечтал найти эти письма.

— Один есть, — засмеялся я.

— Вас как зовут? — вдруг спросил он.

— Вацлав.

— Значит, Вацек. Мне можно, я тебе в отцы гожусь. Так вот, Вацек, ты телок, поросенок, кутенок, чиж. Ты даже не жил, ты прорастал. Ты не тонул в варшавских катакомбах и не отсиживался в лесах и болотах после войны. Ты сосал молочко и топал в школу. Потом в университет. Потом кто-то научил тебя писать заметки в газету, а кто-то устроил заманчивую командировку в Америку.

— Не так уж мало, — заметил я.

— Ничтожно мало. Ты даже в этом страшном городе рассчитываешь, как в коконе, прожить. Думаешь, что ничего с тобой не случится, если будешь возвращаться домой до двенадцати и не заводить случайных знакомств. Дай руку.

Он согнул мою руку и пощупал бицепсы.

— Кое-что есть. Спортом занимался?

— Занимался.

— Чем именно?

— Боксом немножко. Потом бросил.

— Почему?

— Бесперспективно, — сказал я равнодушно. — Чемпионом не станешь, а в жизни не понадобится.

— Как знать? А вдруг понадобится?..

— А вы не беспокойтесь о моем будущем, — оборвал я его и тут же пожалел о своей резкости. Глупо откровенничать с посторонним человеком, еще глупее раздражаться.

Впрочем, он, казалось, совсем не обиделся.

— Почему? — спросил он. — Почему бы мне и не побеспокоиться?

— Хотя бы потому, что не всякое будущее меня устроит.

— Ты выберешь сам. Я только подскажу.

Это было уже совсем невежливо, но я не выдержал: рассмеялся. Он опять не обиделся.

— Как подскажу? А вот так... — Он подбросил на ладони что-то вроде портсигара со странным сиреневым отливом металла и какими-то кнопками на боку.

— Спасибо, — сказал я, — но я только что курил.

— Это не портсигар, — назидательно поправил Лешицкий, тут же спрятав его в карман, словно боялся, что я захочу посмотреть поближе. — Если уж сравнивать его с чем-нибудь, то, пожалуй, с часами.

— Я что-то не видел циферблата на этих часах, — связывал я.

— Они не измеряют время, они его создают.

Его странная торжественность не переубедила меня. Все ясно: гений-одиночка, изобретатель перпетуум-мобиле, ученый-маньяк из фантастических романов Тейна. Встречался я и с такими у себя в варшавской редакции. Но Лешицкий даже не обратил внимания на мою невольную скептическую улыбку. Глядя куда-то сквозь меня, он негромко продолжал, словно размышляя вслух:

— А что мы знаем о времени? Одни считают его четвертым измерением, другие — материальной субстанцией. Смешно! Эйнштейновский парадокс и звонок будильника по утрам несовместимы. И долго еще будут несовместимы, пока время не откроет нам своих тайн: произвольно оно или упорядочено, непрерывно или скачкообразно, конечно или бесконечно. И есть ли у него начало или наше прошлое так же безгранично, как и будущее? И есть ли кванты времени, как уже есть кванты света? Здесь мы и разошлись с великим Эйнштейном, здесь споткнулся даже смелейший из смелых — Гордон: «Это слишком безумно, Лешицкий, слишком безумно для того, чтобы быть правильным».

— А не кажется ли вам, пан Казимир... — попробовал было я остановить этот малопонятный мне монолог.

Но Лещицкий тут же перебил меня, вздрогнув, как внезапно и грубо разбуженный:

— Прости, Вацек. Я забыл о тебе. Ты изучал когда-нибудь математику?

Я пролепетал что-то о логарифмах.

— Я так и думал. Ну что ж, попробую объяснить в этих пределах. Мы слишком упрощенно представляем себе физическую сущность пространства времени. Оно более многообразно, чем нам кажется. Если цепь событий во времени не только в мире, но и в жизни каждого индивидуума изобразить некоей условной линией в четырехмерном пространстве, то в каждой ее точке будут ветвиться и события, и время, изменяясь и варьируясь по бесконечно разнообразным путям, и в каждой точке этих ветвей будут ветвиться иначе, и так далее без конца. Это как дерево, Вацек: кто знает, в какую ветку придет капля сока, поднимающаяся из земли?

— Значит, жертва может уйти от убийцы, а полководец от поражения, если вовремя свернуть по другой ветке времени? Вы шутите, пан Лещицкий.

Я все еще не мог подобрать нужный тон для этого разговора. Но Лещицкий не шутил.

— Бесспорно, — подтвердил он. — Надо только найти точку поворота.

— А кто ж это может?

— Немножко я. Интересуешься, почему я?

— Нет. Почему немножко?

— Перестройка времени даже в масштабе года сложный процесс. Нужны большие мощности. Миллиарды киловатт. А я работал как алхимик, как тот ученый псих-одиночка, о котором ты, вероятно, подумал. Вот и создал пока только селектор. Название, конечно, приблизительное. Но у прибора избирательная направленность: он выбирает вектор, тот поворот времени, где уже другая система отсчета. Мощность его не более часа, иногда даже меньше, в зависимости от напряженности твоего времени. На эту напряженность рассчитана и настройка: селектор может выбрать из всех вариантов твоего ближайшего будущего самые напряженные четверть часа. Или полчаса, даже час...

— А дальше?

— Ты возвращаешься к исходной точке. На большее мощность прибора не рассчитана. Конечно, при наличии средств и возможностей, какими обладает, скажем, ядерная физика, я мог бы перестроить время в масштабе столетий. Но кто даст мне эти средства? Пентагон, пожалуй, даст. Гитлер отдал бы половину Европы за эту возможность в сорок третьем году. А когда это поймут Рокфеллеры, я стану богом. Но тут я честно говорю: «Нет!» — и закрываю лавочку. Человечество еще не выросло, чтобы получать такие подарки.

— Есть же социалистические страны, — сказал я.

— Зачем же им перестраивать будущее? Они сами строят его, исходя из разумных предпосылок настоящего.

— Ну, а интересы науки? — Я старался как-то утешить его.

— Нынче они сродни интересам коммерции. Представь себе рекламочку: «Параллельное время! Все варианты будущего! Возвращение гарантировано». Нет уж, моделируйте сами. Не для этого я десять лет просидел в научном подполье.

Я молчал. Энтони за стойкой листал журнал. Девушки, ужинавшие за портьерой, давно ушли. Какой-то пьяница, заглянувший с улицы, заиграл на губной гармошке — не песенку, не мелодию даже, просто гамму. Он повторял ее опять и опять, пока Энтони не закричал, что здесь не «Карнеги-холл», а драг-сода. Гамма умолкла.

— Как-то великий Стоковский сравнил гамму с лесенкой, по которой взбирается звук-хамелеон, — сказал Лешицкий. — Пожалуй, я могу смоделировать ближайшие полчаса по шкале гаммы. Идет?

— Лучше не надо, — попросил я. — Да и что может случиться в ближайшие полчаса?

Он не ответил. Мы вышли молча: я — с тайным намерением отделаться от него поскорее, он — с непонятной суровостью, сомкнувшей его тонкие, почти бесцветные губы. Мистификатор или маньяк? Скорее последнее. Тихое помешательство, вероятно.

Дождь настиг нас минут через десять, причем с такой свирепостью, что мы едва успели добежать до навеса над

каменной лестницей, спускавшейся в полуподвальную овощную лавку.

Лешицкий почему-то держал в руке свой псевдопортсигар в сиреновой оболочке, потом, словно спохватившись, снова убрал его. Мне показалось, что в нем что-то шелкнуло, а в пучке света от уличного фонаря косые струи дождя вдруг странно удвоились.

РЕ

Я взглянул на ручные часы — без пяти десять — и тотчас же по привычке приложил их к уху: идут.

— И дождь идет, — глухо проговорил Лешицкий, — а такси нет.

— Что-то есть, — сказал я, вглядываясь в дождливую мглу.

Два снопа света пронзили ее из-за угла. Фары принадлежали автомобилю ярко-желтого цвета.

— Эй! — крикнул я, высываясь из-под навеса. — Сюда!

— Это не такси, — сказал Лешицкий.

Но автомобиль притормозил и медленно двинулся вдоль тротуара. Он не остановился, только чуть опустилось дверное стекло, и в образовавшейся щели на свету блеснуло черное вороненое дуло.

— Ложись! — шепнул Лешицкий и рванул меня вниз.

Но поздно. Две автоматные очереди оказались быстрее. Меня что-то сильно ударило в грудь и в плечо, опрокинув на камень. Лешицкий, странно перегнувшись, медленно оседал, словно сопротивлялись негибавшие суставы. Последнее, что я увидел, было красное пенящееся пятно у него на лице вместо рта.

Надо мной застучали по камню чьи-то подкованные железом каблуки.

— Один еще жив, — сказал кто-то.

— Все равно сдохнет.

Я услышал звонкий плевков о камень.

— А ведь это не те.

— Ты думаешь?

— Вижу.

Сапог пнул меня ногой в голову. Боли я не почувствовал, только оборвалось что-то в мозгу.

И снова чей-то голос:

— Опять штучки Эльжбеты.

— Темнит девчонка.

— Давно темнит.

— С нее бы и начать.

— Поди скажи это Копецкому.

Больше я ничего не слышал. Все погасло — и голоса, и свет.

МИ

Я открыл глаза и взглянул на часы: без пяти десять. Мы по-прежнему стояли на лестнице под навесом.

— А дождь идет, — сказал Лещицкий, — и такси нет.

— Перейдем на угол, — предложил я, — там тоже навес.

— Зачем?

— Скорее такси найдем. Там же поворот.

— Иди. Я здесь останусь, — отказался Лещицкий.

Я перебежал на противоположный угол улицы. Волосы и плащ сразу намокли. К тому же навес здесь был короче, и сухая полоска асфальта под ним еще меньше: косые струи дождя били уже по ногам. Я прижался спиной к двери какого-то магазина или квартиры и вдруг почувствовал, что она подается. Еще нажим — и я очутился за дверью в полной темноте. Протянул руку, — она уперлась во что-то теплое и мягкое. Я вскрикнул.

— Тише! И осторожнее: вы мне чуть щеку не проткнули, — произнес кто-то шепотом, и невидимая рука подтолкнула меня вперед. — Дверь перед вами. Увидите свет, коридор. В конце комната. Он пока один. Как войдете...

— Зачем? — перебил я.

— Не бойтесь: он слепой, хотя стреляет метко, учтите. — Шепоток принадлежал женщине, лицо которой находилось где-то, рядом с моим. Сыграйте с ним в шахматы, он это любит. И подождите меня: я скоро вернусь.

Дверь на улице приоткрылась и снова захлопнулась, два раза щелкнув. Я потянул ее, она не поддавалась, а щеколды я не нащупал. У меня с собой был карманный фонарик — я

пользовался им в темных коридорах гостиницы: ее владелица экономила на электролампочках. Фонарик осветил темный тамбур и две двери — на улицу и внутрь помещения. Уличную, видимо, заперли на ключ, другая же распахнулась легко; я увидел коридор и свет в конце его, падавший из открытой комнаты.

Стараясь не шуметь, я дошел до нее и остановился у входа. Человек в черной бархатной курточке, с длинными волосами, небрежно разбросанными, как у битлсов, тщательно вырезывал в раскрытой книге прямоугольное углубление. Его можно было принять за юношу, если б не тронутая седой шевелюра и лучики морщинок у глаз. Сидел он против мощной электролампы, должно быть, в пятьсот или в тысячу ватт, и сидел так близко к ней, как не мог бы сидеть ни один человек с нормальным зрением. Но он был слеп.

— Я открыл идеальный тайник, Эльжбета, — сказал он по-польски, не отрываясь от работы. — Все письма укладываются. Сейчас увидишь.

Он взял пачку писем в продолговатых конвертах и вложил в искусственное углубление в книге. Потом смазал клеем соседние, не вырезанные страницы и закрыл письма.

— Теперь встряхиваем. — Он потрянул книгой, держа ее за переплетные крышки. — Ничто не выпадает, смотри. Никакой Пуаро не найдет.

Я молчал и не двигался, не зная, что делать.

— Почему молчишь? Эльжбета? — насторожился он и крикнул уже по-английски: — Кто здесь? Стоять на месте!

Он швырнул книжку на стол и схватил, видимо, давно лежавший там пистолет, удлиненный глушителем. По тому, как он держал его и как точно направил в мою сторону, видно было, что слепота нисколько не мешает ему в умении обращаться с оружием.

— Малейшее движение — и я стреляю. Кто вы? — спрашивая, он стоял вполоборота ко мне; не смотрел, а слушал, как все слепые.

Не отвечая, я тихо переставил ногу назад. Тотчас же щелкнул, именно щелкнул, а не прогремел выстрел. Пуля врезалась в штукатурку где-то у моего уха.

— С ума сошел, — сказал я по-польски. — За что?

— Поляк? Я так и думал, — ничуть не удивился он и не опустил пистолета. — Подойдите к столу и сядьте напротив. И не пытайтесь достать оружие: я услышу. Ну?!

Проклиная себя за эту идиотскую авантюру, я подошел к столу и сел, развязно вытянув ноги. Дуло пистолета следовало за мной по той же орбите. Теперь оно смотрело мне в грудь; я бы мог схватить его, если бы не имел дело с сумасшедшим — так я мысленно окрестил своего визави.

— От Копецкого? — спросил он резко.

— Не знаю такого, — сказал я.

— Тогда откуда?

— Из Польши.

— Давно?

— С декабря прошлого года.

Он свистнул.

— Не врете?

— Я бы мог показать вам документ, только ведь вы... — Я деликатно замаялся.

— Значит, коммунист? — перебил он.

— Значит, — рассердился я.

Меня уже начинал раздражать этот допрос.

— Почему вы здесь?

Я рассказал.

— Почему-то я вам верю, — задумался он. — Но... вы видели тайник...

Я мельком взглянул на книжку с барельефом Мицкевича на обложке.

— И письма, — с угрозой прибавил он.

— Плевал я на ваши письма! — совсем уже разозлился я.

— Тогда подождем, когда за ними придут. Они обязательно придут. Должны.

— Кто это «они»? — спросил я.

— Тсс... — прошептал он и прислушался, как-то странно вытянув голову, совсем как Человек-Ухо из сказки Гримм.

Я ничего не слышал: тишина, смешанная с шумом дождя за окном, окружала меня.

— Кто-нибудь вошел? — спросил я.

— Тсс... — опять остановил он меня. — Они еще не вошли. Они без машины. Сейчас открывают дверь своим ключом. Прошли тамбур. Идут.

Все это он проговорил, почти беззвучно шевеля губами. Я услышал только слабый стук подкованных каблучков по коридору.

— Вы останетесь здесь, а я пройду за портьеру. Ни в коем случае не говорите им, где я. И не бойтесь: они не начнут со стрельбы — им нужны письма. Скажите, что они в шкатулке на диване. Хорошо?

Я кивнул. Он легко и свободно, как зрячий, прошел за портьеру, наполовину перегораживавшую комнату в ее дальнем углу. Я остался сидеть в той же позе, ожидая самого худшего.

Вошли двое в мокрых дождевиках с автоматами. Смятая фетровая шляпа у одного была надвинута глубоко на глаза, другой был черен, небрит, мокрые вихры его закручивались колечками. Он отряхивался, как вылезший из воды пес.

— Где Жига? — спросили оба одновременно.

Я понял теперь, почему слепой не удивился тому, что я поляк. Эти тоже были поляками.

— Я жду его, — сказал я первое, что пришло в голову.

Небритый оглянулся, скользнул глазами по комнате и вдруг дал короткую очередь из автомата по складкам портьеры. Я ожидал вскрика, стога, падения тела, но ничего не последовало.

Тогда оба повернулись ко мне. «Конец», — подумал я и еле выговорил:

— Вы за письмами? Они в шкатулке.

— Где?

Я показал на небольшой ящичек на диване.

— Подойди и открой, — приказал небритый.

Я подошел и дрожащими руками, уже не владея ими, открыл шкатулку. На дне ее белела стопочка продолговатых конвертов. Небритый оттолкнул меня автоматом и заглянул внутрь.

— Здесь, — сказал он и ухмыльнулся.

Больше он ничего не успел. Что-то несколько раз знакомо щелкнуло из-за портьеры, и почти одновременно грохнулись на пол и молчун в фетровой шляпе, и мой небритый собеседник. Я не помню, что стукнуло раньше, его затылок или выпавший из рук автомат.

— Вот и все, — усмехнулся слепой, выходя из-за портьеры.

Он тронул ногой одного, потом другого и отдернул ее, как купальщик, попробовавший, холодна ли вода.

— А вы хорошо поработали и заслуживаете награды, — продолжал он, протягивая мне что-то похожее на большую медную монету. — Возьмите. Эта медалька при случае может вам пригодиться. Жил для отчизны, умер для славы, — засмеялся он и умолк, опять к чему-то прислушиваясь.

И опять я ничего не услышал.

— Приехали, — сказал он. — Это за мной. Вы мне не помогайте и не провожайте: я хожу здесь, как в темноте кошка. Выходите минуты через две после меня. Дверь я оставляю открытой. И не задерживайтесь. Встреча с полицией в таких случаях далеко не радость. Тем более, что вы иностранец и коммунист.

Он взял со стола книгу с вклеенными в нее письмами и, не одеваясь, вышел из комнаты, нигде не замедлив шага. Ничто не скрипнуло в коридоре ни пол, ни дверь. Он действительно ходил бесшумно, как кошка.

Я подождал две минуты, рассматривая полученную медаль. Матовый кружок из бронзы с барельефом головы в лавровом венке, похожей на головы римских императоров. На оборотной стороне девушка в тунике водружала урну на украшенный постамент. Вокруг царственной головы вилась надпись латинскими буквами:

IOZEF XIAZE PONIATOWSKI

Вокруг девушки в тунике той же вязью завивались уже слышанные мною слова:

ZYL DLA OYCZYZNY. UMARL DLA SLAWY

Понятовский? Что я знал о нем? Наполеоновский маршал, племянник последнего короля, незаурядный военачальник и политический неудачник, так и не получивший от Наполеона заветной польской короны. Бонапарт обманул его, не восстановил Польши, и даже в наспех созданном им Великом герцогстве Варшавском Понятовский получил только военное министерство. Погиб он доблестно в одной из наполеоновских битв, забытый императором, трон под которым уже шатался. Не Бонапарт, а польские патриоты выбили тогда эту медаль: «Жил для отчизны, умер для славы». Кому-то из нынешних американских поляков, должно



Почти одновременно грохнулись на пол и молчун в фетровой шляпе и мой небритый собеседник.

быть, очень нравился этот лозунг. Мне — нет. Неточный, без адреса. Почему только для славы? Для какой славы? У кого? Для славы умирали и недостойные, даже Герострат. Я внутренне усмехнулся пафосу Жиги, с каким он вручил мне эту медаль: интересно, когда и зачем она могла мне понадобиться?

Я сунул ее в карман и, не оглядываясь на мертвых налетчиков, вышел из комнаты. Дверь на улицу, как и было условлено, поскрипывала на петлях, открытая настежь. Меня встретили безлюдная улица, плеск дождя на асфальте, желтый свет фонарей в алмазной дождевой сетке. Я перебежал под дождем к тому же навесу напротив, где стоял Лещицкий. Он и теперь стоял там же, всматриваясь в танец дождевых струй в пучке света. И мне опять показалось, что они раздвоились, как в глазах у человека, страдающего головокружениями.

ФА

Я тут же посмотрел на часы: без пяти десять. Чушь какая-то! Ведь у Жиги я пробыл верных полчаса. Может, часы забарахлили? Я снова приложил их к уху: нет, шли.

— И дождь идет, — так же, не глядя на меня, проговорил Лещицкий, — а такси нет.

— Вон оно, пошли, — сказал я и шагнул навстречу вынырнувшему из темноты такси.

— Поезжайте без меня, — решительно отказался Лещицкий, — не люблю желтых машин.

Убеждать его я не стал, сел рядом с шофером, назвал адрес. Вольному воля, пусть остается, если хочется мокнуть. Потом я пожалел, что не узнал его адреса: занятый все-таки человек. Но я тут же забыл об этом: в кабине было светло и жарко, быстрая езда убаюкивала, мысли путались. Я постарался вспомнить, что произошло со мной до встречи с Жигой, и не мог. Кто-то стрелял или где-то стреляли. Может быть, об этом рассказывал Лещицкий, а я забыл? Кажется, он действительно о чем-то рассказывал. О чем? Что-то случилось с памятью, какой-то провал, вакуум, муть. Я помню только происшедшее четверть часа назад. Двух человек убил Жига из-за портьеры. У меня на

глазах. А я как ни в чем не бывало — даже сердце не дрогнуло перешагнул и ушел. Странно только то, что часы как показывали без пяти десять, так и остановились. Да не остановились же, шли! Я посмотрел на циферблат: десять. Неужели только пять минут прошло?

Я обратился к водителю:

— Сколько на ваших?

Спросил по рассеянности по-польски, но вместо естественного «что, что?» услышал обрадованное: «Пся кошць! Земляк!» Усталое, потное лицо его сияло доброй улыбкой. Она обнажала розовые десны и выбитые зубы, только по краям торчали два гнилых корешка. Однако он был совсем не стар, этот широкоскулый крепыш в рубашке-расписухе: лет тридцать семь — сорок, не больше.

Мы уже подъезжали к моей гостинице, как он вдруг затормозил и подрулил к тротуару:

— Надо же потрепаться, в кои-то веки земляка встретил. Тоже эмигрант?

— Нет, — сказал я, — недавно приехал.

— Откуда?

— Из Польши.

Он сразу остыл, улыбка погасла, и в ответ я услышал уже нечто совсем неопределенное:

— Бывает, конечно.

— А ты почему не на родине? — в свою очередь, спросил я.

— Кому я там нужен без пользы?

— Шоферы везде нужны.

Он покрутил ладонями, широкими, как лопаты, и опять засиял:

— Я и в армии шофером был.

— В какой армии?

— »В какой, в какой«! — повторил он с вызовом. — В нашей. Из России до Тегерана, туда-сюда, шатало-мотало, из-под Монтекассино сутки на брюхе полз... «Червоны маки на Монтекассино...» — зло пропел он и сплюнул в окошко. — А теперь опять баранку кручу. Маюсь по малости.

— Так подавай заявление, вернешься, — сказал я.

Он не спрашивал меня о нынешней Польше — это я сразу заметил. Либо он был вполне удовлетворен тем, что знал о ней, либо это его просто не интересовало.

— Кому я там нужен без пользы? — повторил он. — Вот найду кое-что. Так и другая цена мне будет. Что здесь, что там. Только бы найти, а уж кто-то из наших прячет определено.

— Письма, что ли? — спросил я легкомысленно.

Он весь подобрался, как кошка перед прыжком.

— А что ты знаешь о письмах?

— Одни прячут их, другие ищут. Смешно, — сказал я и прибавил: — Кончай треп, приехали. Давай к углу.

— Закурить есть? — спросил он хрипло.

Мы закурили.

— Так земляки не прощаются, — заметил он укоризненно. — Есть тут одно местечко. Недалеко. Слетаем?

Я вспомнил насмешки Лешицкого над моей осторожностью и безрассудно кивнул:

— Слетаем.

Он газанул. Рванулись навстречу темные массивы домов без реклам — на окраине даже в таких городах темно-вато. Я закрыл глаза, не пытаюсь узнавать улиц. Не все ли равно, какое это «местечко», и не все ли равно где.

В конце концов машина остановилась у бара с потухшей вывеской. «Почему потухла? Не знаю. Перегорело что-нибудь, — равнодушно отмахнулся водитель, вылезая из машины. — Внутри света хватит», — прибавил он. Внутри света действительно хватало, потому что сквозь мутное, немытое стекло витрины отчетливо виднелась высокая стойка с бутылками, электроплитой и никелированным баком. На оконном стекле в углу было написано от руки черной краской: «Мариам Жубер. Кава, хербата, домове частка». Бар был закрыт; мой шофер долго стучал в стекло двери, и его кто-то долго разглядывал изнутри. Потом шелкнул замок, и дверь открылась.

В крохотном пространстве перед стойкой стояло несколько пустых столиков, должно быть никем не занимавшихся с прошлой недели, потому что их черные пластмассовые доски от пыли стали серыми. Единственный посетитель бара почти лежал животом на стойке и сосал что-то мутное из бокала, болтая с буфетчицей. Сначала я не

обратил на нее внимания: обыкновенная девушка из кафетерия, с модной прической и подкрашенными бровями и веками. Здесь их штампуют, наверно, на какой-нибудь фабрике. Но уже минуту спустя меня заинтересовали ее глаза. Необыкновенные глаза. Умные и насмешливые, они то вспыхивали, то погасали, и даже цвет их, казалось, менялся по прихоти их владелицы. У ее собеседника то и дело кривился рот, и от этого дергался шрам на левой щеке. Я уже пожалел, что поехал.

— Поздно, Янек, — упрекнула девушка за стойкой, — мы уже не работаем.

Но мой водитель по-хозяйски кивнул мне на пыльный столик, что-то шепнул красивой буфетчице, перенес ко мне бокалы с виски и сифон с содовой и, взяв под руку криворотого, ушел с ним за стойку, где виднелся спуск в освещенный подвал.

— Тоже поляк? — спросила девушка, равнодушно оглядев мой старый плащ и мокрые волосы.

Я засмеялся.

— Сейчас вы спросите, давно ли я из Польши.

— Зачем? Мне это безразлично.

Она отвернулась. А ко мне уже подсели Янек со своим спутником: Янек рядом, криворотый — напротив.

— Янек сказал, что тебе известно что-то о письмах, — начал он. Выкладывай, что знаешь.

— Я пишу только в «Трибуна люду», — сказал я.

— Нашел чем пугать. Мы в сорок пятом из таких зразы делали.

Я озлился.

— Хотите, чтобы я позвал полицию?

— Не шуми. Это тебе не Таймс-сквер. Хоть свиньей визжи — никто не услышит.

Я обернулся к Янеку:

— Подонок ты, а не земляк.

Криворотый мигнул, и ладони-лопаты Янека крепко прижали мои руки к столу. Я рванулся, но без успеха — ладони не сдвинулись.

— Мы в гестапо не были, но кое-что умеем, — сказал криворотый, попыхивая сигаретой. — Не хочешь, значит, выкладывать? Так.

И прижал мне к руке горящую сигарету повыше запястья. Я взвыл.

— Зря вы его, — лениво сказала буфетчица, — ничего он не знает.

Криворотый усмехнулся, отчего его рот еще более окривел. Я подумал, что, если ему нахлобучить шляпу на лоб, это будет точь-в-точь двойник автоматчика, убитого Жигой.

— Подбери губы, Эльжбета, пока не разбили, — огрызнулся он, даже не взглянув в ее сторону. — Подержи его, Янек, а я кое-что снизу принесу. Сразу язык развяжет.

Он пошел к лестнице в подвал, знакомо стуча подкованными ботинками. Но не это заставило меня подскочить на стуле. Имя! Неужели и на этот раз совпадение?

— Эльжбета! — закричал я. — Вы же знаете, что у меня нет никаких писем. Ведь это я был у Жиги! Это мне он подарил медаль: «Жил для отчизны, умер для славы!»

Хватка Янека сразу ослабла. Эльжбета — неужели я все-таки не ошибся? медленно вышла из-за стойки.

— Отпусти его, Янек.

Янек безропотно освободил мои руки.

— Вы умеете управлять машиной?

Я кивнул утвердительно, не понимая, зачем она это спрашивает.

— Дай сюда ключи от машины, Янек.

Он так же послушно протянул ей ключи на цепочке.

— Задержи Войцеха в подвале и не выходите оба, пока не позову.

Эльжбета говорила с непонятной властью, принимая как нечто должное солдатскую послушность Янека. На меня она не смотрела, просто вышла на улицу, открыла одним ключом дверцу машины, другим зажигание и молча указала мне на место водителя.

— До моста жмите на полную, — предупредила она. — Они попробуют догнать, но у вас минут десять форы. Проскочите мост раньше, сверните куда-нибудь, бросьте машину и добирайтесь пешком или на автобусе. У Войцеха желтый «плимут», как и у вас, но мотор барахлит, и я не знаю, хватит ли у него горючего. И не благодарите, — отстранилась она, некогда.

Я молча кивнул, выжал сцепление, включил первую скорость и на самом малом газу повел машину. Я очень боялся, что забыл что-нибудь — давно не практиковался, — но «плимут» двигался легко и послушно. Выйдя на простор поливаемой дождем улицы, я совсем осмелел, дал полный газ, нагнал ревущую впереди машину «скорой помощи» и пристроился в хвост. Решение пришло сразу: если замечу позади желтый «плимут», обгоню «скорую помощь» и пойду впереди. Тогда они, по крайней мере, стрелять не решатся.

Почему Янек заманил меня в этот бар? Чего они добились? Откуда такое сходство между Войцехом и убитым автоматчиком? Почему Эльжбета, полностью равнодушная вначале, вдруг с такой решительностью пришла на помощь? Что ее побудило: упоминание о Жиге, о медали, о лозунге? Но разумно ответить хотя бы на один из этих вопросов я так и не мог.

Да и некогда было. Желтый «плимут» все-таки мелькнул позади. Или мне это только показалось? Но мы уже подъезжали к мосту, и я, обогнав «скорую помощь», вылетел на этот почти иллюминированный мост, мерцающий огнями, как зажженная елка. Мелькнули постовые в дождевиках с капюшонами. Дождь выручал меня. Без него мне едва ли бы удалось проскочить здесь на такой скорости. Но я проскочил. Свернул в первый же приглянувшийся мне уличный пролет, на углу потемнее опять свернул, сманеврировал так еще и еще раз, избегая широких и людных улиц, и затормозил: перекресток мне показался знакомым. Я открыл дверцу машины и побежал к навесу у фонаря, где час назад мы стояли вместе с Лещицким.

СОЛЬ

Я прижался к стене, где было посуше, и вздрогнул: Лещицкий по-прежнему стоял рядом, рассматривая раздвоившиеся на свету капли. Как будто он только что возник из ночи, дождя и блеклого фонарного света. И какое-то смутное, невольное движение мысли потянуло меня взглянуть на часы. Так и есть: без пяти десять. Что-то нелепое происходило со мной, события и люди входили и уходили, и само время,

казалось, раздваивалось, как дождь на свету. В одном ракурсе я кружился в вихре загадок и неожиданностей, влекомый случаем, удачей и страхом, в другом — буднично стоял под навесом, ожидая такси. Бег времени начинался с унылой фразы Лещицкого: «И дождь идет, а такси нет». И сейчас он начался с нее же, но остановить его я не мог: я уже не владел собой. Время владело мной, как и часами, упорно возвращая их и меня к одной и той же минуте. Только на сей раз я не увидел такси. А что, если пойти пешком? «Не сахарный, не развалишься», — говорили мне в детстве. И я решительно зашагал под проливным дождем, даже не простившись с Лещицким: время, владевшее мной, должно быть, опять подсказало, что это неважно.

Так я прошел полквартала и остановился: навстречу из темноты вышли двое в плащах с оттопыренными карманами. «Начинается», — вздохнул я, вспомнив о комиксах с неизменно повторяющимися персонажами. Один был в надвинутой на глаза мокрой фетровой шляпе — я сразу узнал и кривой рот, и шрам на щеке; другой стоял поодаль, почти неразличимый в темноте за дождем.

— Огонька не найдется? — спросил Войцех, не узнавая меня или притворяясь.

Ну что ж, и я могу притвориться. Достал из кармана зажигалку и смятую пачку сигарет. Пока он закуривал, чиркая зажигалкой, каждый раз освещавшей мое лицо, голос из темноты спросил:

— А вы не поляк, случайно?

— Случайно поляк, а что? — спросил я в ответ, переходя на польский.

— Не знаешь ли местечка поблизости, где земляки могут встретиться?

— Отчего не знать, знаю, — помедлил я, все еще не понимая их игры, но почему-то не боясь ни чуточки. — У Мариамы Жубера. «Кава, хербата, домове частка».

Послышался сдержанный смешок, и Войцех хлопнул меня по плечу.

— Опаздываешь, пан связной. Давно уже ждем, — и подтолкнул меня к тому, что было скрыто в дождливом сумраке и оказалось вблизи силуэтом знакомого желтого «плимута».

Севший за руль спутник Войцеха знакомо улыбнулся мне розовыми деснами с двумя обломанными корешками зубов. Янек! И тоже меня не узнал.

Я решил идти на таран:

— А мы не встречались раньше, ребята? Будки у вас знакомые.

— Меченые, легавым на радость, — согласился Войцех. — Может, и встречались, разве упомнишь? — и перешел к делу: — Чего Копецкий хочет?

Я проглотил слюну. Был только один шанс выскочить: угадать.

— »Чего хочет, чего хочет«! — повторил я как можно небрежнее. — Письма, конечно.

— Мы тоже хотим, — ухмыльнулся за рулем Янек.

— Значит, у Дзевочки письма, — задумчиво произнес Войцех. — Я так и думал. Значит, Дзевочку в охапку и Копецкому на стол? А уж письма он сам из него вытянет. Так?

— Так, — не очень убежденно подтвердил я.

— Входишь в долю? — вдруг спросил Войцех.

Я замялся.

— Он еще думает! Знаешь, сколько потянут письма? Миллион. Так зачем нам Дзевочку куда-то везти? Мы сами их из него выжмем. А уж миллион кто-нибудь да заплатит.

— Многовато, — усомнился я.

— Скобарь, — презрительно протянул Войцех. — Да тут все отцы эмиграции на одной помойке. Покойник такое о них выдал, что даже у нашего брата по сравнению с ними ангельские крылышки прорастают. А уж Копецким да Крыхлякам и вообще хана — только опубликуй. Либо стул, либо решетка.

Янек, почти всю дорогу молчавший, остановил машину. Мы вышли у витрины со знакомой надписью на оконном стекле. Только вместо «Мариам Жубер» было написано такой же черной краской: «Адам Дзевочко». А ниже следовало в том же порядке уже традиционное: «Кава, хербата, домове частка».

Бар был не заперт, но уже закрыт. Столы и стулья стояли опрокинутые друг на друга, а мокрые опилки сметал с пола молодой итальянец с черными бачками.

— Где Адам? — спросил Войцех.

— Кто? — не понял итальянец.

— Дзевочко, — рявкнул Войцех и сплюнул жвачку в лицо итальянцу.

— Сумасшедший! — вскрикнул тот, вытирая щеку.

Войцех выразительно хлопнул себя по карману — жест, хорошо знакомый всем, кто имел дело с налетчиками и полицией, — и повторил:

— Где Дзевочко? Без штучек, ну!

— Бывший хозяин? — наконец догадался итальянец.

— Почему бывший?

— Бар продан.

— Кому?

— Мне.

Мы переглянулись, поняв, что дичь уже ускользнула. От двери послышалось:

— Руки вверх!

В проеме настежь открытой двери стояли полицейские с автоматами. Мы с Янеком подняли руки, а Войцех вдруг пригнулся и всем корпусом с плеча, как регбист, швырнул меня к двери на полицейских. Еще более сильный встречный удар послал меня в темноту.

ЛЯ

Я очнулся, стоя у стены под навесом. По-прежнему шумел проливной дождь, и все окружающее теряло очертания в густой водяной сетке. Голова болела, я с трудом услышал конец фразы стоявшего рядом Лещицкого: «...а такси нет».

Такси действительно не было. И я не помнил, как давно мы его ждали. Я вообще ничего не помнил. На темени под волосами вздулась огромная, как опухоль, шишка. Будто что-то обрушилось мне на голову. Когда и где? Я силился вспомнить и не мог. Вдруг всплывало в памяти нечто знакомое, искажалось, и мутнело, и лопалось, как пузырьки болотного газа. Какие-то лица, имена, автомобили, «скорая помощь», желтый «плимут»... Я всмотрелся и вдруг увидел его воочию. Он стоял на противоположном углу у такого же фонаря, как и наш. Даже дождливая муть не размыла его ядовито-желтого цвета.

— Вы видите? — спросил я Лещицкого. — Может быть, довезет?

— А ты шофера его видишь?

Тот только что вышел из машины с какой-то палкой или трубкой и прошел под навес над подъездом.

— Зачем ему палка? — удивился я. — Хромой он, что ли?

— Это автомат, а не палка. Говори тише, — предупредил Лещицкий.

И я вдруг вспомнил и этот подъезд, и слепого Жигу, и мертвых автоматчиков. А живой стоял у подъезда и ждал, когда дверь откроется. Она действительно открылась, и трое в мокрых плащах вынесли что-то похожее на скрученный валиком ковер, завернутый в простыню. Шофер с автоматом открыл дверцу машины. Я было устремился к ним.

— Куда?! — прошипел Лещицкий, хватая меня за рукав.

— Помочь же надо...

— Кому? Ты уверен, что это человек, а не труп? А есть оружие? У них автоматы, а у тебя? Где же ваша пресловутая осторожность, пан Ламанчский!

В эту минуту ветер донес к нам их голоса сквозь сумрак и дождь.

— Это книжка. В руках у него была.

— Потряси, может, что выпадет.

— Трясу. Ничего нет.

— Так брось. Читать ему уже некогда.

Кто-то швырнул из-за машины мелькнувшую на свету книжку. Когда кругом уже никого не было и я поднял ее, она намокла только снаружи. Толстый переплет с барельефом Мицкевича предохранил ее от дождя. Но я узнал ее не только по переплету. Часть страниц слиплась и склеилась в плотную пачку, и я знал, что в ней скрывалось. Каюсь, я больше всего пожалел Мицкевича. Интересно, сколько стихов погибло в мусоропроводе вместе с вырезанными страницами?

Под проливным дождем нельзя рассматривать книги. Я положил Мицкевича в карман пиджака, потому что плащ уже промок.

— Насквозь, — сказал я, вернувшись к Лешицкому. — Как вы думаете, что здесь произошло?

Он не ответил. Что-то вдруг сместилось — свет ли, дождь ли или облака, налитые тоннами теплой воды. Может быть, время?

СИ

Плащ мой был сух, как будто дождь только что начался и мы вовремя успели стать под навес. Без пяти десять — поспешили сообщить мне часы. Тяжесть, давившая мозг, вдруг исчезла. Я все вспомнил.

Какую гамму обещал мне Лешицкий? Час или полчаса, прожитых по-разному на каждой ступеньке лестницы. Я посчитал перемены: шесть, эта седьмая. Значит, оставалась еще одна.

Обсуждать с Лешицким им же придуманную одиссею сейчас просто бессмысленно. Это не тот Лешицкий. Это персонаж поставленного им фильма. Человек из другого времени. Сейчас он начнет свой дубль. Он уже что-то бормочет... Что, что?

— ...а такси нет.

— Вы же только что его видели.

— Где?

— На углу напротив. Желтый «плимут».

— Смеетесь.

— И шофера его видели. С автоматом. И все, что после произошло.

— Варшавские штучки. Стенографисток своих разыгрывайте.

— Значит, вы ничего не видели?

— Я не пьян.

Я даже не взглянул на него. Сейчас я уйду от него еще по одной заколдованной орбите. Вспомнилось предсказание из детской сказки: направо пойдешь — несчастье найдешь, налево двинешься — с бедой не разминешься. Значит, выбирать нечего. Иди, добрый молодец, куда глаза глядят.

И я пошел... Плащ сразу намок, вода текла по волосам за шиворот, и я поеживался, хотя, в общем-то, она не была

холодной — прогревалась в накаленном за день воздухе города. Кто шел мне навстречу, кого я обгонял, глаза не примечали — просто скользили мимо размытые дождем тени. Как это ни смешно, от обилия воды мне захотелось пить, но тусклые витрины за дождевой сетью не обещали ничего пригодного для утоления жажды. Я уже не помнил, сколько минут и ярдов я прошел под дождем, пока не возникло предо мной наконец освещенное окно первого кафе или бара. Но я не вошел сразу: остановили меня слова, написанные в углу на стекле. Я читал их, как Валтасар на пиру свое предупреждение о гибели: «Мене, текел, фарес», «Кава, хербата, домове частка».

Конечно, я мог пройти мимо, никто не принуждал меня войти. Но словно сместилось что-то, уже не вокруг меня — не дождь, не облака на небе, не дымный силуэт города с пятнами света, — нет, именно во мне, в каких-то нервных клеточках мозга. Где-то в этих невидимых клеточках присущая им комбинация химических веществ записала когда-то сложнейшим кодом такие черты характера, как осторожность, нелюбовь к риску, стремление избежать опасности, обойти неизведанное, — вот здесь вдруг и видоизменился код, перестроилась химия, преобразовалась запись.

Я все-таки оглянулся, прежде чем войти, и увидел у обочины знакомый до мелочей желтый «плимут». Водителя не было, и ключ небрежно торчал в замке. Кто же здесь — Янек или Войцех? Я только усмехнулся предстоящей встрече и толкнул дверь.

Бар закрывался или уже закрылся; меня встретили тишина и пощелкивание счетных костяшек — это бармен, выдвинув ящик кассы, подсчитывал выручку. Удивительно, что все польские кавиарни в моей одиссее встречали меня, ошетилившись опрокинутыми друг на друга столами и стульями.

Но бармен встретил меня, как все бармены.

— Хайболл? — спросил он.

Я пояснил, что вместо стакана-великана с удовольствием отведал бы и кофе, и чая, и домашнего печенья.

— Ничего этого нет, — сказал он. — Могу предложить только хайболл с любым уровнем виски.

В ответ я сказал, что заплачу за четверть стакана виски, но виски пусть он пьет сам, а мне нальет одного лимонаду. Выпив полный стакан, я собрал всю мелочь в кармане и бросил ее на пластмассовую стойку. Вместе с деньгами звякнула и бронзовая медаль с царственным профилем Понятовского. При этом я не столько удивился тому, что она у меня оказалась, сколько тому, как на нее посмотрел бармен. Я моментально узнал его — и завивающиеся колечками вихры на лбу, и синеватую небритость щек. То был один из убитых Жигой ночных гостей. И опять меня не столько удивило то, что он воскрес, как Войцех, сколько та смесь изумления, почтительности и страха, что отразилась на его побелевшем лице. Я лихо подхватил медаль, подбросил ее над стойкой, поймал и спрятал.

— »Жил для отчизны...» — сказал я лукаво.

— »...умер для славы», — произнес он как отзыв и прибавил с послушной готовностью: — Что будет угодно пану начальнику?

— Машина Янека? — спросил я, оглянувшись на дверь.

— Войцеха, — ответил бармен.

— Кого он привез?

— Девчонку.

— Эльжбету? — Мой голос дрогнул.

— Не знаю. Пошел сказать о ней Копецкому. У нас телефон испортился.

— Скоро вернется?

— Должно быть. Тут всего полквартала до будки.

— Где девочка?

Он предупредительно указал на дверь в углу.

— Мне с вами?

— Не надо.

Я вошел в комнату, служившую, очевидно, конторой и складом. Здесь, в окружении ящиков с консервами и пивом, массивных холодильников и стеллажей с бутылками и сифонами, на раскладной кровати без одеяла лежала завернутая в простыню Эльжбета. Опять совпадение! Тогда можно было думать, что к машине вынесли Жигу; сейчас предо мной в такой же простыне лежала Эльжбета. Ноги ее были связаны, руки бессильно опустились вниз. В ее почти восковом лице не было ни кровинки, и никаких следов краски на губах и ресницах. Она больше походила на

девочку из какой-нибудь монастырской школы, чем на ту властную красавицу, которая, уж не знаю, сколько часов или минут назад, спасла мне жизнь.

Я нагнулся к ней — ее опущенные веки даже не шевельнулись: она была без сознания, в глубоком обмороке. Я знал, что мне делать, не колебался и не раздумывал. Только одна мысль тревожила: «Успею ли до возвращения Войцеха?» Я взял ее на руки — она была легкой, как девочки, которых я поднимал когда-то на занятиях в гимнастическом зале. Вот игодились бицепсы, пан Лещицкий, вы были правы: все-такигодились.

Толкнув ногой дверь, я чуть не сбил с ног бармена: он едва успел отскочить — очевидно, подглядывал в щель или в замочную скважину.

— В следующий раз будьте осторожнее, бармен. Так можно и глаза лишиться, — усмехнулся я, проходя мимо с девушкой на руках.

Он не растерялся, только смутился чуть-чуть: очевидно, сама ситуация и мой тон поколебали какое-то его решение.

— Вам помочь? — спросил он.

— Не надо, — повторил я. — Оставайтесь здесь. Я отнесу ее в машину и дождусь Войцеха.

Он с готовностью открыл дверь на улицу и, как мне показалось, присел за пресловутой валтасаровской надписью на стекле, рассчитывая, что с улицы я не замечу его маневра. Но я даже не обернулся, положил все еще бесчувственную Эльжбету на переднее сиденье машины, — этот последнего выпуска «плимут», хотя и повидавший виды, облупленный и помятый, был удобен внутри и очень широк, а Эльжбета оказалась такой миниатюрной и тоненькой, что улеглась легко и свободно, только пришлось ей чуть-чуть согнуть ноги в коленях. Потом я спокойно обошел машину, открыл дверцу со стороны водителя, как вдруг чья-то рука крепко схватила меня за плечо. Я оглянулся: Войцех! В той же фетровой шляпе, с тем же кривящимся книзу ртом.

— Хотел угнать машину, приятель, — скривился он. — Садись, доведу до первого «дика» с клобом.

— Загляни-ка внутрь сначала, — сказал я.

Он нагнулся, взглянул и выпрямился. В эту секунду я вспомнил свои последние три раунда на первенстве Варшавы несколько лет назад. Моим противником был Прохарж с четвертого курса, ученик Валасека, такой же, как он, подвижный и точный, но со слабым ударом. Я не обладал ни особой подвижностью, ни точностью; единственно, на что я рассчитывал, был мой удар снизу слева, классный, нокаутирующий удар. Прохарж уже вчистую выигрывал по очкам, а я все еще ловил его на этот удар, терпеливо ожидая, когда он раскроется. Но он так и не раскрылся, а я проиграл и бросил бокс, как олимпийский чемпион Шатков после своего проигрыша в Риме. У нас почти восторженно рассказывали о том, что он стал каким-то университетским начальством, даже диссертацию защитил, а боксерские перчатки до сих пор висят у него в кабинете. Я тоже повесил их у себя как память, хотя вскоре забыл обо всем, что с ними связывалось, кроме одного — моего коронного, так и не нанесенного удара, когда я больше всего на него рассчитывал. Я помнил его, как условный рефлекс, и, когда Войцех выпрямился, раскрывшись так откровенно, как раскрываются только новички на первых тренировках, я ударил левой снизу в его ничем не защищенную челюсть, ударил со всем напряжением мускулов и со всей тяжестью тела, какие я смог вложить в этот удар. Уже с обморочной беспомощностью Войцех медленно повернулся всем телом и грузно рухнул на мостовую. «Ватный подбородок», — сказал бы о нем наш тренер.

Я даже не влез, а нырнул в машину, присел с краешка на сиденье и рванул с места, низко-низко пригнувшись к рулю. И вовремя! Нечто скрежетнуло над головой, оставив в боковом и ветровом стеклах две круглые дырки в матовой стеклянной каше. Вторая пуля царапнула по стойке, даже не пробив кузов. От третьей я ушел на полном газу, обогнав какой-то грузовик с бочками. Стрелял, должно быть, бармен, а не Войцех; тот, наверное, еще не очнулся.

Вести машину в таком положении было трудно и неудобно, я все время сползал вниз, да и темная улица меня пугала: я не знал, куда она ведет. Поэтому, остановившись и переложив голову Эльжбеты к себе на колени, я свернул на более светлую и шумную улицу, пытаюсь прикинуть в уме, как добраться до гостиницы или, в крайнем случае, до

того перекрестка, где мы стояли с Лешицким, — ведь напротив была квартира Эльжбеты. Девушка не шевельнулась, не открыла глаз, когда я приподымал ее, только ресницы чуть дрогнули. И мне показалось, что очнулась она уже давно и не открывает глаз лишь потому, что хочет узнать, что произошло и куда и зачем ее снова увозят.

Тогда я начал говорить. Вглядываясь в блеклую смесь дождя, черного от дождя асфальта и рассеянного дождем света уличных фонарей, я говорил, говорил, как в бреду:

— Я друг, Эльжбета, самый близкий твой друг сейчас, хотя ты даже не знаешь, кто я и откуда я взялся. А ведь ты сегодня спасла мне жизнь, правда, совсем в другом времени — ты этого помнить не можешь. Но стихи Мицкевича ты, конечно, помнишь и любишь, — это твою книжку, наверно, так безбожно искромсал Жига. Я напому тебе только две строчки. Начало сонета, помнишь? «На жизненном пути различные судьбой — так в море две ладьи — мы встретились с тобой». Перечти и — к, если они сохранились. А книжка со мной и письма по-прежнему спрятаны в ней, как это сегодня — правда, еще сегодня — сделал Жига. Он подарил мне медаль, — я уже говорил тебе об этом. А я хочу отдать ему томик Мицкевича.

Она открыла глаза и, нисколько не удивляясь тому, что видит перед собой незнакомого человека, сказала печально и тихо:

— Убили Жигу. А писем не нашли. Он хотел отвезти их в наше посольство в Вашингтоне. Только наше ли оно? — прибавила она неуверенно.

— Наше, Эльжбета! Наше! Моей и твоей родины. Ты сама теперь отвезешь их. И я поеду с тобой. А потом ты вернешься домой в Варшаву, — продолжал я все еще в лихорадочном бреду. — Разве есть что на земле красивей Варшавы?

— Не помню. Девчонкой была. Совсем, совсем маленькой, — проговорила она, опустив длинные свои ресницы. — А что осталось от Варшавы? Камни...

— Ее восстановили, Эльжбета. Тебя обманывали, как обманывают вас всех в эмиграции. А Старе Място совсем прежнее...

Я хотел было рассказать ей, как восстановили этот уголок старой Варшавы, но в это мгновение наша машина на

полном ходу въехала в темноту, где уже не было ни меня, ни города, ни Эльжбеты.

ДО

Я вышел из затемнения в другом кадре — не в машине, а все на том же перекрестке с Лешицким. Дождь, атаковавший город коротким массированным налетом, уходил на восток, оставляя позади темное, в звездах небо и такую же темную, в отраженных огоньках мостовую.

Было без пяти десять.

Лешицкий взглянул на меня и улыбнулся.

— Как видишь, — сказал он, — прошло ровно столько, чтобы дойти от бара до этого перекрестка. А гамма уже сыграна.

Я не спросил у него, какая гамма. Он глядел понимающе и сочувственно, как будто знал все, что я пережил. Но я ошибся.

— Я ничего не знаю, Вацек, — прибавил он. — Я не был с тобой. Тебя окружали люди из другого времени.

— Но те же люди?

— Конечно.

— Что это было? — спросил я. — Гипногаллюцинация?

— А сам как думаешь?

— Никак. Мне очень хочется узнать, чем окончился мой последний дубль.

— Как ты сказал: дубль? Почему?

— Дубль — это кинематографический термин, — пояснил я. — Обычно снимают несколько вариантов одной и той же сцены. Их называют дублями.

Ему понравилось сравнение.

— Дубль, — повторил он, — дубль... Может быть, твой дубль еще продолжается... в своем времени. Кто знает? Да же я не знаю до конца, что это такое. Время... джинн из бутылки. Я выпустил его, а сейчас радуюсь, что загнал обратно... — Он протянул мне руку. — Не обижайся, Вацек. Я только хотел помочь тебе проверить себя на прочность. Это всегда помогает. Может быть, теперь ты уже повзрослел и стал мудрее? Не сердись на старика.

— Я не сержусь, — сказал я, — только не понимаю...

— И не надо. Считай, что я пошутил. Бывают такие глупые шутки... — Он вздохнул и, не прощаясь, пошел вперед, обгоняя неизвестно откуда возникших прохожих; должно быть, они вроде нас где-то пережидали набежавший ливень, а теперь спешили по своим делам.

Только я никуда не спешил, пытаюсь уяснить себе, что это было. Сон? Но я не спал и не грезил наяву, хотя и терял сознание. Гипноз? Но я никогда не слышал о такой форме гипноза. Да и возможна ли она вообще? Шесть разных галлюцинаций в одно мгновение, в одну тысячную, может быть даже миллионную, долю секунды. И может ли галлюцинация вызвать ожог? Я отдернул рукав и ясно увидел сине-багровое пятнышко, засохшую корочку, — след сигареты Войцеха. И сбита кожа на суставах пальцев левой руки — еще один след моей встречи с Войцехом. А медаль? Конечно же, вот она! Я вынул ее из кармана и посмотрел на свету. Не медаль-фантом, не медаль-иллюзия, а реальная медаль из старой бронзы. И барельеф Понятовского с лавровым венком на лбу, и надпись по кругу: «Жил для отчизны, умер для славы», совсем не призрачная, не иллюзорная: я мог ощупать каждую букву.

И томик Мицкевича был на месте. Я не вынимал его, только потрогал выпуклый портрет на обложке. Значит, все это было! Не галлюцинация, не сон и не гипнотическое видение. Джинн, выпущенный из портсигара Лешицкого, сыграл мне свою гамму, заставив прожить полчаса или час, но каждый раз по-иному и каждый раз с полной отдачей сил. Я действительно лежал здесь с простреленной грудью, спасал свою жизнь в бешеной автогонке, дрался за честь Эльжбеты и стал обладателем писем, опубликование которых так страшило белоэмигрантских подонков.

Медаль, Мицкевич и письма — гости из другого времени. Может быть, в нашем у них есть близнецы, но разве это что-нибудь меняет? Жига хотел отвезти письма в посольство, и я обещал помочь в этом Эльжбете. Не все ли равно, в каком это было времени и было ли вообще. Теперь я хозяин своего времени.

Не сомневаясь и не раздумывая, я решительно пошел через улицу к хорошо знакомому подъезду напротив.

СОДЕРЖАНИЕ

Хождение за три мира	5
Новый Аладдин	132
Тень императора	187
Комната для гостей	211
Спокойной ночи!	230
Принц из седьмой формации	249
ГАММА ВРЕМЕНИ	264



Для среднего и старшего возраста

Абрамов Александр Иванович, Абрамов Сергей Александрович

Т Е Н Ь И М П Е Р А Т О Р А

Ответств. редактор Н. М. Б е р к о в а. Художест. редактор Н. З. Л е в и н с к а я. Технический редактор С. Г. М а р к о в и ч. Корректоры Г. В. Р у с а к о в а и С. П. М о с е й ч у к. Scan, OCR, spellcheck, formatting: <http://ok-language.ru>.
Сдано в набор 27/XII 1966 г. Подписано к печати 1/IV 1967 г. Формат 84x108¹/₃₂. Печ. л. 9,25. Усл. печ. л. 15,54. (Уч.-изд. л. 15,39). Тираж 75 000 экз. ТП 1967. № 570. А03799. Цена 63 коп. на бум. № 2.

Издательство «Детская литература». Москва, М. Черкасский пер., 1.
Фабрика «Детская книга» № 1 Росглавополиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Сушчевский вал, 49. Заказ № 5603.



